

**ИРИНА
ЧАЙКОВСКАЯ**

**Любовь
на треке**





«Любовь на треке?» — спросит читатель, — почему на треке? Да потому, что любовь может подстеречь нас везде — на лекции, в церкви и даже во время пробежки по треку. Герои книги «привиделись» автору на пути, пролегшем через три страны, — Россию, Италию и Америку. Угловатый американский юноша и университетский профессор, итальянская крестьянка и католический священник...

А еще — и в этом одна из неожиданностей книги — невенчанная подруга Некрасова, несравненная Авдотья Панаева, чьи человеческие и женские тайны мы вместе с автором будем разгадывать.

Книга адресована тем, кто нуждается в интересном и питательном чтении.

**ИРИНА
ЧАЙКОВСКАЯ**

**Любовь
на треке**

Рассказы и повести

БОСТОН • 2008 • BOSTON

Ирина Чайковская *Любовь на треке*

Lubov' na treke by **Irina Chaykovskaya**

Copyright © 2008 by *Irina Chaykovskaya*

ISBN 978-0-9792808-8-7

Library of Congress Control Number 2007939774

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the Publisher.

Published by M•GRAPHICS PUBLISHING
www.mgraphics-publishing.com

Дизайн обложки: Павел Крайтман
Фотографии на обложке © istockphoto.com

Отпечатано в США

Светлой памяти дона Паоло

Содержание

Рассказы

Любовь на треке	9
In chiesa	14
Лючия	24
Идиомы	40
Печальный демон	45
Мечта о крыжовнике	52
Только в мире и есть...	77
В промежутке	93
Звуки и шорохи	105
На реках вавилонских	114
Казни египетские	127
Сквозь облака	140
Кольцо	149
Макс	166
Оправдание	178

Повести

Путешествие к Панаевой	182
Дело о деньгах (из тайных записок Авдотьи Панаевой)	256

Послесловие

298

Любовь на треке

И опять поворот судьбы. Никогда бы не поверила, что меня забросит в Америку. Семь лет в Италии протекли как одна минута. С трудом вспоминаю лазурное море с белым парусом, Дуомо на верхушке горы. Здесь тоже горы, но другие — безлесые, каменистые. Свободно раскинулись вокруг широкой лощины. Несколько дней назад на них лежал снег. Но сегодня они снова песочно-бурые, солнце шпарит, словно и не октябрь вовсе. Это Юта. Говорят, в Калифорнии сейчас дождь, и в Бостоне тоже, из Москвы слышно, что и там дождь. А здесь, на Диком Западе, жаркое, почти летнее солнце и никакого дождя. И я иду по треку. Поглядывая на дальний план — горы. Обегая взглядом ближние лужайки, домики с садиками и бассейнами, идущих мне навстречу улыбчивых людей. Я свободна. Мне хорошо. Сегодня воскресенье. Я дышу чистым горным воздухом и подставляю лицо солнцу.

— Excuse me! — слова произнесены как-то странно, с сильным акцентом. Я поднимаю голову. Рядом маленький человек в синей спортивной форме. Он улыбается, но взгляд грустный.

— Excuse me, — он замолкает, подыскивая слова. I am... am from Columbia. Видимо, он принял меня за латиноамериканку. В Италии я сходила за итальянку, в России пару раз меня принимали за армянку. Интернациональный еврейский тип, со слегка приглушенными семитскими чертами.

— I am from Russia, — привычно произношу я и поспешно добавляю: — Conosco Italiano.

Человечек оживляется.

— Sono Luis, — представляет он себя.

— Sono Anna, — говорю я. — Have a good day. И продолжаю свой путь по треку. Маленький Луис бежит в противоположном направлении. Минут через десять мы снова пересекаемся. Луис уже издали улыбается.

— Sono due years in America, — показывает он мне два пальца. Он говорит, как человек, впервые раскрывший рот после долгой немоты. Странно, что за два года он совсем не овладел американским. Смешивает в кучу два языка. Сейчас я говорю примерно как Луис, но я здесь всего два месяца.

— Sono single, — продолжает Луис, — alone, — он смотрит вопросительно.

— I am married, — говорю я в свою очередь. — Husband? Yeah, — я киваю в сторону теннисного корта. — Husband, yeah, husband here. Tennis... — и я ударяю по воображаемому мячу. Луис смотрит странно, словно не поверил мне или не понял. Не верит, что я замужем? Я снова иду по треку, а Луис бежит своим путем. Не пройдя и десяти шагов, сворачиваю к теннисным кортам. С одного из них доносится громкая американская речь. Я воспринимаю ее как единый звуковой поток. С другого слышится: «Молодец, браво». Быстро иду ко второму корту. На трек я больше не возвращаюсь.

Следующее воскресенье снова солнечное. Оставила в машине взятую на всякий случай куртку. Быстрый шаг разогрел меня и взбодрил — настроение поднялось. По дороге как назло попадались сердитые старушки, хмуро цедившие «morning». Луиса я заметила издали. Он бежал навстречу и махал руками.

— Hello, — приветствовала я его, — tutto bene?

— I have... muchos, — сказал Луис, указывая на себя и что-то изображая взглядом.

— Мучос? — переспросила я, — в итальянском похожего слова не было. «Muchos, muchos», — лицо явно выражало страдание. Может, его что-то мучит? — в голову пришло русское созвучие. Неожиданно Луис схватил мою руку и быстро поцеловал. Я рассмеялась:

— My husband is here, Luis. He can see us.

— Husband? — Он показал на мою руку. Видимо, его смущало отсутствие кольца. С кольцом или без кольца — какая разница? Мое кольцо лежит в Москве, в шкатулке из капо-корешка, подаренной мне свекровью, Лией Михайловной. Я повторила для верности два раза:

— I am married, Luis, I have a son.

Он смотрел недоверчиво. Я сразу же направилась к корту. Игра в этот раз не ладилась, и сын согласился пройтись со мной по треку. К тому же ему не терпелось увидеть моего «мексиканца», как обозначил Луиса муж. Для мужа Мексика и Колумбия — один черт. Луис приблизился внезапно, так как мы с сыном увлеклись беседой. Он усиленно улыбался и радостно махал руками.

— This is my son, — я представляла Луису Гришу как «вещественное доказательство» моего замужества. Луис кивнул и снова сказал это непонятное слово «мучос». Когда он убежал, я спросила Гришу:

— Что такое «мучос», как ты думаешь?

Гриша без запинки выпалил:

— Много. «Мучос» по-испански значит «много».

Скорее всего, он слышал это слово от школьников-мексиканцев. Но если он прав, что же все-таки хотел сказать Луис? Что у него много чего? Переживаний? Мучений? Денег? Ну, денег, по всей видимости, у него совсем нет. Гриша, сверхвнимательный ко всякой машине, заметил, что Луис сел в потрепанный старый «форд».

— Драндулетка 80-го года, — Гриша засмеялся. — Смешная машинка.

И он похоже передразнил бег Луиса и его махание руками.

В следующее воскресенье я встретила на треке соотечественников — русскую пару из Пущина. Мы сделали с ними кругов пять, а потом я повела их к корту, знакомить со своими. Краем глаза я заметила машину Луиса, отъезжающую с площадки.

Когда через неделю мы прибыли на трек, Луис крутился неподалеку. По-видимому, он сторожил наше прибытие. Что ж, посмотрит на моего «хазбенда». Хазбенд тем временем взглянул на «мексиканца».

— Мелковат, — бросил он, беря ракетки, и больше не глядел в его сторону. Наверное, такие «поклонники» не внушают опасений. В этот раз Луис был возбужден больше обычного.

— He is alt, — сказал он на своем странном языке, показывая рукой вверх. Видимо, в моем муже его больше всего поразил рост. Мифический «хазбенд» обрел наконец плоть и кровь. Неожиданно Луис подскочил ко мне и поцеловал в щеку. Мне осталось только рассмеяться и погрозить ему. И опять он произнес это непонятное «мучос». По дороге к теннисному корту меня вдруг осенило. Припомнилась известная латиноамериканская песня, в которой звучало что-то похожее на «мучос» или «самомучос». Мелодия у песни была настолько привязчивая, что я напевала ее всю следующую неделю.

В то воскресное утро было по-настоящему холодно. Снега на горах не наблюдалось, однако в воздухе пахло скорой зимой. Пока же вокруг царствовала осень. Домики, окружающие трек, стояли в разноцветной листве. Кругом было пусто. Только какой-то сухой американец в шортах прогуливал двух огромных, обросших шерстью собак. Интересно, будет сегодня Луис или нет? Заглядевшись на редкостную по краскам панораму гор, я не заметила его приближения. Он был грустен. Что-то говорил. Я его не понимала.

— I don 't understand you. What does it mean? — Он что-то прошептал.

Я опять не поняла. И вдруг до меня дошло: «амур», он сказал «амур».

Следующую фразу он произнес очень громко: «I live you», почему-то «live», а не «love». Даже такое затертое слово сумел произнести на свой лад. Он стоял переминаясь с ноги на ногу. Он снова говорил, что одинок, не женат и у него никого нет. Но я-то здесь при чем? Я-то замужем, у меня ребенок, сын. Я ничего не хочу менять в своей жизни. Я произносила американские фразы одну за другой. Он вздрагивал после каждой.

— I spero, — вдруг сказал он, «я надеюсь». Я пожала плечами. Он стоял у меня на дороге. Я его обогнула и пошла к корту. Оглядываться не стала. Муж и сын отдыхали.

Они разговаривали о машинах, и я решила их не прерывать и ничего им не рассказала.

Через неделю весь город засыпало снегом. Ехать на корт не было смысла, и мы остались дома. Все воскресенье мне было не по себе. Щемило сердце, отчего-то хотелось плакать. Я вспоминала, как Луис сказал мне «I live you», и было обидно, что все проходит и надежды, увы, не сбываются. В конце концов, — успокаивала я себя — вдруг зима еще немного повременит и в следующее воскресенье мы опять поедem на трек? Кто знает?

Осень 2000

In chiesa*

У дона Агостино появился помощник. Валерия его еще не видела, но Кьяра говорила, что «molto bravo» — молодой и красивый. Было странно, что молодые и красивые идут в католические священники, обрекая себя на целибат — обет безбрачия; тем любопытнее было на него взглянуть. Увидела его Валерия в церкви, на мессе. Высокий, очень крупный, с выразительными итальянскими глазами и пышными черными волосами, он обладал к тому же приятным голосом с четкими, выверенными интонациями. Валерия подумала, что женщины, составляющие большую часть паствы, будут покорены. Она искала глазами дона Агостино, но его на мессе не было, — наверное, уехал по делам. Бедному дону Агостино уже давно был нужен заместитель — *vice-parroco*, без помощников он крутился как белка в колесе.

Валерия успела привязаться к пожилому священнику. Из его рассказов она знала, что подростком он был отдан родителями — деревенскими ремесленниками — в церковную школу. С того времени судьба его была решена: отсутствие своей семьи, жреческое служение церкви. Между тем, Валерия видела, как тянется он к домашнему теплу. Как бы ни был он занят крестинами, похоронами, свадьбами, сколько бы служб в день ни проводил, — находил время зайти к ним «на чаек», приносил Оленке гостинцы. Валерия была бесконечно благодарна дону Агостино: в страшный час, когда умер ее муж и она, с дочерью на руках, осталась одна, в чужой стране, без работы и без денег, он пришел ей на помощь. Поселил у себя в церкви

* В церкви (с итальянского)

в пустующей квартире привратника, под самым чердаком, помог найти работу. Работа не ахти какая — она сидела с больным стариком, — но на этот миллион лир они с Оленкой могли более или менее сносно жить, если учитывать, что священник ничего с них не брал за жилье.

Народ расходился после воскресной мессы. К Валерии подошла Кьяра и громко, как могут только итальянцы, начала расхваливать дона Леонардо — так звали молодого священника. Между прочим она сказала, что тот учился на инженера, но страсть к религии перетянула и он продолжал образование уже в семинарии. Валерия в прошлой жизни тоже была инженером и внутренне обрадовалась этому совпадению. «Посмотри, посмотри! — Кьяра радостно кивала в сторону немолодой пары, только что вышедшей из церкви. — Это его родители». Она понизила голос, но он все равно долетал до ушей стоящих поблизости: «Крестьяне из Арчевии, им и не снилось, что сын станет священником. Смотри, прямо лоснятся от счастья». Смущенные старички прохаживались возле церкви, видимо, поджидая сына. Наконец он вышел, сменив церковное облачение на скромный цивильный костюм. Когда все трое проходили мимо, Кьяра окликнула мать Леонардо: «Sei felice, Leonella?» (Ты счастлива, Леонелла?) Та оглянувшись, торопливо кивнула и почему-то очень пристально, без улыбки, поглядела на Валерию. Взгляд был явно изучающий, Валерии стало не по себе.

Нового священника поселили в другом крыле церкви. Валерия там никогда не была, но всезнающая Кьяра, забежавшая после мессы к Валерии, рассказала, что комнатка, как в монастыре, — два стула, кровать, на стене железное распятие, шкафчик для одежды. «Маловато будет для такого гиганта», — подытожила Кьяра и почему-то шепотом, хотя они были одни, добавила: «Я ему свое зеркало принесу. У меня лишнее, а ему нужно — вон волосы какие, как у Самсона». Валерии хотелось сказать: «В отсутствие Далиль». Но она промолчала. Кьяре она старалась не говорить лишнего. Кьяра была приходящей домашней работницей у дона Агостино и волей-неволей являлась распространителем всевозможных слухов и сплетен. К Валерии

она относилась по-доброму, очень любила Оленку, та даже стала звать ее «поппа» (бабушка). Порой Валерию тяготило ее общество, как ни убеждала она себя, что лучше Къяра, чем тишина в четырех стенах. Но гораздо чаще Валерия нуждалась в Къяре, в ее болтовне, в простых и грубоватых манерах. Когда молодой женщине становилось особенно тяжело, хоть волком вой, они с Оленкой шли к «бабе Къяре», в маленькую вдовью квартирку неподалеку от церкви, и там за кофе, за разговором отогревались и веселились.

С уходом Къяры стало как-то особенно пусто. Сквозь занавеску кухонного окна било солнце, наступал послеобеденный час — итальянское помериджо, когда душа млеет и томится. Валерия не любила помериджо, с некоторых пор особенно тягостны стали воскресные вечера — незаполненное время грозило воспоминаниями. Она посмотрела на часы. До семи — времени, когда привезут Оленку, гостившую в семье одноклассницы, — еще далеко. Накинула на плечи легкую синюю куртку и вышла на улицу. Несмотря на солнце, в воздухе еще держалась прохлада. Валерия подумала, что такой ветреный мартовский денек вполне мог быть и в России, разница только в солнце — здесь оно нестерпимо яркое, — да в снеге, которого здесь и зимой-то не бывает. Секунду поколебавшись, она пошла по дороге к Дуомо. Это был ее любимый маршрут.

Необыкновенным был город, куда забросила ее судьба. Морской торговый порт в бухте, открытой в незапамятные времена еще греками, он располагался на бесчисленных холмах — так что не было в нем ни одной улицы без заметного уклона. Валерию поражало, что к морю она могла выйти, идя по вяле (проспекту) как в одном, так и в другом, противоположном, направлении. Говорили и хотелось верить, что это единственный на земле город, где солнце встает и садится прямо в море. Над морем, на крутой отвесной горе, высился главный храм округа — Дуомо. Огромный, неуклюже вытянувшийся, он был выстроен из остатков древнего храма Афродиты тысячу лет тому назад. Христианство в этот город принес еврей из Иерусалима, по имени Кирияко, ставший первым в округе христианским священником (весковым), а затем, — замученный

язычниками, — первым в этих местах святым. Храм носил его имя.

Валерия шла все вверх и вверх по узким, покрытым брусчаткой улочкам старого города по направлению к Дуомо. Там, где дорога ветвилась, она привычно выбрала нижнюю дорожку и пошла вдоль балюстрады, над которой нависали кроны высоких пиний, растущих по всему склону холма, упертого в море. Лента дороги шла отсюда вверх, к асфальтированной площадке на самой оконечности холма, где стоял Дуомо. Но туда ей не хотелось. Здесь, у балюстрады, открывался широкий вид на море, на шумный, гудящий кранами порт, на сказочно прекрасный город, раскинувшийся на холмах. От пиний шел одуряющий хвойный запах. Валерия прислонила лицо к мягкой хвое, на уровне ее глаз висела маленькая зеленая шишка. Сорвать на счастье? А вдруг дереву будет больно, как бывает, когда отрывают что-то родное? Валерия отдернула руку. Взгляд ее упал на дорожку: прямо у ее ног лежала точно такая маленькая зеленая шишка. Затаив дыхание, Валерия ее подняла. Было ощущение, что свершилось что-то сокровенное. Домой она шла медленно, почти не глядя по сторонам, сжимая в кулаке зеленую шишку.

На развилке, ведущей к Дуомо, ее кто-то окликнул. Она подняла глаза: перед ней стоял новый священник. Они не были знакомы, и она не знала, что сказать. Начал он: «Мне про вас говорили — вы русская. Я знаю, у вас случилось горе, — взгляд был добрый, сочувствующий. — Бог вам поможет». Он замолчал и вдруг добавил: «Два дня назад умер мой дядя, ближе у меня не было человека». Валерия подумала, что он вот-вот заплачет. Какое у него хорошее, совсем юное лицо. И вовсе он не дамский угодник, каким показался ей на мессе. Безотчетным движением она протянула ему шишку. «Возьмите это на счастье. У вас сегодня началась новая жизнь. Она, эта дочь пинии, принесет вам удачу». Священник медленно взял шишку из ее рук. Валерия кивнула и пошла вперед по дорожке. Шагов за собой она не слышала.

Приближалась Пасха. В Пальмовое воскресенье Оленка вместе с подружками продавала возле церкви окрашен-

ные золотом веточки оливы. В воздухе уже жила и торжествовала весна — примавера. Какая-то необыкновенная свежесть, разлитая в природе, понуждала людей бодрствовать, строить планы, радоваться своему существованию. Адольфо, старичок, за которым присматривала Валерия, впервые за много дней решил подняться с постели и, опираясь на ее руку, прибрел к церкви. Он сумел высидеть часть мессы, которую сегодня вел дон Агостино. Проводив Адольфо, Валерия вернулась в церковь. Дон Агостино завершал проповедь. Он то и дело обращался с вопросами к детям, которых обучал катехизису, — они занимали первые две скамьи в церкви. До Валерии доносился звонкий голос Оленки, смело отвечавшей на все вопросы. Валерия подумала, что теперь, с появлением дона Леонардо, простые и незамысловатые проповеди старого проповедника многим покажутся слишком пресными.

Дон Леонардо привносил в проповедь элемент актерства. Он выбирал случаи из жизни, почерпнутые из газет, и давал им моральную оценку, покоря аудиторию продуманными интонациями, выверенными паузами, модуляциями красивого голоса. «Наверное, их так учили», — думала Валерия, с грустью вспоминая такое юное и печальное лицо молодого священника там, возле Дуомо. Теперешний дон Леонардо отрастил бороду, что прибавило ему солидности и некоторой живописности. Его громкий выразительный голос проникал во все уголки церкви, разговаривал ли он с доном Агостино, поднимался ли по лестнице, напевая или весело насвистывая. В заброшенной кладовке на первом этаже он расставил клетки с птицами, рассадил на подоконнике неслыханной красоты и хладостойкости цветы, ухаживал за тем и другим все свободное время. Валерии казалось, что во всем этом есть что-то искусственное, фальшивое. Ей гораздо больше импонировал тихий и мудрый в своей простоте дон Агостино. Но и дон Агостино изменился в последнее время. Перестал приходить «на чай». В нем появилась странная раздражительность. Иногда — она замечала, — общаясь с собеседником, он вдруг замолкал на полуслове и уходил к себе. Что-то зрело между двумя прелатами, она ощущала какие-то подземные толчки. Ее

поражало, что Кьяра как будто ничего не замечала и не чувствовала — продолжала восхищаться обоими священниками, приговаривая в разговорах с Валерией: «*Tutti e due sono bravi*» (Оба молодцы).

Неделю назад Валерия позвала их обоих на свой день рождения. Приготовила воскресный обед, испекла любимый Оленкой ореховый пирог, купила красного вина «Rosso Conego». Пришли они ровно в час — шумный, экзальтированный дон Леонардо и молчаливый дон Агостино. Дон Агостино протянул Валерии книгу о Франциске Ассизском, дон Леонардо — красочный альбом о комнатных растениях. Когда они ушли, Валерия нашла вложенную в альбом карточку, на которой были каллиграфически выведены число и подпись «смиранный леонардо». Разговор в тот раз зашел в тупик. Дон Леонардо, услышав, что она читала теологические работы Честертона, воодушевился, начал задавать вопросы, между тем как дон Агостино молча и хмуро ел. Ей тогда стало ужасно неловко и стыдно перед доном Агостино, у которого, как она знала, было теолого-философское образование и который, однако, не проронил ни слова, явно не желая участвовать в их диспуте. Может, он обиделся на нее? В чем она провинилась перед ним? Этот вопрос терзал Валерию все последующие дни.

После обедни дети снова вынесли корзины с веточками оливы и продолжили праздничную торговлю перед церковью. На шесте рядом с ними висел плакат, оповещающий, что весь доход от продажи идет в пользу бедных. Валерия с Кьярой стояли неподалеку, Кьяра, как всегда громко, делилась своими впечатлениями. «Дон Агостино болеет — у него поднялось давление, поэтому проповедь сегодня такая короткая. А какая молодчина твоя рагаца! Весь катехизис наизусть знает!» Из церкви вышли нарядно одетые родители дона Леонардо, по праздникам они приезжали в гости к сыну. Кьяра помахала им рукой, и Валерии снова показалось, что Леонелла, мать Леонардо, взглянула на нее как-то особенно пристально.

Дон Агостино болел. К нему приходил врач, сказал, что нужен покой. Болезнь была особенно некстати в эти предпасхальные дни, когда священники ходят по домам,

благословляя свою паству. Валерии очень хотелось навестить дона Агостино, но было неловко. В конце концов она собрала корзинку «гостинцев», написала записку и попросила Оленку отнести все это священнику. Оленка долго не возвращалась, а когда пришла, вся лучилась. Дон Агостино расспрашивал ее о школе, об учителях и подружках, угостил вкусным ореховым струделем и велел поблагодарить маму за гостинцы. Но это еще не все, Оленка хитренько сощурилась и протянула Валерии открытку. На ней была известная в городе мадонна Кривелли, чье изображение висело в Дуомо, нежная, с опущенными долу очами. Как ни искала Валерия, никаких надписей на открытке не было.

За два дня до Пасхи к ним с Оленкой пожаловал дон Леонардо. В руках у него была большая синтетическая сумка, из которой выглядывали кочаны капусты, листья салата и другой зелени. Сумку он оставил на пороге, прошел в квартиру и очень торжественно благословил скудное, почти без мебели, жилище Валерии, состоящее из двух маленьких спален и кухни. Оленка следовала за ним по пятам — она только что закончила делать уроки. Помериджо переходил в вечер, наступали сумерки. Валерия зажгла свет на кухне, предложила дону Леонардо выпить чаю. Он не отказался.

Валерия разогрела остатки обеда, и дон Леонардо с аппетитом съел рыбу с картошкой. Валерия подумала, что, наверное, ему не хватает той еды, что готовит Кьяра. При его могучем телосложении и молодости вряд ли он наедается за обедом у дона Агостино.

Дон Леонардо как раз рассказывал, что ходит иногда в столовую для бедных, ест бесплатную похлебку. «Там вполне прилично кормят», — говорил он с улыбкой, и Валерии в этой улыбке снова мерещилось что-то неестественное, фальшивое. «Приходите лучше к нам, у нас с дочкой всегда есть обед», — проговорила она, и что-то дрогнуло у нее внутри. Со смертью мужа она не перестала готовить, но потеряла интерес к приготовлению пищи — Оленка ела плохо и мало. Совсем другое дело, когда готовишь для взрослого мужчины. Дон Леонардо никак не отозвался на

ее реплику, только еще более повеселел. Со смехом стал рассказывать, что каждый день под дверью находит огромную сумку с зеленью — видимо, какая-то прихожанка предполагает в нем склонность к вегетарианству. «Регулярно сдаю эту зелень Къяре, а сегодня решил поделиться с вами». Поднялся из-за стола и втащил сумку с зеленью на кухню. Чай пили вдвоем — Оленка ушла посмотреть телевизор. Глядя, с какой жадностью он ест варенье, Валерия думала, что, несмотря на свой священнический сан и густую бороду, в сущности, он еще ребенок, ребенок, оторванный от материнского тепла и ласки. Может быть, в пристальном взгляде его матери таилась просьба к ней, Валерии, поделиться с ее сыном домашним теплом?

На Пасху дон Агостино встал с постели и, еще слабый и бледный, вел службу. Читался текст Евангелия от Матфея, роль Спасителя взял на себя старый священник, Иудой был один из молодых прихожан. Люди, заполнившие церковь, замерев, словно в первый раз, слушали знакомую историю. Шла сцена «суда Пилата», и Валерия поразилась, что за Христа выступает старый священник, так просто и естественно читал он текст. Дону Леонардо достались слова осуждения иудеев: «Кровь его на нас и на детях наших». Он произнес их так, что Валерии показалось, что церковь содрогнулась. Или это у нее самой закружилась голова? Пришлось схватиться за спинку соседней лавки. Была мысль: еще мгновение — и она потеряет сознание. Но обошлось.

Об ее еврействе знал только дон Агостино. Знал и хранил молчание — скажи он об этом хоть одному человеку, в ту же минуту узнали бы все. Валерия, как большинство русских евреев, не знала ни еврейского языка, ни религии, но еврейство сидело в ней крепко. В смутной детской памяти сидели дедушкины рассказы со всегда завершающей их фразой: «Израиль спасется!» Да, они жили в католической церкви, Оленка изучала вместе с итальянскими сверстниками катехизис, ну и что из этого? Валерия была уверена, что и Оленка ни за что на свете не откажется от своего еврейства, приносящего не только жизненные невзгоды, но и несказанную радость избранничества.

После праздничной пасхальной мессы народ долго не расходился. Къяра вышла из церкви вся заплаканная. В ней боролись два чувства: умиление перед подвигом Христа и ярость к тем, кто его казнил. Первое чувство сидело глубоко в душе, второе рвалось наружу. «Я бы своими руками придушила этих евреев», — как всегда громко делилась она с Валерией. «Еще говорят, что умные, где же их ум был — распяли Спасителя, а разбойника пощадили? Они и сейчас такие же — вон, говорят, пьют, как вампиры, христианскую кровь...». Валерия в испуге смотрела на Оленку. Та стала пунцово-красной и с искаженным лицом подскочила к Къяре: «Баба Къяра, что ты такое говоришь? Это все глупости. Мы с мамой еврейки — разве мы пьем чью-нибудь кровь?» Наступила тишина. Валерия взяла Оленку за руку, и под взглядами расступающейся толпы они проследовали к двери своего жилища.

Вечером Валерии позвонил дон Агостино, попросил спуститься к нему. Она посмотрела на Оленку, которая с независимым видом рисовала что-то, сидя за кухонным столом, вздохнула и открыла дверь. Дон Агостино полулежал в кресле, укутанный пледом; окна в его просторной гостиной были распахнуты — в них врывались снопы света и морской, напоенной зеленью свежести. Он говорил глухо, не поднимая глаз. Оказывается, весков уже давно предупредил дону Агостино, что присутствие в церкви молодой безмужней женщины нежелательно. Он, Агостино, все оттягивал этот разговор, но, по-видимому, переезд Валерии неизбежен. Он поговорит со своими знакомыми, чтобы условия найма не были слишком тяжелы и у Валерии оставалась какая-то толика денег на жизнь. Валерия молчала. Больше всего ей хотелось поскорее выскочить из комнаты и, заперевшись в своей спальне, вволю поплакать. Прощаясь с Валерией, дон Агостино встал с кресла и проводил ее к выходу. Стоя у двери, Валерия бросилась к священнику: «Спасибо вам, спасибо за все», — она не могла говорить, голос срывался. Лицо дона Агостино было близко-близко, в глазах его стояли слезы: «Я полюбил вас, тебя и твою дочку. Вы — как моя семья. Ты ведь тоже немножко любишь меня, правда?» Он смотрел вопрошающе,

хотел еще что-то добавить, но осекся и замолчал. Валерия вышла.

Через неделю они с Оленкой переезжали. Квартира нашлась аж в другом городе, так что они, если не навсегда, то надолго прощались с церковью и ее обитателями. Дон Агостино снова заболел и глядел на них, махая рукой из окна. Кьяра хлопотливо помогала перетаскивать корзинки и тюки, а дон Леонардо подарил Валерии на прощанье огромный букет неслыханной красоты роз.

Декабрь 2000

Лючия

Жарко было, нестерпимо жарко. Духота, не освежаемая ветерком. Гриша, сидевший в майке на своей кровати, начал плакать, повторяя одно и то же:

— Мне жарко, мне жарко, мне...

— Хватит, — прикрикнула на него Алла, — пошли, — и она подтолкнула его к двери. Они вышли на безлюдную улицу. Вообще эта улица не была безлюдной, как раз наоборот, здесь обосновалась банкарелла, итальянский базар, она была шумной и многолюдной, но не в этот час. В этот час — было три пополудни — на ней никого не было, складные торговые палатки разобрали, на раскаленном асфальте валялся разнообразный банкарельский сор. Шло время раннего помериджо, когда люди или отдыхают, подставив темя освежающему вентилятору, или спят лицом к прохладной стене.

Алла тянула маленького Гришу, пот застилал глаза, солнце слепило, укрыться от него на улице, зажатой с обеих сторон каменными домами, было негде. Они свернули направо и стали подниматься в гору, здесь была тень, за забором с двух сторон росли пинии и ярко-зеленый глянцевоый кустарник. Можно было перевести дух. Наконец начался очень крутой подъем — Алла поднялась в горку по ступенькам, а Гриша вбежал на нее отвесно, и они достигли каменных ворот, закрытых на щеколду. Воздух стал заметно свежее и влажнее, ощущалось близкое присутствие моря. Его не было отсюда видно, но оно расстилалось внизу, за *Campro degli ebrei*, Еврейским кладбищем, которое начиналось сразу за каменной оградой дома, куда они пришли. Алла отодвинула щеколду, и они вошли во дворик.

Алла огляделась. Хозяйки не было, все остальное было на привычных местах. Возле дома на протянутой веревке висело белье, дряхлая Лесси приветствовала их с Гришей бессильным жидким лаем. Гриша подбежал к собаке, а Алла села за каменный стол возле дома. Здесь было даже прохладно. Стол стоял в тени, да и с моря дул бриз. Алла закрыла глаза и просидела так несколько секунд, блаженно, ни о чем не думая. Внизу, с подножья взгорка, послышалось тарахтенье машины. Это Лючия на новом «фиате» совершала свой ежедневный подъем к дому. В который раз Алла подумала, что Лючия не чета ей — *molto brava* — не боится ни крутого подъема, ни жизненных передрыг. Одинока, но всегда окружена людьми, вечно всем помогает — вот и дом этот после своей смерти завещала пожилым, уже не способным работать священникам, не имеющим ни семьи, ни угла. Как ей это удастся? Ведь старая, не слишком образованная, мало что видела. А внутри — покой, незыблемость, то, что сама она на своем незамысловатом итальянском называет «*serenita*», такого слова и нет на русском — разве что «солнечность»...

В калитку входила Лючия с большой пластиковой сумкой в руках, она приветливо кивнула Алле, устало подошла к столу, поставила на него сумку, тяжело присела на лавку. Алла знала, что после обеда Лючия — церковная активистка — развозит продукты по бедным семьям. Откуда берутся силы на такое в несусветную полдненную жару? Немного передохнув, Лючия вытянула из сумки перевязанный веревочкой пакет и направилась к Грише, сидящему на корточках рядом с собакой.

— Эй, джованотто, смотри, что я тебе принесла!

— Чикита?

— Чикита. Ну ты и догадлив!

Оба захохотали. Связка «чикиты» — особого сорта эквадорских бананов — была постоянным Лючиным подарком для Гриши. Сама она их не ела, считала «ребячьим угощением», да и вообще не тратила на себя ни одного лишнего сольдо. Алла подумала, что, если бы не Лючия, Гришуня вряд ли бы лакомился дорогими бананами. Она понимала, что они с Гришей пришли не вовремя, Лючия должна

сейчас по своему распорядку часика два поспать, чтобы потом снова неустойчиво приняться за дела... но жара — что Алла могла поделаться с этой жарой? Выдержать ее в их с Гришей жилище под самой крышей было свыше сил.

— Гришуня прямо плавился, — оправдывала себя Алла, глядя в немного настороженное, хотя и приветливое лицо Лючии, которая снова села с нею рядом. — Мы ненадолго, Лючия, я подумала, что сейчас могла бы записать твои рассказы.

— Рассказы? Да ты уже сто раз их слышала. Это про то, как еврейский Савл стал апостолом Павлом?

— Совсем нет, Лючия, не про Савла-Павла, а про тебя. Расскажи по порядку, как родилась в Кастельфидардо, как росла без отца, как работала с матерью по чужим семьям, как в войну стала медсестрой, как выиграла в лотерею и купила этот дом рядом с Campo degli ebrei...

— Погоди, погоди, да ты вон уже все знаешь. Я же вам с джованотто — Лючия указала на Гришу, который лениво раскрывал банан, — уже сто раз рассказывала — и про лотерейный билет, и про дом, и про свое замужество...

— Про замужество? Про замужество я хоть и слышала, но не все запомнила, надо бы записать. Алла вытаскивала из сумки заготовленный лист бумаги и ручку. Ну, Лючия!

Лючия начала привычный рассказ, Алла пыталась в него вслушаться, но что-то ей мешало. Параллельно голосу Лючии звучал какой-то другой, рассказывающий ту же историю, но по-иному. К тому же, Лючия говорила на местном анконитанском диалекте, многие слова которого Алле были просто не понятны. Она оставляла на листе зияющие пробелы, в надежде когда-нибудь их заполнить.

Хотя кому и когда это может понадобиться? Пригодится ли ей, Алле, в ее другой жизни, что когда-нибудь да начнет история замужества малограмотной старой итальянки из глухой итальянской провинции? Ответа она не знала. Записывала, потому что нужно было хоть как-то оправдать их с Гришей неурочное появление у Лючии в нестерпимо знойный час итальянского помериджо.

Лючия вышла замуж неожиданно — и для себя, и для своих товарок-медсестер, с которыми вместе работала

в больнице. Как это ни печально, но ее замужество совпало с трауром по матери, умершей незадолго до того. Была Лючия смолоду скрытна, не очень многословна, дичилась проказливых игривых подруг, которые, однако, именно ей любили поверять свои сердечные тайны. Была в ней какая-то скрытая невидимая сила, выделяющая ее из прочих. Рослая, очень прямая, с серьезным, даже немного суровым выражением лица, она смотрелась намного старше своих ровесниц. Мало кто с первого раза угадывал в строгом взгляде карих Лючиинных глаз спрятанные в них доброту и искринки смеха. Окружающим казалась она слегка блаженной, да и история с выигрышным лотерейным билетом сделала ее почти легендарной личностью. История была такая. Знакомая медсестра предложила Лючии поучаствовать во всеитальянской лотерее, объявленной в газете. Лючия, поколебавшись, — она не любила подобных затей, — все же согласилась и продиктовала той свою цифровую комбинацию. Потом она об этом забыла и вспомнила, когда уже лотерея прошла. Случайно на обрывке старой газеты прочла она набор цифр, выигравших крупную сумму. Не сразу до нее дошло, что именно ее билет оказался выигрышным. Когда же пришло осознание, головы она не потеряла. Сумма была большая. На ее часть она купила себе с матерью дом на границе с Campo degli ebrei, давно хотелось ей жить около моря. Оставшиеся деньги потратила, заказав места на кладбище для себя, матери и всех своих еще живущих родственников. Так она стала «невестой с приданым» — все же свой дом для Италии не шутка. Но прилива женихов не наблюдалось. Как-то стояла она возле банкарельного лотка, перебирая текстильную мелочь. Неожиданно над ее головой раздался мужской негромкий голос:

— Что синьорина ищет в этой куче? Уж не жемчужное ли зернышко?

Она подняла глаза и в двух шагах от себя увидела довольно высокого, плотного человека с уже седеющей головой. Видно, ему стало неловко за незлую насмешку, прозвучавшую в вопросе, он закашлялся. А Лючия тем временем раздумывала, нужно ли его «срезать», что она обычно делала в таких случаях, или стоит подождать продолжения

и промолчать. Она промолчала. Незнакомец, оправившись от кашля, продолжал:

— Пожалуйста, не принимайте меня за назойливого нахала, но можно оторвать вас на пару минут от этого ба-рахла?

Лючия ни жива, ни мертва отошла в сторонку от толпы, окружавшей лоток. Ее сознание фиксировало, что соседей и домашних поблизости нет, но банкарельщик, как ей показалось, на нее покосился. Незнакомец подходил к ней, смущенно потирая переносицу.

— Синьорина, открою вам свои карты. Я вдовец, у меня трое совсем взрослых детей. Вы мне понравились.

В этом месте Лючия недоверчиво на него взглянула. Ей шел сорок четвертый год. Никогда не была она красавицей, женское кокетство было ей не свойственно. В то же время мать бесконечно ей твердила, что все мужчины хотят от женщин лишь одного, что дурят бедняжкам голову разными прельстительными обманными словами и что нужно быть начеку и уметь обороняться. Лючия сжалась в комок. А незнакомец, поймав ее взгляд и как-то по-своему его истолковав, продолжал:

— Да, синьорина, я понимаю, что староват для вас. Но я здоров, у меня неплохая работа, я работаю в полиции, и есть свой дом.

Лючия перевела дыхание. Никогда до этого ни один мужчина не объяснял ей в любви, она даже не предполагала, что может кому-то понравиться. В последнее время мать чувствовала себя неважно и частенько заводила разговор о необходимости замужества для Лючии. Обычно она связывала этот предмет со своим скорым уходом и с домом, которым теперь владела дочь. На дом, мол, женихи найдутся. Но вот у этого есть свой дом, но он все равно подошел к ней, к Лючии, значит, что же — действительно она ему понравилась? Лючия так глубоко задумалась, что пришла в себя, лишь когда поняла, что уже несколько минут они оба молчат. Он стоит и ждет от нее ответа, причем взгляд у него довольно жалкий и растерянный. Вспомнив, как в таких случаях вели себя ее товарки, Лючия быстро достала из сумки записную книжку, вырвала из нее листок

и записала на нем свой домашний телефон. На этом они распрощались. Только когда незнакомец скрылся из виду, Лючия подумала, что не знает его имени.

Он позвонил в неудачный день. В день, когда матери Лючии стало совсем худо. К вечеру она умерла. Лючия даже не смогла подойти к телефону, соседка Антония шепнула ей, что звонил какой-то Джакомо Джакометти, спрашивал «синьорину» Лючию. По этой-то «синьорине» Лючия легко догадалась, кто такой этот Джакомо Джакометти.

В день похорон матери, 24 апреля, Лючия видела Джакомо в толпе возле дома. Он поклонился ей издали, в руке он держал маленький букетик весенних фиалок. Лючия так и не поняла, для кого предназначались эти цветы, для нее или для умершей матери. На кладбище, куда ехали на специальном автобусе, Джакомо она уже не видела. Кладбище располагалось за городом, в долине. Запах влажной, уже пробудившейся от зимнего оцепенения земли ударял в голову. Огромное, залитое солнечным светом, но мрачное кладбище было пустынно. Гроб с телом матери поставили на второй этаж каменного склепа, третий этаж предназначался для самой Лючии и родственников.

Вернувшись после похорон в пустое жилище, Лючия бросилась в одежде на кровать и долго, в голос, рыдала. Ей не нравилось место, где она оставила мать, было оно неприглядным и страшным, и ей не хотелось со временем улечься в нишу на третьем этаже мрачного склепа. Как мало осталось жизни, как много уже прожито, но ничего, ничего из прожитого не хотелось ни вспоминать, ни длить в памяти, — ничто не давало чувства радости или хотя бы светлой грусти. Разве что — Лючия чуть уредила рыдания — разве что маленький букетик фиалок в руках у полузнакомого мужчины. Почему он, этот Джакомо Джакометти, не подошел к ней, кому предназначались его цветы? Лючия так и заснула не раздеваясь, с этим странным вопросом в голове.

Прошло чуть больше месяца — Джакомо не появлялся. Лючия и рада бы была не думать о нем, да не шел он у нее из головы. Впервые за всю ее жизнь встретился ей человек, которого трудно было бы назвать «пустозвоном»

или «шалопаем» — так ее мать определяла всех без разбору холостых мужчин. К тому же Лючии понравились его голос и повадка. Временами — Святая Мадонна! — ей даже чудилось, что обними ее такой вот, как Джакомо, и не было бы в этом стыда и непотребства. Ощущение стыда и непотребства возникало у нее всякий раз, когда к ней прикасались грубые мужские руки. Было это всего два раза в ее жизни, незадолго до встречи с Джакомо, когда мать, обеспокоенная одиночеством дочери, присматривала ей в церкви «кавалера». Первый раз это был тридцатилетний смазливый парень без определенных занятий, но с ворохом богобоязненных родственников — клан занимал целую скамью в церкви, во втором ряду, напротив самой кафедры дона Паскуале. По словам семьи, парень был фармацевтом, но то ли не доучился, то ли заучился, понять было трудно. В течение многих лет его родственники громогласно заявляли, что «Артуро учится на фармацевта». Параллельно с учебом Артуро вел довольно свободный образ жизни, однако каждое воскресенье неизменно появлялся на мессе к великой радости семейного клана. В одно из мартовских воскресений мать Лючии шепнула тетке парня, Клаудии, что Лючия слегка прихворнула и неплохо было бы, если бы Артуро посоветовал ей какое-нибудь средство от ее хвори. Тетка пошептала с Анжелой, матерью Артуро, обе решили, что в следующее воскресенье после мессы Артуро может прийти на обед в дом Лючии. Явился он точно к часу, Лючию неприятно кольнуло, что пришел он в дом с пустыми руками. Мать ей всегда твердила, что скупость — наихудший из пороков и что всегда можно найти дешевый пустяк, чтобы принести в чужой дом. Гость скользнул по Лючии невнимательным взглядом и тотчас поспешил к столу, уже накрытому к приходу гостя. Мать Лючии, насмотревшись за годы работы в богатых крестьянских домах на «светские приемы», постаралась в грязь лицом не ударить. Утром сходила она на рыбный рынок, купила недорого отличную красную рыбу-сальмоне и много креветок, в садике возле дома нарвала ранних специй-трав. Рыбу, обложенную травами, испекла в металлической фольге, креветки и эти же травы употребила

для соуса к пасте. Соус гость выделил особо, ел он с превосходным аппетитом, попивал «Россо Конеро» — огромную его флягу привез за год до этого «полуродственник» из Монте Марчано, — похваливал кулинарное мастерство Лючиинной матери. Лючии запомнилось, как он несколько раз повторил, что варвары завоевали Рим исключительно из зависти к разнообразным вкусным и полезным травам, произрастававшим в Италии. Лючия сидела молча, ела мало, гость не обращал на нее ни малейшего внимания. Об ее «хвори» речи не заходило, видно, семья Артуро верно поняла цели предстоящего визита. После обеда мать Лючии предложила «молодежи» погулять. Мартовское после-полуденное солнце припекало, но еще не жгло, сразу за домом начинались заросли, ведущие к Еврейскому кладбищу. Тут-то Артуро, ни слова не говоря, схватил Лючию за талию и попытался прижать к себе. Лючия почувствовала бесстыдные пальцы на своем теле, ее обдал тошнотворный запах выпитого вина и съеденной пищи, она с ужасом отпрянула и дико закричала; покрасневший и растерявшийся кавалер быстро ретировался. Лючия вернулась домой одна, мать внимательно на нее посмотрела и ни о чем не спросила.

Вечером мать Лючии, накинув на голову кружевную шаль, отправилась к священнику. Дон Паскуале жил на втором этаже приходской церкви. Мать Лючии застала его за подготовкой вечерней проповеди, на столе лежали раскрытая Библия, очки, листочки с выписками. Маленькая комнатка была темноватой и неудобной. Анна хорошо знала дона Паскуале, они родились в одном селе, Кастельфидардо, росли в соседних домах, по весне вместе с одноклассниками запускали воздушного змея — аквилоне. Паскуале тогда был ужасным непоседой и сорванцом, Анна помнит, как однажды они с ним долго тянули змея, и тот летал высоко в небе, а потом Паскуале нарочно выпустил веревку, и они упали — Анна и Паскуале, — упали прямо друг на друга под гогот и шуточки одноклассников. Анна потом долго краснела, завидев Паскуале, а иногда даже пряталась от него, как ей казалось, назойливого взгляда. Так случилось, что отец Паскуале, сельский портной,

отдал сына-подростка в духовную школу, что и определило его будущую судьбу одинокого бессемейного священника. Анна же очень рано вышла замуж за сына пекаря, рано овдовела, с маленькой дочкой на руках прислуживала в богатых семьях, лишь сейчас, на старости лет, зажила, «как матрона», в собственном (Лючиинном) доме. Каждый раз, видя дону Паскуале в церкви и слушая его проповеди, Анна начинала сомневаться, уж тот ли это сорванец Паскуале, с которым они когда-то по весне запускали аквилонне. Дон Паскуале с каждым годом становился все строже и молчаливее. Он был образцом священника, сделавшего служение пастве своим прямым делом. Только не было в нем больше ни прежнего озорства, ни веселья.

Выслушав сетования матери Лючии, что дочь не пристроена, что ей, Анне, горестно будет уходить, оставив Лючию одну-одинешеньку, дон Паскуале вздохнул. У него оставалось всего несколько минут до вечерней мессы, но из уважения к Анне он говорил неторопливо, с участием. Нет, он никого не знает, кто бы мог подойти Лючии. И в голову не приходит. Люди стали очень развращены — и старики, и молодежь. Артуро? Но это самый неподходящий кандидат, нигде не учится и не работает, слоняется по пиццериям и барам, его родители и рады бы сбить свое сокровище с рук, да Артуро вечно где-нибудь да нашкодит; он, дон Паскуале, уже устал от рыданий его бедняжки-матери. Нет, не видит он для Лючии достойного кандидата. Да и стоит ли ей, в ее уже немолодом возрасте, искать суженого? Не лучше ли остаться Христовой невестой? Дон Паскуале снова глубоко вздохнул и посмотрел куда-то поверх Анны. Там, над Анниной головой, висела старая черно-белая фотография — его молодые, счастливо улыбающиеся родители и он, длиннорукий и нескладный, словно чем-то озадаченный подросток перед воротами семинарии. Дон Паскуале поднялся, вежливо показывая, что аудиенция окончена, пора было на мессу. У дверей он замешкался, потом повернулся к Анне, и в темноте прямо перед собой она увидела его лицо. До этого он избегал ее взгляда. Анна ужаснулась, таким старым и безжизненным показалось ей лицо дону Паскуале, так мертвы были его глаза. Они вышли из темной, похожей

на келью комнаты на лестницу, где и распрощались. Дон Паскуале направился вниз по лестнице в церковь, а Анна через входную дверь попала на разогретую за день, еще светлую улицу, на которой шумела говорливая и пестрая банкарелла.

Несмотря на неутешительные результаты визита к священнику, мать Лючии продолжала поиски жениха для дочери. Ее внимание привлек служивший когда-то в трибунале адвокат Джованни, который со старушкой-матерью не пропускал ни одной воскресной службы. Вызывало удивление, как трогательно он привязан к матери, как бережно ее поддерживает, идя с нею к полдневной мессе. Разговор с синьорой Витторией у Анны не получился, глухота и тяжелый склероз мешали той понимать обращенные к ней вопросы. Тогда Анна обратилась непосредственно к синьору Джованни, не хотели бы они с матерью провести пасхальное утро — в том году Пасха пришлось на 15 апреля — в их с Лючией доме за праздничным столом. Бывший адвокат слегка удивился предложению, но не отказался, а сказал, что подумает и непременно позвонит сегодня же вечером. Мать с Лючией ждали весь вечер обещанного звонка, но его не было. Позвонил он перед самой Пасхой, сказал, что матушка плохо себя чувствовала, поэтому он так задержался со звонком, и что они непременно придут в дом Лючии в пасхальное утро. Мать Лючии опять купила рыбу у знакомой торговки, снова нарвала в садике трав, вытащила огромную бутылку красного вина, привезенного из Монте Марчано молочным братом Лючии. Они ждали гостей все утро. Солнце играло на небе, с Еврейского кладбища раздавался женский смех, детские крики — сюда приезжали семьями на прогулку после праздничного застолья. Синьор Джованни с матерью появились только к вечеру, когда их уже не ждали. В согнутой подрагивающей руке синьора Виттория несла коробку с маленькой коломбой — пасхальным куличом. Поздний обед проходил скучно. Бывший адвокат молчал, искоса поглядывая на Лючию. Его матушка задремывала за столом. После обеда старушки остались в доме, а «молодежь», по предложению Анны, вышла на прогулку. Стоял светлый вечер. Полосы красного заката

опоясывали высокое небо, которое плавно спускалось к морю. Лючия остановилась возле яркого, усыпанного желтыми листьями-цветами кустарника джинестры, ее кавалер в напряженной позе встал рядом. Обрывая цветочные листики-лепестки, Лючия чувствовала на себе цепкий оценивающий взгляд. Внезапно Джованни с молодой резвостью подскочил к ней и схватил за обнаженный локоть. Это было так неожиданно, что она вскрикнула. Побледнев как полотно и ни слова не говоря, бывший адвокат направился к дому. Оттуда, подхватив упирающуюся и ничего не понимающую матушку, под недоуменным взглядом Анны, быстро убрался восвояси. Лючия, заплаканная и несчастная, вернулась, когда уже стемнело. Эти два неудачных опыта общения с мужчинами убедили Лючию, что дон Паскуале прав и что на роду ей написано быть Христовой невестой.

Прошло чуть больше месяца после похорон Лючиной матери. Лючия вернулась к своей прежней монотонно-спокойной жизни. Работа отнимала у нее много сил — она была сестрой в тяжелом — урологическом — отделении. После ночного дежурства возвращалась Лючия домой по пробуждающемуся городу.

— Синьорина, — еще не подняв глаза, она узнала голос Джакомо, — можно я провожу вас? Куда вы направляетесь?

Лючия ответила, что идет домой после дежурства.

— Хотите спать? А не то мы с вами прогулялись бы по вяэле — уж больно хорошее утро!

Утро действительно было чудесное. Солнечные лучи грели ласково и равномерно, дул свежий ветерок. В центральной части Италии необыкновенно хороши именно два предшествующих лету месяца — апрель и май. В них словно сфокусировалась вся восхитительная мягкость и дымчатая прозрачность воздуха итальянских предгорий. Лючия, сама себе удивляясь, утвердительно кивнула, говоря себе в оправдание, что выспаться она всегда успеет, и они с Джакомо через маленькую, окруженную пальмами площадь Кавура направились к вяэле — длинному, прямому проспекту, ведущему к морю. Лючия уже забыла, когда была здесь в последний раз, может, девочкой... Джакомо

взял Лючию под руку, и это было так естественно, что она даже не успела удивиться. Проспект в этот ранний час был безлюден. Они бодро вышагивали по красивым узорным плиткам, среди пышной листвы, почти полностью заслоняющей солнце. Джакомо говорил о чем-то незначительном, но звук его голоса был приятен для слуха Лючии, она вслушивалась в звуки, в интонации, не в смысл. Ее удивило, что проспект, который когда-то казался бесконечным, кончился так быстро. Вышли к морю. Постояли на смотровой площадке наверху, потом спустились по петляющей в кустарнике каменной лестнице вниз к не совсем спокойному, темно-изумрудному морю. Усеянный галькой пляж был пуст, прибой обдавал их брызгами. Джакомо, повернувшись к Лючии, указал рукой куда-то наверх:

— Узнаете? Вон там, за Дуомо, должен быть ваш дом. Отсюда виднеется поле и белая стена, а уж за ней...

Ветер смешно растрепал его седеющие волосы, Лючия осторожно провела по ним ладонью. Оба притихли, как школьники. Джакомо притянул Лючиины плечи к себе. Он хотел ей что-то сказать, его губы шевелились, а звук не шел. Большой, с седым ежиком волос мужчина чего-то испугался и заробел. Лючия чувствовала себя рядом с ним девочкой, но девочкой-повелительницей. Ее распирали два чувства: чувство счастья и чувство жалости к Джакомо. Она ответила на его не выговоренный вопрос:

— Конечно, мы будем вместе жить в этом доме.

И она указала туда, где за зеленым полем, усеянным белыми камнями, располагался ее дом.

Алла не сразу вернулась к реальности. Чтобы перейти из того мира в этот, надо было, чтобы подошел Гриша и потянул ее за рукав:

— Мне надоело, пойдем!

Алла стряхнула оцепенение, внимательно оглядела каменный стол, лежащую подле него Лесси, недовольного Гришу. Лючия встрепенулась.

— Чего хочет джованотто? Устал сидеть? Пусть побега-ет по садику, там, слава Мадонне, уже не так жарко.

Удивительно, как точно Лючия угадывала смысл того, что Гришуня говорил ей, Алле, по-русски. Гриша, оставив Лесси, вприпрыжку побежал к маленькому, туго заселенному фруктовыми деревьями и съедобными травами Лючиному саду. Алла снова начала вслушиваться в довольно монотонный рассказ Лючии. Та уже приближалась к концу повествования. Они с Джакомо очень быстро надумали пожениться. Он перевез к ней, Лючии, свои пожитки, а свой дом оставил младшей дочке, только что вышедшей замуж. В больнице, где Лючия работала, долгое время ничего не знали о перемене в ее жизни. Узнали, когда как-то вечером Джакомо зашел за ней в своей нарядной форме «маршалла» — начальника полицейской части. Медсестры и даже врачи забежали, зашущукались: «Кто это? Чей это?» Высказывались различные догадки. Тайна начала раскрываться, когда, закончив работу, Лючия подошла к улыбающемуся импозантному седеющему «маршаллу» и они вместе, рука к руке, покинули помещение. На следующий день Лючию с утра окружила целая толпа. Ей пришлось признаться, что вот уже две недели, как она замужем. Коллеги устроили в честь Лючии и ее Джакомо праздничную «чену» в ресторане «Il Vecchio Pirata», а больничное начальство подарило им целый чемодан с маркеджанскими винами. На этой кульминационной ноте Лючия закончила свой рассказ. История эта имела свое невеселое продолжение. Лючия прожила с Джакомо семь счастливых лет, потом муж ее заболел неизлечимой болезнью. Лючия не отходила от его постели, звала в дом врачей, знахарей, священников. Все было напрасно — болезнь не уходила. Все, что случилось после смерти Джакомо, Алле трудно было представить. Это была особая тема: как смогла Лючия выжить, что удержало ее на земле, не дало отчаяться.

Гостям давно пора было уходить. Алла взглянула на Лючию: ту клонило в сон, глаза сами собой закрывались. Собрав листочки и запихнув их в сумку, Алла быстро поднялась и стала звать Гришу. Под бессильно-хриплый лай Лесси они вышли за ограду Лючиного дома.

Было около пяти часов, жара еще не спала, наоборот, солнечные лучи стали более прямыми и обжигающими.

Поразмыслив, Алла повернула не домой, а в сторону Campo degli ebrei, где было много деревьев и, следовательно, тени.

Гриша шел за ней неохотно, он не любил долгих прогулок, к тому же он проголодался. Алла достала из сумки плитку шоколада:

— Терпи, Гришуня, на ужин сварю тебе пасту с «морскими фруктами».

Они уже выходили из зарослей кустарника на широкое зеленое поле, слева упиравшееся в громадную отвесную гору, а справа — в крутой обрыв, за которым далеко внизу плескалось море. Это место с давних времен называлось Еврейским кладбищем. Оно и было когда-то, вплоть до XVII века, местом захоронения местных евреев, повсюду там и сям среди земли торчали белые каменные плиты с процарапанными на них странными еврейскими буквами-значками. Эти странные надгробия, чудом сохранившиеся на небольшой прибрежной полоске земли (большая их часть была поглощена обрывистым берегом и упала в море) выглядели как ископаемые ящеры, древние реликты ушедшей жизни и культуры. Алла, как и все, знала, что это заповедное место, купленное у города много столетий назад еврейской общиной, власти собираются превратить в городской парк. Пока этого не произошло, она часто приходила сюда, ее сюда тянуло. Ей казалось, что на этом давно заброшенном кладбище, которое в скором времени станет обычной землей, местом для прогулок, были захоронены ее предки, ее далекие, не известные ей родичи, чьих имен она не знала. Не знала она и языка надгробных надписей, ходила в непонятном оцепенении от одного камня к другому, задавая себе один и тот же вопрос: «Этот? Или этот?» Кладбище не было безлюдным. Даже в этот неуточный час здесь было много народу — семьи кучками сидели и лежали на траве, дети бегали между надгробий, звенели звонки велосипедов. В сущности это место давно уже стало парком. Захороненные здесь кости сгнили и сделались частью почвы, осталось только собрать и вывезти могильные камни. Весной, когда возле древних камней зацветают дикие фиалки, сюда за ними сбегается целый город. Скорее всего,

Лючиин Джакомо именно здесь нарвал свой букетик, который принес на похороны ее матери. Алла стала думать о Лючии. Ей, Алле, трудно ее понять, все противится пониманию — и возраст, и воспитание, и чужая культура, и неродной язык. Но бывают мгновения, когда Алле кажется, что она чувствует, ЧТО стоит за Лючиинными словами, за ее многоречием или умолчаниями. У них с Люцией есть странная связь, не словесная, иная.

Алла помнит, как год назад Лючия взяла их с Гришей на загородную прогулку. После воскресного обеда посадила на свой тогда еще совсем новый «фиат», и они помчались. Лючия, севшая за руль после смерти мужа, когда ей было за пятьдесят, вела машину смело, почти безрассудно. Ветер свистел в ушах, дорога вилась между гор. Остановились в горной лощине. Огромное пространство было огорожено оградой, сквозь решетки которой виднелись странного вида сооружения. Была ранняя весна, пахло землей. Лючия ввела их с Гришей за ограду, подвела к одному из темных многоярусных сооружений.

— Здесь, — показала она рукой на уровне второго ряда, — лежит мама, а здесь, — она указала выше, — лежит Джакомо.

Она замолчала. Гриша показал на свободное пространство, рядом с заполненной ячейкой:

— А здесь? Кто будет лежать здесь?

Он почти догадался, но не был до конца уверен в ответе, потому и спросил.

Здесь, — спокойно сказала Лючия, — буду лежать я.

И улыбнулась Грише. Она ничего не сказала Алле, но они посмотрели друг на друга, и Алла постаралась понять, чего от нее хочет Лючия. Нет, неспроста Лючия привезла их с Гришуней на это место, неспроста. Потом Лючия пошла к машине и вынула из багажника два небольших горшка с синевато-фиолетовыми мелкими цветочками. Она поставила горшки на землю подле темного камня. Вокруг, кроме этих цветочков, не было ничего живого — ни кустика, ни деревца, не было даже скамеечки, на которой можно было бы посидеть и погоревать. Все трое стояли и смотрели на трехъярусное чудовище. Гриша заскучал и

начал ныть. Лючия, быстро на него взглянув, весело крикнула:

— Эй, джованотто, скорее беги к машине, там в багажнике есть кое-что для тебя.

— Чикита?

— Ну ты и догадлив!

— Мам, пойдем домой — я хочу па-асту, — тянул Гриша. Он устал от долгого пребывания вне дома — сначала у Лючии, потом на Еврейском кладбище, — проголодался и начал капризничать. Нужно было возвращаться.

— Погоди минутку, сейчас пойдем!

Алла стояла на самой кромке вздыбленного обрывистого берега и смотрела на море. Было оно спокойно-величаво; безмолвно взмывали над ним чайки. Далеко-далеко за морем, за высокими горами и просторными долинами, за вековечностью долгих месяцев и мгновенных лет, лежит Аллина родина. Не достучаться до нее, не докричаться, вплавь не доплыть и чайкой не долететь. Чудным сном спит она в каменном чуде-склепе. Мерно качаются цепи на столбах.

Алла отвернулась от моря и оглядела раскинувшееся перед ней пространство. Замыкающую его могучую гору с отвесным склоном, зеленую траву, кустарник, деревья, белые камни с процарапанными на них непонятными надписями, людей, подставляющих загорелые тела уже убывающим солнечным лучам.

— Пошли, — и она взяла Гришуню за руку. Когда они поравнялись с домом Лючии, к воротам подбежала Лесси и несколько раз пролаяла в их честь бессильным старческим лаем. Лючия, конечно же, еще спала, и Алла подумала, что когда-нибудь она обязательно опишет и Лючию, и историю ее замужества, и весь этот долгий жаркий июльский день... Это непременно, непременно будет в той ее новой жизни, которая когда-нибудь да начнется.

Идиомы

Я тебя просила подготовить идиомы русского языка. Ты справился с заданием? — Надя говорила четко и медленно, чтобы итальянский юноша Франческо понял ее без затруднений. Вообще он хорошо понимал, даже когда она говорила быстро, так как много лет изучал русский язык в университете. Все же ее удивляло, как быстро он все схватывает — она бы предпочла иметь менее сметливого ученика. Дело в том, что в лингвистической школе в Италии она преподавала первый год, — в России много лет назад училась на нефтехимика — и очень боялась поначалу, что преподавание у нее не получится. Но, кажется, — получалось. Во всяком случае, Франческо, платящий за обучение большие деньги из кармана отца, регулярно посещал уроки и не жаловался на нее синьору Този, владельцу школы. Сейчас он сидел напротив нее за столом в расстегнутом модном черном полупальто, очень ему идущем, и говорил почти без акцента, глядя не на нее, а куда-то в пространство:

— Мне тридцать лет, надо определяться в жизни, отец торопит. А что я могу? Спрягать русские глаголы? Склонять существительные? Ты говоришь, идиомы? Скажем, жизненное призвание — это идиома? Он снял пальто, повесил его на спинку стула и остался в сером вязаном свитере, тесно облегающем его плотную фигуру. — Мама вязала? — спросила про свитер Надя. Он кивнул и продолжил. «Да, мама. Хотя могла быть уже жена. Все-таки тридцать лет не двадцать. Домашний очаг, семейный уют — это идиомы или нет?» Надя неопределенно хмыкнула. Сказать по правде, она всегда сомневалась в своих теоретических

познаниях, вот и сейчас не знала точно, что такое идиомы. В свою тетрадочку вчера вечером она переписала абзац из учебника Маковецкой. Быстро заглянув в тетрадь, она сказала наставительно: «Идиомы — это устойчивые словосочетания, например: «терпеть убытки», «стоять на смерть», «быть себе на уме». Франческо взглянул на нее, ей показалось, насмешливо, но тона не изменил и продолжил: «Да, терпеть убытки. Мой отец в последнее время терпит убытки и сильно нервничает. Дома его ничего не устраивает — мать разучилась готовить пасту, у нее плохо вымыта посуда, она никогда не была хорошей хозяйкой и он женился на ней из-за внешней привлекательности, от которой теперь не осталось и следа. Все это он регулярно выплескивает за обедом. Мать плачет и грозит уехать к сестре. Но тогда отец перекинется на меня. Он уже сказал мне вчера, что у него нет лишних денег, чтобы кормить и обучать бездельников. Ведь я учусь уже десять лет».

Франческо вздохнул, достал из рукава пальто теплый шарф и обмотал им шею, покосившись на полуоткрытое окно, за которым начинался дождь. Наде всегда не хватало воздуха, и она обрадовалась, что он не стал закрывать окно. Франческо вечно мерз, бесконечно жаловался на болезни и недомогания, чем и объяснялось его пребывание в платной лингвистической школе, гораздо более дорогой, чем университет. Несколько секунд, пока в классе стояла тишина, Надя думала, как ей в сущности повезло с учеником. Урок катится сам собой, она почти в нем не участвует, может немного расслабиться и даже подумать о своих проблемах. Ее муж — итальянец, недавно вышел на пенсию и сразу стал брюзгливым и прижимистым. Возможно, здесь сказывался возраст. Когда-то, когда они оба работали на нефтяных разработках в Тунисе и Адольфо был кареглазым крепышом, остроумным и чуть развязным балагуром, возрастная разница между ними почти не ощущалась. Сейчас ему за шестьдесят, ей на двадцать лет меньше, и его иногда принимают за ее папашу. Где-то на Сицилии живет его первая семья, отношения с которой — ужасно запутанные — он скрывает от Нади. Она подозревает, что здесь замешаны деньги, один раз она слышала, как он надрывно кричал в

трубку, что у него нет денег — ни на учебу младшей, Паолины, ни на приданое для старшей — Сильваны, что все, что у него было, он уже давно им отдал, и теперь, кроме нищенской пенсии, у него нет ничего. Увидев входящую в комнату Надю, он замахал на нее руками, и она поспешно вышла, затаив в душе ожесточение против «этих хищных сицилиек». О своей нищенской пенсии Адольфо теперь говорил постоянно, как-то после одного крупного штрафа за превышение скорости (она не заметила предупреждения) он отказался оплачивать ее счета. Короче говоря, Надина семейная жизнь в последнее время дала трещину. Произнеся про себя эти два слова, Надя подумала, что они похожи на «устойчивое словосочетание», и, обрадовавшись возможности показать себя учительницей и сдвинуть урок с мертвой точки, с нажимом произнесла: «Дать трещину» — вот еще одна хорошая русская идиома.» Франческо опять на нее странно покосился, он расхаживал по классу, потирая то лоб, то руки, было впечатление, что он проверяет, есть ли у него жар. Плотный синий шарф в два слоя стягивал его шею. Закинув концы шарфа за спину и никак не откликнувшись на Надино замечание, он опять начал свой монолог: «Если так будет продолжаться, мне придется уйти из дому. Один приятель обещает мне найти переводы с английского. Конечно, я бы предпочел с русского, но за эти переводы почти не платят, на них не проживешь. Приятель сказал, что я должен добиться от отца материальной поддержки, пусть платит за квартиру и дает деньги на расходы. Тут надо,— он на минуту задумался,— как это? стоять насмерть. Я правильно вспомнил вашу идиому?» Надя, занятая своими мыслями, не сразу его поняла, а поняв, в который раз подивилась цепкости его памяти. Ей тоже приходилось стоять насмерть, отстаивая независимость. Она хотела иметь свою, не связанную с Адольфо личную жизнь, чему он всеми силами противился. У Нади были свои, не знакомые с Адольфо друзья, — женщины и мужчины, с которыми она время от времени встречалась — в спортивном зале, в бассейне, на прогулке, в магазине и в баре. Некоторые из них звонили ей домой, и Адольфо после нескольких мужских звонков начал устраивать ей скандалы. Если

дальше так будет продолжаться, может быть, она начнет ему изменять. Мысль об измене уже появлялась у нее в голове, но в последнее время стала все навязчивее. После раздраженных и несправедливых криков мужа Надя, как правило, успокаивала себя одной фразой: «Ты у меня еще увидишь». Она не знала, была ли эта фраза идиомой, и не сказала ее вслух, тем более что монолог Франческо не иссякал.

Он снова сел и в упор посмотрел на Надю. Казалось, он ждал ее реакции на что-то, чего она по рассеянности не расслышала. О чем он только что говорил? Она вздрогнула, постаралась сосредоточиться и вдруг, холодея, услышала слова, которые только сейчас дошли до ее сознания. — Что ты сказал?— спросила она, уже почти понимая жуткий смысл сказанного. Франческо был у нее единственным учеником, уход его из школы грозил ей потерей заработка. — Я сказал, что у нас сегодня последний урок. Я начинаю новую жизнь. Он встал и подошел к застывшей учительнице. Взгляд его блуждал, хотя голос казался бодрым.— Какие идиомы русские употребляют в подобных случаях? У Нади было сложное отношение к ученику. Она и сочувствовала Франческо — бедняге не повезло с депотичным отцом — и слегка презирала его за слабость, вечные болезни и никчемные, как она полагала, занятия русским языком. Но, с другой стороны, эти никчемные занятия были связаны с ее заработком. Сейчас Надю переполнял гнев. Как можно вот так, без предупреждения, лишить ее работы? Что будет, если Адольфо наотрез откажется платить по ее счетам? Почему этот избалованный итальянец, ее ученик, думает только о себе? Почему он так нахально с ней разговаривает? Голос Нади дрожал, когда она отвечала на вопрос об идиомах: «Русские в этих случаях говорят по-разному. Например, «валяй на все четыре стороны!» Или «скатертью дорога!» Надя поражалась своей смелости и своей неожиданной находчивости. Обычно она не сразу находила нужные примеры, а тут идиомы сами слетали с языка. — Есть еще одна идиома, я думаю, тебе следует ее выучить,— закончила Надя с победной улыбкой: «Катись колбаской!» — Как, как? Катись колбаской?

Это что-то очень забавное, — проговорил Франческо и, неловко обогнув Надин стул, боком вышел из класса. До конца урока оставалось еще десять минут. Когда после звонка синьор Този заглянул «к русской», она неподвижно сидела над раскрытой тетрадью. Буквы на тетрадной странице расплылись, и синьор Този аккуратно прикрыл окно, за которым моросило.

Зима 2001

Печальный демон

Этому мальчику идет Лермонтов. Ему идет и Леопарди, так как мальчик — итальянец. Но Леопарди нравится многим итальянцам, слишком многим. Паоло не хочет быть в их числе. Ему нравится Лермонтов. И вот он сидит у себя в комнате, перед ним томик стихов — на левой стороне по-русски, на правой — по-итальянски. Паоло читает сначала по-русски. Читая, он испытывает наслаждение не только от стихов, которые понимает с трудом, он наслаждается своим владением чужим языком. «Печальный демон — дух изгнания», — в который раз читает он, и ему не хочется смотреть направо, в итальянский перевод. Само звучание слов его завораживает. Как красиво это сказано — «печальный демон». Сказано с любовью к демону. Получается, что демона можно и пожалеть. Если подумать, в нем, Паоло, есть что-то от печального демона. Он гордый, независимый, чувствует себя людей. Это у него наследственное — от отца. Отец был совершенно клинический тип. Странно, что мать с ним не развелась. Это неизбежно бы случилось, если бы отец ни пропал без вести — не вернулся домой из очередного путешествия. Отец за свою жизнь не сумел опубликовать ни одной строчки. Бросил филологический факультет университета, занялся коммерцией. Коммерция не давалась — он злился, кричал на жену, топал ногами. Запирался у себя в комнате и что-то там писал. Непризнанный гений? Нет, гением он не был. Паоло недавно снова вытащил толстую тетрадь, куда отец записывал свои странные рассказы, без начала и конца, начинающиеся как бы с середины. Это больше было похоже на бред или сновидение, чем на нормальный рассказ. Среди неоконченных отрывков нашел сцену в горах Кавказа, куда Власть и Сила привели Прометея,

чтобы приковать к скале по велению Зевса. Отец склонен был к высоким сюжетам. Паоло совсем его не помнил. Судя по фотографиям, он походил на отца даже внешне.

— Паоло — это мать его окликает. Он так зачитался, что и не слышал, когда она вернулась. Зовет его ужинать. Ужин вдвоем с матерью — их ежевечерний ритуал. Вот и Энки занял свое обычное место под столом. Будет как всегда ждать вкусной подачи. Ужасно не воспитанная собака, они с матерью его избаловали. Джованна пришла возбужденная. На уроках ничего особенного не было. Но в перерыве эта русская опять завела разговор о Паоло. Какой смысл бесконечно трепать языком? Она и сама знает, что Паоло способный, что его место в университете. Но не может же она гнать его туда силой. Самое главное сейчас, чтобы он не сорвался, чтобы не махнул на себя рукой, чтобы в конце концов не наложил на себя руки, как отец. Он, Паоло, не знает про отца. Он был тогда совсем маленький трехлетний карапуз. Странно, в то время он был круглолицый, толстощекий, очень похожий на нее. Сейчас же худой и бледный — точная копия отца. Про отца она ему сказала, что тот отправился в путешествие и не вернулся. Ничего другого просто не пришло в голову. Маленькому Паоло очень понравилась версия путешествия, и он неоднократно возвращался к этой истории. Она, как правило, быстро обрывала рассказ — мол, извини: подробности не известны, а тема мне малопривычна. В последние годы Паоло об отце не спрашивал. Русская ничего этого не знает, талдычит свое: «Не понимаю, как вы терпите, что ваш ребенок, такой способный к языкам и вообще...». У русской все итальянские фразы немножко дикие. Муж-итальянец и двадцать лет в стране не избавили ее от привычки говорить сбивчиво. «Такой вообще способный, а работает в табакерии, словно без образования. Вы же мать, заставьте его вернуться в университет и написать, наконец, эти проклятые тезисы или что там еще по истории философии или чему-то в этом роде!» Русская никак не может уразуметь, что дело не в Джованне, а в Паоло. Как можно заставить взрослого человека что-то сделать против его воли! Это еще счастье, что Франческо взял Паоло в табакерию! Сколько сейчас безработной

молодежи! Целыми днями прохлаждаются в кафе, пьют, веселятся с девчонками на деньги родителей. А сколько наркоманов! Паоло, слава Мадонне, работает. И Франческо нормально к нему относится, не обижает, не издевается, не доводит придирами. Это счастье. А русская ничего этого не понимает и лезет с советами. Вот испортила ей, Джованне, настроение. Обычно после урока настроение у нее хорошее, приподнятое — она любит свою работу, и группы попались хорошие, ровные. В одной из групп занимается дочь русской — Нина. Хорошая девочка, миленькая. Но к английскому способности средние. Она, Джованна, ожидала большего. Все же девочка уже знает два языка — язык матери и язык отца. Да еще Паоло говорил, что русская на самом деле вовсе и не русская, а из какой-то кавказской республики, так что они с дочерью знают еще один язык — кавказский. При таком обилии изученных языков можно было бы предположить, что и английский пойдет у Нины легко, без напряжения. Ан нет, заело. Может, причина в том, что девочке уже за двадцать. В этом возрасте язык не усваивается естественно, почти автоматически. Уже идет в ход грамматика: выучить десять неправильных глаголов, какого предлога требует слово «depend»? Да, девочка миленькая, но способности к английскому близки к нулю. Может, ей мешает природная робость, чуть что — сразу заливается краской. Джованне кажется, что Нина боится ее, что теряется в ее присутствии. Уж не Паоло ли этому виной? Джованна не делится своими наблюдениями с русской. Тем более, что Паоло занимается в ее группе и, по ее словам, делает поразительные успехи.

Мать и сын ужинают в молчании, каждый думает о своем. Под столом поскуливает Энки — напоминает о себе, требует подачки. Хозяева сегодня какие-то невнимательные. Только в конце ужина Энки перепало несколько «вонгол» из тарелки Паоло. Быстро проглотив облитых томатом вонгол с застрявшими в них макаронами, жуковато-черный, взлохмаченный Энки побежал к двери. Вечером с собакой обычно гулял Паоло.

На улице было темно и ветрено. Паоло поеживался в легкой куртке, Энки бежал впереди — лохматый и легкий,

как нечистый дух. Два года назад Паоло увидел в сквере возле дома черный небольшой комочек. Комочек шевелился и скулил. Прохожие проходили мимо — кому охота взваливать на себя заботу о приبلудной беспородной и такой неприглядной собаке? Паоло взял нечесаного и грязного щенка на руки и принес домой. Это было как раз то время, когда Паоло, бросив университет, бесконечно бродил по городу. Джованна обрадовалась щенку, хоть что-то отвлечет сына от черных мыслей, привяжет к дому. Имя для собаки Паоло нашел в шумеро-аккадской мифологии. Случайно наткнулся на книжку с шумерскими мифами в городской библиотеке. Одно из божеств у древних шумеров звалось Энки. Показалось забавным назвать таким странно звучащим экзотическим именем простую дворняжку. Со временем Паоло стало казаться, что имя приросло к щенку, что в него действительно вселилось древнее восточное божество. В черных хитроватых, с безуминкой, глазах собаки, в ее неровной, торчащей в разные стороны шерсти было что-то роднящее ее с таинственным восточным злым духом. Собака завернула за угол, Паоло посвистел. Умный Энки и без того понял, что следует остановиться. Они стояли напротив темного длинного дома. Окно третьего этажа с розовой занавеской светилось. Паоло посвистел еще раз. Через минуты две из дома вышла тоненькая, но сильно накутанная девушка. Если бы не ее чрезвычайная худоба, количество одежды могло бы сделать из нее клушу. Но нет, даже в двух кофтах и куртке на меху Нина не казалась толстушкой. Паоло с Ниной пошли рядом, Энки бежал впереди.

Пятничный вечер переходил в ночь. Улицы были слабо освещены, в небе равномерно загорался огонь маяка, расположенного возле Еврейского кладбища, высоко над морем. Когда Паоло заговорил, ему показалось, что изо рта у него идет пар — воздух был резкий и обжигающе влажный.

— Что ты сегодня делала?

— Поехала в университет на лекцию по коммерции, но не выдержала и сбежала. Она вздохнула, — боюсь, коммерсанта из меня не выйдет, зря папа настаивает. Мне кажется, я ни к чему не способна. Вот мама преподает себе

русский язык итальянцам, очень довольна, а я, я толком и русский-то не знаю... Гораздо свободнее говорю по-итальянски, как сейчас с тобой. Собака впереди остановилась в нерешительности. Перед нею была развилка, она ждала решения хозяина.

— Нина, пойдем на Еврейское кладбище?

— Ни за что на свете! Я боюсь — уже темно.

— Тогда просто постоим над морем. Энки, вперед!

Они пошли по направлению к маяку. Дорога шла в гору. Паоло взял Нину за руку, помогая подниматься. Рука ее была теплой и влажной.

— Паоло, ты знаешь, почему тебя так называли?

— В Италии сто тысяч Паоло.

— Я знаю, но подумала, что здесь неподалеку Римини и, может, твоя мама назвала тебя в честь того Паоло... который был влюблен во Франческу. Она почувствовала, что краснеет и была рада, что кругом темно.

— Может быть. Я тоже хотел тебя спросить про твое имя.

— Я точно не знаю. Мама говорила, что так звали одну грузинскую княжну, жену какого-то русского. Она рано осталась вдовой, но сохранила ему верность, хотя была красавица и ей делали предложения.

— Это похоже на историю Тамары. Ты читала «Демона»?

— Нет. Ты забываешь, я родилась в Италии, мои первые книжки были на итальянском. Я прочла не так много русских книг. Если можешь, расскажи мне про «Демона». Нина выпалила все это единым духом. Ей было неловко, что она такая темная, не знает Лермонтова. Она немного побаивалась Паоло и втайне восхищалась им. Паоло был на середине рассказа, когда они подошли к маяку. Далеко внизу плескалось море. Лучи маяка временами вырывали лицо Паоло из темноты. Оно было таким бледным, таким страдающим. У Нины сжалось сердце.

— Ты так хорошо рассказываешь. Почему ты бросил университет, не стал защищать диплом?

— Знаешь, какую тему они мне подсунили? Средневековую английскую схоластику. Я бы предпочел Восток

или Россию... Меня притягивает Россия... Кавказ... У меня это в генах. И срывающимся голосом он заговорил про отца. Это было неожиданно для него самого. Еще минуту назад он и думать не думал рассказывать Нине о своем сокровенном, тайном. Он с удивлением вслушивался в свой голос — что это с ним? Зачем он рассказывает этой девочке то, что никому никогда не говорил? Внезапно его словно обожгло — он остановился. Прямо перед ним — нежное сочувствующее Нинино лицо. Далеко внизу, за Еврейским кладбищем, — темное безликое море. Паоло пошатнулся, отпрянул от края. Чуткий Энки вовремя оказался рядом, потянул его за штанину — пора домой. Они начали спускаться вниз, к развилке. Паоло уже не держал Нину за руку — отчужденно шел рядом. Девушке оставалось только гадать, за что он на нее сердится. Весь оставшийся путь они молчали.

Дома Паоло быстро разделся и лег. Мать еще сидела у телевизора — завтра суббота и она могла не торопиться. Паоло лежал, прислушивался к звукам из гостиной и старался поймать мысль, поразившую его возле маяка. Ах, да, ему тогда отчетливо представилась нонна Лючия, старая, уже умершая их соседка. Он вспомнил, как она на вопрос, где мама, ответила ему не задумываясь: «На похоронах». На каких похоронах была мать? Тогда, трехлетним мальцом, он не стал этого выяснять. Мало того, эта сцена полностью ушла из его памяти и сознания. Почему она выплыла теперь? Паоло понял, что не заснет, если сейчас же не встанет и не задаст матери страшный вопрос. И вот он поднимается, приоткрывает дверь в гостиную: «Мама, ты не в курсе — отец был на Кавказе? В его записках я нашел сюжет прикованного Прометея...». Джованна в замешательстве, чего вдруг Паоло возобновил свои детские расспросы? С усилием она произносит: «Возможно, был. Он любил путешествия». Оба страшно напряжены и ждут чего-то ужасного. «Он... он так никогда и не вернулся?» — продолжает Паоло. «Так и не вернулся», — отвечает мать. «И ты не видела его мертвым?» Паоло смотрит на мать не отрываясь. «Нет, не видела», — Джованна выдерживает его взгляд. Паоло поворачивается и идет к себе в комнату.

Печальный демон

Засыпает он мгновенно, и в предрассветном смутном сне ему видится печальный демон, пролетающий над горами Кавказа. Лицо демона поразительно напоминает его собственное, но он старше, гораздо старше.

Далеко внизу, в долине, по ступенькам, ведущим к реке, спускается Нина, а на снежной горной тропе чернеет шерстью и поблескивает хитрым глазом Энки.

Декабрь 2000

Мечта о крыжовнике

*Тот, кто ходит в правде и говорит
истину...тот будет обитать на высотах.
(Исайя 33, 15 16)*

1. Откуда она взялась

Моя мечта — о крыжовнике. Да, я, Алессандро Милиотти, 68-и лет отроду, отец двоих детей и заведующий терапевтическим отделением больницы в городе А., мечтаю о крыжовнике. Это моя любимая мечта. Я понимаю, что для многих такая мечта как клеймо на человеке. Люди мечтают о поездке на Гавайи, в Танзанию, на Мальдивы или хотя бы в Петербург. У кого-то мечта стать великим ученым, композитором, певцом. Другие мечтают прославиться, замелькать на телеэкранах, чтобы о них писали в газетах. А я... о крыжовнике. Но надо объяснить. Я люблю путешествовать и побывал уже во многих местах. На Гавайях, правда, не был, но в Петербурге довелось. Красивый город, волшебный, почти как наша Венеция. Великим ученым или там писателем я уже не стану, поздновато; говорят, из меня получился неплохой врач, спасибо судьбе и за это. А про славу зачем думать? Она или есть или ее нет... в моем городе меня знают; смею думать, многие хотят лечиться только у меня, каждый день с утра и до вечера от звонков, конфетных коробок и благодарственных телеграмм нет спасенья. И что мне от этого? Только суета, нескончаемая работа без выходных и праздников, недовольство жены,

невозможность побыть с внуками... Вот и сейчас пишу, когда на часах четыре часа утра. В семь поднимется жена и станет варить мне кофе, четверть восьмого я выйду из дому и по свежему, обдуваемому морским ветерком городу пойду в свою больницу... Но я отвлекся. Надо сказать, моя мечта возникла далеко не сразу. Вначале я прочитал у Чехова, моего любимого русского писателя, рассказ «Крыжовник». Прочитал и задумался. Почему Чехову так не нравится человек, который любит свой крыжовник? И что это за ягода такая — крыжовник? У нас в Италии она не произрастает. Татьяна, знакомая русская, с которой мы часто ведем литературные разговоры, объяснила мне, что для Чехова (как потом и для всех русских) крыжовник стал символом пошлости и мещанства. Дескать, человек уперся носом в свой клочок земли и больше ни о чем знать не хочет. Она не очень меня убедила. Я ведь родом из Севильяно, сын крестьянина в н-м поколении. Все они, крестьяне, возделывают свой клочок земли, всем он дорог — где здесь мещанство или пошлость? И вообще что обозначают эти русские слова — пошлость, мещанство? Татьяна сказала мне довольно зло (мне кажется, она злилась на соотечественников), что они, эти слова, обозначают сытость. Что ж, можно понять, что голодный, у которого ничего нет, ни земли, ни крыжовника, ненавидит того, кто сыт и кто всем этим владеет. Но Чехов, Чехов-то тут при чем? И насколько я знаю, у самого Чехова тоже был сад, он вообще был садоводом, я читал про его «сад непрерывного цветения» в Ялте.

Так заронилась во мне эта мысль, пока только мысль, — о крыжовнике. И вот два года назад, летом, мы с женой поехали в Россию. Татьяна была нашим гидом. Когда-то много лет назад Татьяна жила в Петербурге, она работала там экскурсоводом и на одной из экскурсий познакомилась с милейшим Сандро. И вот теперь они наши соседи по дому в А. Про поездку в Россию писать сейчас не буду — отдельная тема. Скажу только, что Петербург и Москва показались мне сказочно прекрасными городами, но их жители выглядели людьми не вполне здоровыми, даже больными. Мне было их жаль и так хотелось облегчить их страдания, обозначенные на хмурых, не улыбчивых лицах.

Правда, эти больные неулыбчивые люди отличались редкой добротой и благожелательностью к нам, иностранцам. И были очень честны. Клаудия выронила из сумочки пятидолларовую бумажку, и какая-то сгорбленная до земли старушка ее подняла, догнала нас и протянула. Мы были потрясены. Мне кажется, в Италии такое невозможно. Но продолжу свой рассказ. Татьяна повезла нас к себе «на дачу», деревянный дом в деревне, где жила сухонькая юркая синьора — ее мать. А та повела нас в сад и быстро набрала с круглых, мощно-ветвистых кустов кружку каких-то незнакомых ягод.

— Что это?

— Крыжовник (так правильно по-русски звучит это слово), и она угостила нас с Клаудией крыжовником. Мне «крыжовник» необыкновенно понравился. Крупные, продолговатые, зеленовато-красные ягоды, покрытые легким ворсом. Ягода напоминала одновременно и виноградину, и персик. А по вкусу... я ничего не могу придумать, чтобы обозначить этот вкус. Повторю только, что он был отменный.

И вот тогда моя мечта стала обретать очертания. Я в тот миг подумал, что когда моя работа подойдет к концу и мы с Клаудией поселимся в Севильяно, я обязательно, обязательно посажу там крыжовник. С тех пор я мечтаю о крыжовнике.

2. Мой младший брат Франческо

Мой брат беспрестанно твердит мне, что я счастливец. Стоит мне набрать его номер, как он тут же выдает мне этого «счастливца». Привет, — говорит, — счастливец. Сколько у тебя нового счастья народилось за день? У меня застревает в горле ворчливый или ехидный ответ — я всегда помню, что мой брат несчастен. Самое его большое несчастье — сын. Даниеле, единственный ребенок моего младшего брата, пять лет назад попал в аварию. Возвращался с дискотеки, был не вполне трезв. Его машину занесло на повороте, и он врезался в каменный бордюр.

У мальчика — ему было тогда двадцать лет — оказался сломанным позвоночник. Его оперировали, но сделать ничего было нельзя — Даниеле остался инвалидом. Когда я приезжаю в Севильяно, в родительский дом, где теперь живет Франческо, и слышу за спиной скрип приближающейся инвалидной коляски, мне хочется вскрикнуть. Но я делаю усилие и поворачиваюсь к Даниеле с улыбкой. Мальчика не узнать. За эти годы он сильно поправился, его щеки лоснятся от жира, у него толстый живот и большие бессильные ноги. Он отрастил бороду, на лице его выражение апатии и скуки.

Он словно нехотя мне кивает и обращается к матери: «Ты обещала приготовить к обеду фокаччу, где она?»

Кристина всплескивает руками и кричит так громко, что кажется, сейчас у всех должны лопнуть барабанные перепонки: «О мадонна, ребенок хочет фокаччу, а у меня как назло кончилось оливковое масло. Твой отец сказал, что ничего страшного, что можно съесть на обед пиццу из ресторана, к тому же приехал твой дядя Алессандро, мне было не до приготовления обеда, его комната наверху в таком запустении, а ты ведь знаешь — у нас нет служанки, чтобы сделать эту работу вместо меня. Твой отец не так богат, чтобы держать служанку, он экономит на своей жене...» и все в таком роде. Кристина — второе несчастье моего брата. Он женился на этой женщине после рождения Даниеле. До нее у него было бесчисленное множество подруг, выбор был богатый, и угораздило же именно ее родить ему ребенка. Плохо не то, что она из простой семьи и не имеет образования — у нее совсем нет здравого смысла, как, впрочем, и у моего брата. Оба они люди легкомысленные и беспечные. Может быть, если бы брату досталась такая жена, как Клаудия, из него что-нибудь бы получилось. А теперь...

Кое в чем, наверное, виноват я. С юности Франческо привык, что я о нем забочусь и ему помогаю. Его всегда привлекала уличная жизнь — кафе, рестораны, веселые компании таких же беспечных, как он, лентяев. Они колесили по всей Италии с гитарами и в широких соломенных ковбойских шляпах. Народ собирался поглазеть на

диковинных артистов, а те завывали и вертелись в подражание англичанам и американцам. Однажды эта группа поехала на Сицилию. Но тамошний народ не привык к диким завываниям на чужом языке. Во избежание провала, Франческо и его ребята выучили несколько сицилийских песен, одну из них, возвратившись из вьяджо, он напел мне. Песня про засохший куст жасмина, простая, но берущая за душу.

Много ли заработаешь шарлатанством? Франческо бросил школу и скитался неизвестно где, а потом пожаловал ко мне в А. и попросил денег. Я тогда второй год учился на медицинском факультете, деньги на учебу давал отец, на жизнь я зарабатывал сам — давал уроки поступающим и отстающим. Франческо сказал, что задолжал приятелю крупную сумму и, если не отдаст, его могут убить.

Я взглянул на него и почти поверил, что это правда, — вид у него, восемнадцатилетнего оболтуса, был как у американского мормона — белая отутюженная рубашка, черный пиджак и широкие черные же брюки. Немного жарковато для сентября, не правда ли? — Франческо, отец говорит, что дает тебе деньги. — Да, но я их трачу, а сейчас мне нужна сразу большая сумма, я отдам тебе, как только заработаю, — и он утер нос рукавом своего черного пиджака. Что было делать? Я отдал ему всю сумму — несколько миллионов лир, присланную мне отцом в уплату за университет. Конечно же, ничего он мне не отдал.

Тот год я запомнил как каторжный. Я подрядился работать фельдшером на скорой помощи, ночами работал, днем же посещал лекции; ночь и день слились в один нескончаемый морок. Наверное, раб на галерах, находится в таком же состоянии. Но сколько бы я ни работал, денег на оплату семестра у меня не было, а срок ежегодного взноса неумолимо приближался. Однажды на улице меня окликнула милая девушка, с которой я вместе сдавал вступительные экзамены. После экзаменов все большой компанией пошли в пиццерию, и эта девушка, Клаудия, сидела рядом со мной, и мы с ней, расхрабрившись, громко, на весь зал запели одну старую сицилийскую песню, которую каким-то чудом знали мы оба. По той ли причине, что эта песня

про куст жасмина никому не была известна, или попросту студенты не жаловали народных песен, никто нам не подпел, и мы допели ее в полном одиночестве, после чего были удостоены смешками, криками и жидкими хлопками. Сейчас эта девушка смотрела на меня с жалостью, наверное, вид у меня был совсем не такой, как тогда. — Тебе плохо?— без обиняков спросила она. — Ты нуждаешься в помощи?

Я посмотрел на нее и увидел все то же милое лицо, добрые, полные сострадания глаза.

— Ты мне помочь не можешь, я должен справиться сам. — Деньги? — спросила она быстро. — Я могу тебе одолжить. Я выиграла в лотерею.

Не знаю, почему я ей сразу поверил. Потом оказалось, что про лотерею она выдумала, но эта спасительная ложь помогла мне взять у нее некоторую сумму, заплатить за университет и не погибнуть от сверхнапряжения.

Да, а Франческо, как я думаю, те мои присланные отцом деньги прокутил.

3. *Мой старший сын Лоренцо*

Не понимаю, почему бы Даниеле не начать чему-нибудь учиться. Я слышал, что в Америке люди в инвалидных колясках преподают в университетах, участвуют в соревнованиях, зарабатывают деньги работой в цирковых представлениях. Но мой брат и невестка и слышать не хотят ни о чем подобном. У Даниеле сформировались инстинкты нахлебника, капризного и истеричного ребенка. Но и мой брат до сих пор живет благодаря нашей помощи: мы с Клаудией ежемесячно посылаем ему приличную сумму. Вино, которое теперь делает Франческо (а он унаследовал отцовский виноградник и все хозяйство), не может его прокормить. Не знаю, что тому причиной, — конкуренты ли виноделы или непутевый нрав моего брата, не умеющего как следует взяться за предприятие... У меня не поворачивается язык сказать о своих сомнениях Франческо. Знаю, что следом за моей критикой услышу от него:

«Ты просто не можешь понять чужое несчастье. У тебя-то вечное счастье. Крестьянин зависит от погоды, работников и техники. Винават ли я, что эти трое всегда против меня и ведут диверсионную войну с моим виноградником? Погода — сплошной дождь и сибирский холод, сезонные работники — пьяницы и лентяи, а техника вечно ломается». Техники, между нами, у него и нет никакой, оно и лучше, ибо нам с Клаудией пришлось бы покрывать и эти расходы. Да, именно так, про погоду, работников и технику Франческо мне и скажет, и еще прибавит, что мне лучше помалкивать, так как у моего Лоренцо тоже не ладится ни учеба, ни работа. И тут мне крыть будет нечем. Действительно, не ладится.

Мой старший сын Лоренцо учиться в университете не захотел. Это наша с Клаудией постоянная боль. Как могло случиться, что наш первенец, наш умненький и такой непохожий ни на кого Лоренцо даже не попытался получить высшее образование, предпочел работу менеджера в магазине, — оба мы понять не в состоянии. Наши с Клаудией отцы-крестьяне лелеяли мечту об образовании для своих детей. И вот я — врач, Клаудия — педагог (после первого курса, споткнувшись об анатомию, она бросила медицинский и занялась латинским языком и историей), а наши дети, Лоренцо и Сильвия, увы, образования не имеют. Сильвия работает телефонисткой, Лоренцо...

Если бы Лоренцо только работал в магазине, было бы еще полбеды, но он захотел стать актером и пошел учиться на курсы при здешнем Театре Муз. Вот это привело нас с Клаудией в ужас. У Лоренцо, к сожалению, совсем нет актерских способностей. Год назад в нашем городе снимали фильм «Собака сына». Лоренцо надумал попробоваться на главную роль, естественно, не собаки, а ее хозяина. По всему городу тогда висели объявления, что требуется непрофессиональный актер, лет шестнадцати-семнадцати для этой роли. Известный режиссер, родом из А., решил снимать здесь свой новый фильм, и город в связи с этим сильно оживился. Вся эта суeta меня лично весьма забавляла (правда, я слышал и наблюдал только отголоски, когда поздним вечером шел пешком из больницы и видел на

площади Папы скопление народу, полицейское оцепление, оттуда слышался непрерывный собачий лай (возможно, лаяла настоящая героиня картины). Наш Лоренцо прямо с ума сошел.

Ему было уже за тридцать, но все же он решил попробовать, чтобы, как он выразился, «не пропустить свой шанс». В картину его взяли, правда, вовсе не на главную (человеческую) роль, как он надеялся. Ему поручили сыграть продавца из пиццерии в крохотном проходном эпизоде. Таком крохотном, что, по правде говоря, если бы Лоренцо меня не толкнул и не вскрикнул: смотри! смотри! в момент своего появления на экране, я бы, возможно, его пропустил.

Эпизод такой. Проголодавшиеся герой и его собака подходят к дверям пиццерии, собачка остается на улице, а хозяин входит и покупает кусок пиццы, которую потом делит на двоих со своим симпатичным псом. Пиццу выдает стоящий за стойкой наш Лоренцо, но в кадре почти нет его лица, только руки, выхватывающие специальной держалкой с противня кусок дымящейся маргериты. Лоренцо всем рассказывал, что обучался этому движению — быстро выхватывать кусок — целый месяц. Что ж, выхватывал он его действительно быстро, мог бы не так торопиться, тогда, возможно, мы смогли бы рассмотреть его получше. После этого «дебюта» Лоренцо совсем ополоумел. Он решил, что его судьба — стать актером, хотя ничто ни в его внешности, ни в характере, ни в складе личности не говорило об актерской жилке. Внешность у него не вполне обыкновенная, он слегка полноват, с кудрявыми, на мой взгляд, излишне длинными черными волосами и большими, по большей части полузакрытыми и какими-то сонными глазами. Мне кажется, что его глаза кажутся сонными не от недосыпа, а от постоянных мечтаний. Он, наш Лоренцо, сдается мне, все время находится в мире своих грез. Там на актерских курсах в нашем а-м Театре Муз он и повстречал свою Дульцинею. Девушка-марокканка, по имени Уда. Она работала там уборщицей и сторожихой. Мы кое-что узнали о ней от нее же самой. Лоренцо не хотел на ней жениться, и она пришла к нам с Клаудией, умоляя воздействовать на сына.

Тяжелая ситуация, скажу я вам. Ничего не имею против марокканок, но все же в подруги для семейной жизни опасно брать первую попавшуюся тебе на дороге женщину. Особенно у нас в Италии, где церковный брак заключается один раз, а расторжение нецерковного влечет за собой долгий и мучительный процесс развода с дележом детей и имущества, как правило, в пользу женщины.

История этой Уды вкратце такова. В Марокко семья ее голодала. В Италии у нее была старшая сестра, вышедшая замуж за бедолагу-итальянца, кормившегося в летнюю пору подсобными работами в садах и виноградниках. У того была старая машина, и вот на ней-то старшая сестра с бедолагой-мужем поехали выручать младшую. Они положили Уду в большую картонную коробку, по бокам которой вырезали отверстия для проникновения воздуха. Сверху девушку прикрыли разными цветными тканями и детскими игрушками. На итальянской границе машину остановили карабинеры, начался досмотр. Уда с трудом удерживалась от того чтобы не чихнуть, тело ее затекло от долгого лежания, ей хотелось справить хотя бы малую нужду. Карабинеры досматривали лениво, дело было до всех нынешних террористических актов. Правда, игрушки они все же разгребли и спросили, что в коробке. Сестра Уды, ни жива ни мертва, пролепетала, что там надувная лодка — коробка действительно была из-под надувной лодки. Карабинеры махнули рукой, и бедолага-муж завел свою развалюху и тронулся. Но через десять минут их опять встретил пост. Досмотр был такой же беглый, как и в первый раз, но бедная Уда во время этой второй остановки почти лишилась чувств. Когда они порядочно отъехали от границы и смогли остановиться, то Уда была чуть жива; за недолгое время пути она так сильно похудела, что из цветущей девушки, превратилась в сухую мумию, и на ее теле, как она рассказывала, выступил пот в палец толщиной. Всю эту историю я слышал в пересказе Клаудии. Дело в том, что связавшись с Лоренцо, Уда разузнала наш адрес и стала приходить к нам с жалобами на нашего сына. Главная жалоба была, естественно, та, что он не хочет на ней жениться. Каждый раз Клаудия ее утешала,

давала советы, наделяла продуктами и деньгами. Однажды Уда пришла заплаканная (дело было в мое отсутствие, меня застать дома довольно трудно) со страхом взглянула на Клаудию и пролепетала, что беременна. От кого? Естественно, от нашего сына. Тут же она разразилась рыданиями, сквозь которые прорывались ее сетования на злую судьбу, пославшую ей такого черствого парня. — Знает ли Лоренцо? — Конечно, знает, но говорит, что ребенок — это ее проблема, а не его; он не брал и не собирается брать на себя никаких обязательств. Когда Клавдия, пересказывая мне всю сцену, повторила эти слова Лоренцо, я с тоской подумал, что мой сын — самый обыкновенный дюжинный парень. Господь не дал ему чувствительного сердца и отзывчивой души. Разве может такой быть актером? Ведь актер в моем представлении — это тот, кто способен вместить в себя трагедию мира, все катастрофы человечества и отдельного человека, и слезы матери, и горечь старика, и страх ребенка. Актер как врач берет на себя все эти муки и страхи и освобождает зрителей-пациентов от их тяжелых, болезненных состояний. Так я понимаю смысл слова «катарсис», которое употреблял великий Аристотель, объясняя воздействие трагедии на человека.

Потом был долгий период нашего с Клаудией «воздействия» на Лоренцо. Уда нам обоим не очень нравилась, была она закрыта от нас вследствие своего происхождения и воспитания. Но мы понимали, что Лоренцо не должен оставлять ее одну с ребенком, значит, он обязан на ней жениться. Тяжело это было осознавать, но делать было нечего. И Лоренцо-таки женился. Уда приняла католическую веру (никто ее к этому не понуждал, брак мог бы осуществиться и останься она мусульманкой, но — захотела). Церковный обряд венчания был совершен в нашей приходской церкви Сакро Куоре нашим с Клаудией многолетним другом донном Агостино, пожелавшим молодым «взаимопонимания, терпения и чадолубия». Уда была в тот момент на седьмом месяце беременности. В свой срок появился на свет чернявый, черноглазый, похожий на маленького жучка Алессандро. Мальчонку назвали в мою честь. Так у нас с Клаудией появился еще один внук.

За четыре года до этого младшая Сильвия принесла нам Марианну.

4. *Моя младшая дочь Сильвия*

Сильвия — еще одна моя головная боль. Я не то имею в виду, что у нее нет образования и она работает телефонисткой на станции, я — про другое. Хотя ее работа телефонистки тоже приносит всем нам много огорчений. Сильвия говорит, что от такой работы можно помешаться. Она действительно порой производит впечатление не вполне сбалансированного человека. Бедный Микеле, не знаю, как он выдерживает ее вспышки, истерические рыдания, долгое молчание или нескончаемую болтливость.

С некоторых пор эти ее состояния участились и стали вызывать в нас тревогу. То, что с Сильвией неладно, первой, как всегда, заметила Клаудия. После работы она ездит к Сильвии, чтобы помочь с четырехлетней Марианной. Клаудия обычно отпускает Микеле, возившегося с девочкой, к его рабочему компьютеру и выходит с ребенком погулять, или кормит малышку фруктовым пюре, или рассказывает ей страшные сказки из эпохи Древнего Рима. Так они проводят время до прихода мамы, то есть Сильвии, с работы. Микеле с некоторых пор работает дома. Он сидит за компьютером и делает объявления и рекламу для различных компаний. Микеле всегда вызывал у меня добрые чувства, доходящие до щемящей жалости. Не везет парню, что тут поделаешь? Заслонил бы его от недоброй «фортуны», да как поймешь ее замысловатые ходы? Микеле — сирота, родом с Сицилии.

Про родителей его ничего не известно, разве что были они красивы и уравновешенны. Во всяком случае, Микеле унаследовал от них редкой соразмерности и чистоты лицо, светлые вьющиеся волосы, спокойный нрав. Почти до 30 лет прожил он в приюте для брошенных детей, вначале как воспитанник, затем — как воспитатель. Там, в Палермо, проявились его редкие музыкальные способности. Играл он и на мандолине, и на гитаре и даже на ветхой

виолончели, которую судьба чудом занесла в детский приют. Но больше всего ему нравилось упражняться на органе; когда в церкви при приюте никого не было, он становился безраздельным владельцем небольшого, но звучного органа немецкой выделки, самостоятельно освоил игру на этом сверхнепростом инструменте и стал аккомпанировать на нем детскому хору.

Пять лет назад этот хор из Палермо гостил в нашем городе. Его принимал наш а-й хор, созданный небезызвестным в нашем городе человеком Чезаре Гречи. Но должен отвлечься, чтобы сказать несколько слов о славном маэстро Чезаре.

Чезаре — человек талантливый и честолюбивый, при этом его способности разнообразны, так что он напоминает мне по совокупности своих свойств блестящего представителя Ринашементо эпохи Лоренцо Медичи. Преуспевающий инженер, отец многочисленного семейства, Чезаре умудрился создать при церкви Сан Пьетро очень неплохой хор, куда ходят самые разные любящие пение люди, в том числе моя жена Клаудия и наша дочь Сильвия. Я бы тоже посещал этот хор, будь у меня время. Чезаре, человек ищущий и склонный к авантюрам, всегда находит для хора что-то особенное, редко исполняемое. Музыкальные его способности замечательны, что однако не делает его поверхностным дилетантом: с хористами он занимается часами, так что два раза в неделю Клаудия возвращается домой глубокой ночью после долгой изнурительной репетиции, на которой Чезаре гоняет два женских и два мужских голоса хора вдоль и поперек какой-нибудь замысловатой партитуры.

Как раз пять лет назад Чезаре отыскал почти не исполняемую в силу своей трудности расписанную на десять голосов пасхальную мессу Доменико Скарлатти. Он сам распел и записал на магнитофон все десять партий этой сложнейшей вещи, и хор начал ее репетировать. В один из тогдашних дней я встретил Чезаре на въезде, возвращаясь из своей больницы. Он нес на руках младшую Мартину, девочку полутора лет, свою точную копию и любимицу. Меня удивило мрачное выражение его лица. Оказывается, Чезаре был расстроен из-за Скарлатти. В хоре было очень

мало басов, и это пагубно сказывалось на звучании *Stabat Mater* маэстро.

— Хоть посылай в Россию за басами, — горько шутил Чезаре. Известно, что русские славятся своими басами, в то время как в Италии их днем с огнем не сыщешь, итальянцы, по Божьему замыслу, — теноры.

Думаю, что мой блестящий собеседник был расстроен не только из-за хоровых дел. Оба — и он и его жена, Кьяра — до сих пор еще не могли оправиться после рождения у них пятого ребенка-девочки. Почему-то они были уверены, что уж пятый обязательно будет мальчик. Но пасьянс сей, как и распределение высоких и низких голосов, находится в руках небесных сил. Мальчик не получился, Чезаре со всей страстью принялся за воспитание Мартины. И все же было видно, что на сердце у него не ладно. Возможно, эти обстоятельства спровоцировали его раздражение против плохого звучания басов в пасхальной мессе Скарлатти.

Наверное, мы слишком многого ждем от своих детей, особенно мальчиков. А они, чувствуя это, порой словно томятся доказать свою заурядность и несостоятельность...

Возвращаясь к своему рассказу. Вместе с детским хором из Палермо приехал Микеле в качестве воспитателя и аккомпаниатора-органиста. Случилось, что Чезаре зашел в церковь перед концертом гостей, в то время когда Микеле репетировал на органе. Играя, тот безотчетно напевал, вторя мелодии, и Чезаре поразило, что напевает он басом. Трепеща, он приблизился к Микеле и попросил его спеть какой-то пассаж. Удивленный Микеле безошибочно повторил пассаж, обнаружив при этом не только блестящий слух, но и то, что обладает красивым и глубоким баритональным басом.

С этого момента началась история укоренения бесприютного сироты в нашем городе, а затем и в нашей семье. Микеле был привлечен Чезаре к участию в хоре. Надо сказать, что многоталантливый и вездесущий Гречи возглавлял также комиссию по присуждению премий на ежегодном общеитальянском конкурсе органистов, каждую весну проходящем в нашем городе. Чезаре привлек своего протеже к участию в этом конкурсе, и Микеле без особого

труда выиграл первый приз — три миллиона лир. Сумма эта, довольно пустяшная, казалась Микеле громадной, он, воспитанный в приюте, никогда не держал в руках больше 100 тысяч лир. Не знаю, на что он их потратил, но подозреваю, что на ребячью забаву — сласти. В сущности тридцатилетний Микеле был большим ребенком, ничего не смыслящим в окружающей жизни. На время Чезаре стал его поводырем, дал кров и работу — Микеле присматривал за пятью малышками, пока Кьяра вела судебное разбирательство или готовилась к очередному процессу.

Хор Чезаре Гречи, кроме того, что был лучшим в округе, отличался еще одним весьма привлекательным качеством. Он был местом знакомства и встреч для ан-х юношей и девушек, что, как правило, являлось прелюдией к браку. Сам Чезаре подал хористам пример, женившись на Кьяре Амичи, студентке юридического факультета, чей сильный, но сухой и немелодичный голос теперь раздается в ан-м суде. Выйдя замуж, Кьяра перестала посещать репетиции и, говорят, даже возненавидела хор как своего главного соперника в жизни Чезаре.

Моей дочери Сильвии к моменту появления в хоре Микеле было 28 лет, внешне она была точной моей копией, высокой, очень прямой, со смуглой кожей, черными глазами и резкими энергичными движениями.

Сильвия с детства росла очень самостоятельной, никогда не оглядывалась на окружающих и не считалась в своем поведении ни с чем. Смею думать, что иногда мое близкое присутствие сдерживало ее природные инстинкты, но, скорее всего, не слишком. Сильвия, не будучи красавицей, сменила уже десяток кавалеров, когда на горизонте появился Микеле.

Клаудия рассказывала, что, когда Сильвия увидела его в первый раз, у нее непроизвольно вырвалось: «О, Мадонна, бывают же такие красавчики!»

Микеле и в самом деле был красив, но не мужской, а какой-то детской или даже ангельской красотой, единственным его недостатком был низкий рост. Не знаю, сколько времени потребовалось Сильвии, чтобы сделать Микеле своим, думаю, немного. Был он, я полагаю, несмотря на

свой неюный возраст, совершенно неопытен в любовных делах. У Сильвии же, унаследовавшей некоторые черты нонны Марго, Клаудиной матери, — любовного темперамента хватало на двоих.

Как-то, когда я вернулся домой чуть раньше обычного, Клаудия после позднего ужина предложила мне погулять. Мы вышли на темную улицу и пошли по направлению к морю. Февральский вечер пронизывал холодом, дул резкий встречный ветер. Клаудии говорила, повернув ко мне лицо и заслоняясь рукой от ветра. Ее слова не все долетали до меня, но главное я услышал: Сильвия ждет ребенка. Она безумно любит Микеле, а тот ее просто обожает. Оба мечтают пожениться, они не могли сладить со своими чувствами. Я слушал и дивился: все же моя жена не похожа на прочих итальянок. Ни слова не сказала она о том, что Микеле не просто беден — нищ, что нет у него ни родителей, ни родственников, что не имеет он специальности и не приспособлен к жизни в большом мире.

Не сказала Клаудия и о злых языках, которые не проминут посудачить по поводу беременности Сильвии. Мне так и слышался громкий шепот одной моей пациентки, богемной старушки, дарящей мне по праздникам книги о святых и праведниках, что, видимо, намекало на мое с ними сходство: «И в кого у них такие дети? Оба еще до свадьбы обзавелись потомством! Бедный Алессандро Милиотти, он всегда мне казался немножко слишком праведным, и вот следствие — его дочь безнравственна до мозга костей, посмотрите на ее живот!»

Неужели у Сильвии не хватило ума понять, что в таком городе, как А., все на виду и что она ставит нас с Клаудией, преподавательницей лица, в очень щекотливое положение! А, может, потому она и поспешила, что была не уверена в нашем согласии на ее брак с Микеле? Кто из нормальных родителей захочет иметь такого зятя? Безродного, инфантильного, не умеющего зарабатывать деньги. Неужели нам с Клаудией сужден именно такой? А сама Сильвия? Не слишком ли она торопится? Я совсем не был уверен, что поговорка «с милым рай и в шалаше» создана для таких, как моя дочь.

Тем временем мы подошли к самому берегу. Темные торопливые волны бились о гранит и разбивались в пену. Далеко впереди на глянцево-черной поверхности моря блестящей точкой светился паром, направляющийся в Грецию. Хорошо бы очутиться сейчас на таком вот комфортабельном судне. Ни о чем не думать, сидеть в каюте с доброй подругой, попивать вино и мирно беседовать о кризисе культуры, о падении нравов, о предвиденьях Чехова... Я посмотрел на Клаудию. Что за нелепый вид был у нее. Обычно подтянутая, красиво причесанная, сейчас она напоминала встрепанную замерзшую птичку — обхватила себя руками, спасаясь от ветра, пряди полуседых волос торпорщились и закрывали лицо, из глаз текли слезы. Наверное, и я в эту минуту выглядел как жалкий нахохлившийся воробей. Сколько же лет прошло с тех пор, как Клаудия предложила мне деньги, якобы выигранные ею в лотерее? Она даже не подозревает, что, возможно, спасла мне тогда жизнь. Как изменило ее время, но в моих глазах она все та же — строгая, милая, доверчивая. Мне стало ее нестерпимо жаль, я обнял ее и прижал к сердцу: «Помнишь, как мы с тобой начинали?» Она смотрела непонимающе, и я запел припев той сицилийской песенки о цветах, которая была нам обоим одинаково дорога.

*Fiori, fiori, fiori di tutt l'anno,
L'amore che mi desti te lo rendo.
Fiori, fiori, fiori di primavera,
Se tu non m'ami morirò di pena.*

Клаудия подхватила чуть слышным шепотом. Порывы ветра мешали, ломали мелодию и уносили слова. Вдруг Клаудия остановилась и произнесла: «Я хочу, чтобы Сильвия была счастлива. Как ты думаешь, Алессандро, ведь счастье не в деньгах?»

— Конечно, нет. Мне стало ужасно смешно — я рассмеялся. Клаудия сначала не поняла, а потом подхватила мой смех. Мы смеялись, глядя друг на друга, в каком-то едином порыве. А потом, отсмеявшись, я сказал: «Микеле мне нравится. Возможно, Сильвия вытянула свой счастливый

билет». Клаудия сжала мою руку, и мы еще несколько минут молча стояли под злыми ударами ветра, глядя на маячащую в беспредельности моря яркую точку парома.

5. *Мой зять Микеле*

Но дело было сложнее. Сильвия и Микеле, прожив вместе 5 лет, так и не стали «настоящей парой». Не знаю, что тому причиной, подозреваю, что взбалмошный нрав Сильвии, ее неукротимые гены, возможно, унаследованные от нонны Марго, матери Клаудии, родившейся на Сицилии.

В последнее время то, что подспудно таилось внутри этой семьи, стало просачиваться наружу. Началось с того, что Клаудия обнаружила, что Сильвия «впала в депрессию». Несколько раз, возвратившись с работы, Сильвия начинала истерично кричать, что она устала, что сил ее больше нет и что от такой жизни лучше в петлю. Клаудия и Микеле, как могли, ее успокаивали. Четырехлетняя Марианна, глядя на маму, тоже начинала плакать. Было件нятно, что Сильвия переутомилась и нужно дать ей отдохнуть. Мы с Клаудией, поразмыслив, организовали «детям» поездку в горы. Микеле, как обычно, противился, говоря, что жить надо по средствам и что мы слишком часто берем на себя их расходы.

В начале их с Сильвией совместной жизни он работал настройщиком инструментов, консультировал музыкантов, за что получал сущие гроши. Много ли музыкантов в А.? Затем, под нажимом Сильвии, он отошел от музыки, единственного дела, которое любил и знал, освоил компьютер, стал оформлять для заказчиков какие-то открытки, обложки. Получал все те же мизерные деньги, несмотря на то, что целые дни проводил у злосчастного компьютера.

Мне было его жаль, он, ясное дело, жертвовал собой ради семьи. Толку от этого, однако, было немного. Бог не дал Микеле ни предприимчивости, ни оборотистости, ни больших художественных способностей (件нятно, что о музыке, где он был царь и бог, я не говорю). Ему давали советы все,

кому не лень; Клаудия рассказывала, что даже обожаемая им Марианна требовала, чтобы милый папочка прибавил красок в открытки для детей, так как дети любят поярче.

С Сильвией явно что-то происходило. Однажды в воскресенье, во время совместного обеда у нас в доме, Микеле опрокинул на скатерть бокал вина. Клаудия, как и подобает хозяйке, подала ему салфетки, поинтересовалась, не залил ли он свой костюм. Сильвия же разразилась громким истерическим смехом, после чего вскочила из-за стола и убежала.

Нонна Марго, сидевшая тут же, пробурчала что-то сквозь зубы и покачала головой. Жизнь, а быть может, старость сделали мою не поддающуюся времени суочеру мудрой и рассудительной, словно и не числилось за ней «грешков» и ошибок молодости. Я видел, что Марго, как и я, сочувствует и жалеет Микеле. Клаудия же, в одно слово с Сильвией, осуждала его за инфантильность и неумение зарабатывать деньги. Но ведь эти его качества всегда были на поверхности, он их и не скрывал; может, именно за них Сильвия вначале так его и полюбила. Отдых в горах облегчения не принес — Сильвия продолжала принимать антидепрессанты, я несколько раз водил ее на консультацию к коллегам-психоневрологам.

Как-то поздним вечером, возвращаясь по проспекту с работы, я заметил далеко впереди пару — высокую сильную женщину в нарядном белом костюме и еще более высокого мускулистого мужчину в яркой рубашке. Оба шли довольно быстро, по-видимому, оживленно беседуя.

Не сразу до меня дошло, что женщина впереди — это Сильвия. Пара остановилась посреди дороги, горячо обсуждая какой-то вопрос, я свернул на подстриженный газон и, проходя мимо, невидимый ими, взглянул на обоих сбоку. Сильвия была необычно весела, взгляд ее светился, потухшее в последнее время лицо было оживленным и ярким, словно с него сняли пленку. Парень... я его никогда не видел прежде... показался мне довольно заурядным: хорошо подстрижен, спортивен, высок. Думаю, что рост Микеле, а он был заметно ниже Сильвии, сыграл большую роль в ее к нему охлаждении. Женщины не любят низкорослых.

Придя домой, я ничего не сказал Клаудии о неожиданной встрече. После ужина, когда она снова завела разговор о состоянии здоровья Сильвии, я, наверное, от усталости, отключился и заснул. И что вы думаете мне снилось? Мне снилось нескончаемое поле крыжовника. Между огромными мохнатыми ягодами бегала маленькая Марианна, плакала, и кого-то громко звала, наверное, отца с матерью...

6. Русская Катя

Домой я прихожу поздно. Обо всех событиях в семье узнаю в основном от Клаудии. Влиять на эти события мне не под силу. Что можно сделать с женщиной, мечтающей вырваться на свободу и возомнившей, что это очень легко, стоит лишь принести в жертву одного маленького, когда-то близкого человека? Сильвия, как я понимаю, собирается принести в жертву Микеле. Она не учитывает, что сделает несчастной Марианну. Оба — отец и дочь — жить друг без друга не могут. Почему всегда страдают самые слабые? Слабых мне как-то особенно жаль, может, потому я и врач. Но сам врач не должен быть слабым. Или, во всяком случае, никто не должен видеть его таким. Когда я прихожу к себе в отделение, я перестаю быть просто Алессандро Милиотти, человеком со своими семейными и прочими проблемами, — я становлюсь Геркулесом, Ахиллом, Антеем. Мои больные наделяют меня чудной силой, они верят мне и почти боготворят. Некоторые живы только потому, что ждут моего прихода, из-за них я хожу в отделение и в субботу, и в воскресенье... Нельзя, чтобы человеку стало плохо, только потому что у меня выходной.

Но я отвлекся. Говорил ли я, что у Татьяны, нашей русской знакомой, есть дочь Катя? Почему-то главное чувство, которое она вызывает во мне, — жалость. Мне ее невыносимо жаль, хочется загородить ее от мира, с его жестокостью, несправедливостью, одичанием. Хочется, чтобы она ничего этого не знала и не видела — уж очень беззащитна. Катя тоненькая, хрупкая девочка со светлыми волосами, синеглазая. Глаза у нее какие-то очень грустные, и она

редко смеется. Но даже если она смеется, глаза остаются грустными.

И вот эта-то Катя надумала стать медиком! Татьяна ее не отговаривала, она объясняла мне, что Катя так много болела в детстве, что, видно, ей на роду написано бороться с болезнями. На мои доводы, что настоящий врач все же мужчина, а не женщина, Татьяна отвечала, что такой взгляд устарел даже в Италии, а уж на ее родине, в России, женщин-врачей гораздо больше, чем мужчин. Еще она добавляла, что всю жизнь мечтала иметь в семье врача, что итальянская система здравоохранения никуда не годится и, если не имеешь дома своего врача, легко загнуться или пропустить у себя что-нибудь страшное... Короче, девочка поступила в А. на медицинский.

Что такое медицинский факультет в маленьком провинциальном городе Италии? Врачи во всяком цивилизованном обществе составляют хорошо организованную сплоченную корпорацию, не желающую, чтобы в нее просачивались люди со стороны. Так уж повелось у нас со времен Медичи, великих медиков, давших имя славному флорентийскому роду. В мое время, когда врачей не хватало и работа еще не сулила высокого вознаграждения, учиться было несомненно легче. Сейчас же все по-другому. Студенты учатся десятилетиями и выходят из стен альма матер напичканными никуда не нужными схоластическими знаниями.

На эти горькие размышления навели меня Катя и ее судьба, за которой я пристально следил все эти годы. Катя оказалась целеустремленной и упорной, с цепкой памятью. Ее семья не принадлежала к медицинскому сословию, мать была иностранкой, с неизбывным русским акцентом — Кате пришлось тяжелее многих.

Ей выпало учиться целых десять лет, сдать кучу ужасных экзаменов, на подготовку которых тратились не недели и месяцы, а годы, отказаться от всех радостей жизни и зубрить, зубрить, зубрить. Девочка, и без того худосочная, превратилась в прозрачного эльфа, глаза ее стали еще более грустными и при первой возможности наполнялись слезами. Все эти годы перед самыми страшными экзаменами она

приходила ко мне в больницу, и я ухитрялся найти для нее хоть немного времени и хоть чуточку помочь. Думаю, что эти посещения стали для Кати своего рода талисманом, она вкладывала в них именно такой — мистический смысл.

В самом деле, чем мог я, врач-практик, отучившийся несколько десятилетий назад, помочь ей в таких сложнейших дисциплинах, как анатомия и физиология, иммунология и эндокринный аппарат, неврология и психиатрия? Но однако, успешно сдав очередной неподъемный экзамен, Катя всегда рассказывала примерно одну и ту же историю: после часового опроса профессор, прищурившись, задавал синьорине-студентессе последний вопрос. Как правило, это был вопрос на засыпку, тот самый, ответ на который синьорина-студентесса не могла бы найти ни в многопудовых учебниках, ни в лекциях.

В этом месте рассказа Катя обращала ко мне оживившееся лицо и после паузы с торжеством произносила: «И я ответила. Помнишь, Алессандро, ты крикнул мне вдогонку, чтобы я не забывала про проблемы печени, ведь пациент не будет рассказывать, что злоупотребляет алкоголем?» Конечно же, ничего я не помнил и, по правде говоря, не очень верил, что мои разрозненные пояснения практикующего врача могли принести Кате какую-то пользу.

Неделю назад Катя пришла ко мне в больницу во время обхода. Как-то так получилось, что все эти годы на обход я ее с собой не брал. С непривычки обход тяжел, особенно для такой худосочной девицы, как Катя. Юноши, проходящие практику в моем отделении, после обхода падают с ног от усталости. Конечно, девочка уже кончает университет и скоро ей придется впрягаться в ляжку, но... Катя иногда бывает упрямой. В этот раз она увязалась за мной, присоединившись к выводку практикантов. Закончив обход, я отыскал ее глазами — зеленовато-бледная, улыбнулась мне через силу. И зачем она выбрала себе такую не женскую профессию? Она задержалась возле моего кабинета, и я предложил ей зайти передохнуть. Подавая стакан воды, пошутил:

— Скоро ты, Катя, будешь обмывать свой диплом. Ты уже выбрала местечко для праздничной чены?

Она ответила с некоторой запинкой.

— В артистическом кафе, с друзьями.

Странно, никогда не знал, что у нее есть друзья-артисты.

— Я думал, что только мой Лоренцо ходит в это кафе.

— Там будет и Лоренцо.

Когда у человека бледное лицо, он краснеет каким-то фиолетовым цветом. Катя не покраснела, а залиловела. И очень быстро стала говорить, что Лоренцо подготовил какой-то очень смешной скетч, что у него уморительно получается номер с говорящей собакой. Опять собака! Я вспомнил фильм «Собака сына», где играл мой Лоренцо. Там он однако играл бармена. Почему Катя так волнуется? Что ей Лоренцо?

В последнее время Клаудия говорила мне, что Лоренцо совсем забросил свою марроканскую жену, что бедный кудрявый Алессандро растет без отца. Уда жаловалась, что муж перестал приходить ночевать. Уж не Катя ли тому виновной? Какие мысли мне лезут в голову! Зачем этой скромной строгой девушке мой непутевый легкомысленный сын? Но вот нравится же ей его, по-видимому, идиотский скетч. Катя продолжала что-то говорить, а я отключился и смотрел на ее усталое прозрачно-кукольное личико, тонкие руки, глаза, в которых затаилась мольба. Чего нужно миру от этой девочки? Таких следует баюкать, голубить, успокаивать. Какой из нее врач? Она не может помочь даже себе самой. Внезапно что-то в этом лице изменилось. Оно искривилось жалкой гримасой, и Катя заплакала.

— Катя, что ты? Что с тобой? Девочка беззвучно плакала, ее узкие плечики тряслись от рыданий, она вытирала ладонями мокрые слепые глаза. Устала на обходе? Обычная ее слезливость? Что-то мне говорило, что дело в другом.

— Успокойся, девочка. Тебе нужно отдохнуть. Бесконечные экзамены, тут еще этот длиннющий обход... Я гладил ее по голове, она продолжала всхлипывать.

— Посмотри, какая благодать за окном!

Высокое окно в кабинете выходило в прибольничный сад. Я подошел и открыл его — в ноздри ударил терпкий

и тонкий запах — царственно белоснежный куст рос под самым окном. Чувствуешь запах? — это джельсомино, жасмин. Есть такая песня, — и я напел ей нашу с Клаудией песню:

*I bei gelsomini rampicanti
Sotto la tua finestra son seccati.
Fiori, fiori, fiori, fiori di primavera,
Se tu non m'ami morirò di pena.*

Катя подняла голову, вслушиваясь, и прошептала вздрагивающим голосом: «Я ее знаю, слышала».

— Слышала? От кого?

Она отвернула от меня лицо и почти беззвучно выдохнула: «От Лоренцо». Я подошел и взял ее лицо в ладони. — Катя, ты плачешь из-за Лоренцо? Ты... ты его любишь? Она перестала плакать, но упорно отводила взгляд в сторону. — Катя, скажи, что тебя мучает? С тобой что-то случилось?

— Я не хочу убивать ребенка,— вдруг тихо и внятно произнесла она. — Ему уже три месяца, и он все чувствует и понимает, но даже если бы ему было всего три недели или даже три дня, он все равно уже живое существо. Я не хочу его убивать! — и она снова залилась слезами.

7. Моя родина Севильяно

Севильяно — моя родная деревня. В центральной Италии таких много. Холмистая равнина, на которой рассыпались белые каменные домишки с красными крышами. В центре высокая церковь — Дуомо, по сторонам в уходящих вверх предгорьях — сады, виноградники.

Когда я выйду на пенсию, я куплю здесь себе кусочек земли с маленьким домиком. На участке Клаудия обязательно посадит цветы и цветущий кустарник, а я, как уже говорил, разведу плантацию крыжовника.

Засышая, я представляю себе картину: круглые, раздавленные вширь мощными ветвями кусты, усыпанные

мохнатыми красноватыми ягодами. Почему-то эта картина меня успокаивает, и я проваливаюсь в сон, тем более, что очень устал за день и мое не слишком уже молодое тело нуждается в отдыхе.

Да, в последнее время я стал чувствовать, что тело уже далеко не так мне подвластно, как казалось совсем недавно. Ну да ничего, проживем еще и порадуемся жизни, как говорил мой покойный отец, простой крестьянин. Здесь в Севильяно, на деревенском кладбище, в семейном склепе, лежат они оба — мама и отец. Здесь же будем лежать и мы с Клаудией, и мой брат Франческо.

Вот насчет детей не уверен — они могут разлететься по свету, да и просто могут не захотеть покоиться на простом деревенском кладбище. Лоренцо такое место последнего успокоения наверняка покажется слишком обыденным, неинтересным. Сильвия же над этим вопросом пока не задумывается, ей сейчас надо решать земные дела, например, как разъехаться с несчастным Микеле. Я уже предчувствую, что моя дочь захочет выгнать Микеле из дома, чтобы поселиться там со своим новым мужем. Куда тогда денется Микеле? Ну да ладно, нельзя заикливаться на таких темах, ничего кроме сердечной боли они не принесут. Да, кладбище.

Пожалуй, только нонна Марго будет лежать тут вместе с нами. На ее родине, Сицилии, родственников у нее не осталось. В Тунисе, где ее бедствующая семья нашла себе приют, у нее тоже уже никого нет.

Нонна Марго проживет еще, у нее крепкая сицилийская порода и жизнелюбивый веселый нрав. Это она научила Клаудию той песне — про жасмин. А мне напел ее мой младший брат Франческо — беспечный вьяджаторе привез ее из своих музыкальных странствий.

Эту девочку, Катю, песне про жасмин обучил наш Лоренцо.

Странно, мне казалось, что ни Сильвия, ни Лоренцо ничего не взяли у нас с Клаудией. Внешне Лоренцо походит на Клаудию, а Сильвия на меня, но внутренне они одинаково от нас далеки, хотя... кто знает? Может, Лоренцо не так бесчувствен и зауряден, как мне кажется? А может, в

его и Сильвии детей, в курчавом арапчонке Алессандро, в маленькой разумной Марианне, пробьется что-то, идущее от бабки с дедом?

Мой отец-винодел мечтал, что сыновья оторвутся от земли, выбьются в люди. Наверное, он доволен, глядя оттуда, из родового севильяновского склепа, что я стал врачом, что люди уважительно обращаются ко мне «дотторе». Отец умер от рака желудка, в страшных муках, несмотря на большие дозы морфия. Не жаловался, как-то в одночасье похудел, однажды проговорился матери про боли в области желудка. Когда попал в больницу, метастазы были уже повсюду, даже в печени, оперировать было поздно. Что будет с Клаудией, если я скажу ей, что постоянно чувствую боль в желудке? Представляю смесь ужаса и сострадания на ее лице. Нет, Клаудии я ничего не скажу. Буду жить как жил, авось, случится чудо — и Господь смилуется над рабом своим. Если же нет, перед тем как покинуть этот мир, хотел бы я поглядеть на того ребенка, на того нежного ангела, которого родит Катя. И еще бы мне хотелось, перед тем как навечно смежить веки, узреть залитый майским солнцем сад в Севильяно, и в нем — кусты крыжовника, усыпанные крупными невиданными здесь ягодами.

Май 2005

Только в мире и есть...

*Только в мире и есть этот чистый
Влево бегущий пробор.
Афанасий Фет*

Роман «Война и мир» я читала кусками, в далеком детстве. Читала один мир, пропуская войну. Но и мир читала не весь, а только там, где про любовь. И вообще я этот роман сильно бы сократила, почистила и оставила бы только любовь, только князя Андрея и Наташу, даже Пьера бы не оставила. Зачем ему третьим лишним? Только Наташу и Андрея. И назвала бы «Любовь и мир». В смысле любовь — посредине, а мир — вокруг, на расстоянии. Понимаете меня? Вообще-то меня зовут Наташа. И у меня в жизни тоже была любовь. Такая же как у той Наташи — неосуществимая. Моего князя Андрея звали просто Андреа, он был итальянец. И началось это летом, ровно 10 лет назад.

Мы тогда только приехали из России, был поздний летний вечер, Джорджо привез нас к себе, мы стояли на пороге, а он бегал по громадному дому и что-то кричал, наверное, звал семью. Первым к нам вышел высокий черноволосый юноша. Я сразу заметила, что у него нос с горбинкой, и вообще он был очень породистый, очень ни на кого не похожий. Но, может, я ошибаюсь, и про породу я подумала потом, а вначале он мне просто показался очень красивым, как ни один парень до этого. Мне было пятнадцать лет, и мне никто, ну просто никто до этого не нравился. Джорджо представил нам сына по-английски: это Андреа, ему 22 года. Мы все кивнули, мама сказала: меня зовут Анна, папа сказал: меня зовут Павел, тут все посмотрели на меня, я

залилась краской и выдавила из себя: меня зовут Наташа. Тогда Джорджо весело подмигнул, тронул Андреа за плечо и сказал: ты Наташа, а он Андрей. А? Прямо как в «Воине и мире». И он засмеялся вместе с подошедшими женой и дочкой. А мы стояли тихо, мы были немножечко не в своей тарелке: еще не освоились в этом огромном доме и вообще в этой чужой стране.

На следующее утро, сразу по водворении наших вещичек в крохотной квартирке на площади Кавура, Лаура, жена Джорджо, повела нас с мамой на базар, по-итальянски «меркато». Мы были просто ослеплены изобилием земных плодов и оглушены криками торговцев. Все кричали что-то типа «фаволозо» и «меравильозо». Сейчас я уже понимаю, что это означало, что товар просто «сказочный» и «чудесный». Но и на самом деле, так оно и было. Мы остановились перед лотком с громадными лунно-желтыми лимонами. Никогда таких не видела, просто произведения искусства. Мама нерешительно взяла один роскошный плод и подала черноглазому молодому продавцу. Он кинул лимон на чашку весов, а потом быстро и весело произнес: три милля лире. Мама достала кучки тысячных бумажек, выданных нам Джорджо на первое обзаведение (папа только приступил к работе в его лаборатории), отсчитала три бумажки и протянула продавцу. И лишь тогда мы заметили, что за нашей сделкой пристально наблюдает Лаура, и в глазах у нее выражение ужаса: «Вы отдали за лимон три тысячи лир?» Она говорила по-итальянски, но я ее поняла, кажется, поняла и мама. Мы обе перестали улыбаться, мы просекли, что нам, с нашими полученными в долг деньгами, не стоит делать такие роскошные покупки. А Лаура медленно, чтобы мы улавливали, нас наставляла: каждый день — пасту, это вкусно и дешево, так питаются многие итальянцы. Паста будет вам как раз по карману, а лимоны... лимоны, да еще такие огромные, — это роскошь. Взглянув на наши потухшие лица, она, видно, что-то поняла и подвела нас к большому киоску в углу рынка. Там продавались хлеб и сладости. Они были очень-очень аппетитные, гораздо аппетитнее тех засохших полосок с повидлом, что я покупала в пустой булочной на Покровке в Москве. И она купила

нам кекс, усыпанный разноцветными горошинами — самое неаппетитное из того, что лежало на полках.

Джорджо сказал папе, что вечером они ждут нас у себя: будет синьор Марио. Тогда мы уже были знакомы с Кьярой Латини, строгой религиозной итальянкой, дающей бесплатный приют бездомным, но подчинявшей всех, кого она у себя поселяла, железному режиму. Правда, когда я жила с родителями, мне на это было наплевать. Вот потом, оставшись одна и поселившись у Кьяры, я поняла, какой она деспот. Но до этого было еще далеко — родители уехали через три года. Так вот Кьяра подарила мне яркую кофточку китайского шелка — богатые итальянки часто приносили ей, церковной активистке, вещи для бедных. Кофточка была впору и почти неношенная. Теперь мне было в чем пойти в гости. Про синьора Марио папа сказал, что, как он понял, это отец Лауры, Джорджин тесть. Джорджо с юмором рассказывал папе во время ланча, какой этот синьор Марио капризный и неугомонный по женской части. Они с Лаурой боятся, что свой дом в Модене он завещает какой-нибудь очередной домработнице.

За нами должен был заехать Андреа. К тому времени мы уже кое-что о нем знали. Он по неизвестным нам причинам ушел с первого курса университета в Мачерате, где учился на философском факультете, потом целый год сидел дома и читал книжки, надеясь, что они его чему-нибудь научат, потом им овладела страсть к фотографированию — и он приобрел специальную камеру. Но найти работу фотографа в хорошем журнале ему не удалось; как раз к нашему приезду отец устроил его на какую-то фирму, где от него требовалась рутинная работа на компьютере. После нашего знакомства я видела его пару раз на улице, когда он шел в свое учреждение. Окликнула я его первая, так как шел он задумавшись и не глядя по сторонам. Он оборачивался и недовольная гримаса, которую он нес на лице по дороге на нелюбимую работу, сменялась мальчишеской улыбкой. Мы говорили друг другу «чао», добавляли еще два-три словечка и расходились, но каждый раз у меня

было ощущение, что на меня упал солнечный луч — так прекрасна была его улыбка.

Мы с мамой едва успели одеться, когда Андреа приехал. Мне было интересно, как он прореагирует на мою китайскую яркого шелка кофточку. Но он посмотрел и промолчал, мне даже показалось, что она ему не понравилась. Может, слишком цветная? Но и я ведь не старуха.

В машине мама, сидевшая впереди, пыталась завести разговор о книгах, мол, что он сейчас читает, но Андреа отделался словами, что читать ему сейчас некогда, а в свободное от работы время он спит, так как катастрофически не высыпается. Мама попыталась пошутить, что у русского поэта Пушкина есть герой, который ночью танцевал на балах, а утром спал. Это она Онегина имела в виду. Андреа на это сказал, что у русских, кажется, есть один единственный поэт, Пушкин, они всегда только его цитируют. Прозвучало не очень вежливо, и мама умолкла. Зато мне стало обидно и за маму, и вообще за всех русских поэтов, и я на своем тогда еще далеком от совершенства итальянском языке выкрикнула примерно следующее: «Почему только Пушкин? У нас есть и Лермонтов, и Фет...». Про Фета я так сказала, в запале, я никогда его стихов не читала, просто мне больше никто не вспомнился.

К восьми часам, к самой чене, итальянскому ужину, мы подъехали к дому.

Огромный, странных очертаний, он располагался в уединенном месте, к нему вела аллея пиний. Когда мы вышли из машины, такой резкий и влажный ветер ударил в лицо, что я подумала, что где-то совсем неподалеку должно быть море.

Все расположились в просторной ярко освещенной гостиной в креслах, Мариза, младшая сестра Андреа, разносила на подносе соленые палочки — как я потом узнала, чтобы у гостей пробудился аппетит. Синьор Марио сидел в центре зала, в самом большом кресле. Он мне сразу понравился — у него, как у Андреа, был породистый, с горбинкой, нос, очень живой и пронзительный взгляд, который он то и дело устремлял на меня. Наверное, я ему тоже понравилась.

С ним рядом сидел Андреа, и синьор Марио с энтузиазмом рассказывал ему, как мне показалось, о лошадях, но потом оказалось о кордебалете. Он называл длинноногих девушек из кордебалета «лошадками». Андреа было явно скучно, он слушал с застывшим лицом, ему на помощь пришла Лаура. Она подвела меня к синьору Марио и усадила в кресло напротив. Андреа соорудил при этом такую уморительную гримасу, покосившись на деда, что мне стало весело и свободно. И мы завели с синьором Марио разговор, он меня спрашивал — я отвечала, еще не очень уверенная в грамматике, но полностью доверяясь пожилому итальянцу, источавшему приязнь и восхищение. Он не скрывая мною любовался и в перерывах между своими вопросами и моими ответами то и дело шептал «коме беллья», «уна рагацца фаволоза», оглядываясь на Андреа и словно призывая его в свидетели. Андреа улыбался и строил уморительные гримасы. — Ты читала «Промессы спози»? — вдруг громко спросил синьор Марио. — Нет, я ведь недавно приехала. — Эту книгу читай первой, она для таких, как ты и как мой внук, — он кивнул на Андреа, — вроде букваря. Ты, Андреа, ведь помнишь эту вещь, нашу итальянскую «Войну и мир»? Расскажи девочке содержание.

Тут я впервые увидела, что Андреа покраснел и, кажется, лишился дара речи. — Ну что же ты, — требовал синьор Марио, — расскажи хотя бы в двух словах. Андреа начал: «Это про двух обручившихся влюбленных. Они никак не могут... никак не могут... — Ну что же ты, Андреа, — продолжал синьор Марио, капризно надув губы, — ты что же, забыл все итальянские слова? Чего они не могут? Андреа молчал.

— Стать мужем и женой, рагаццо модесто, — провозгласил синьор Марио. — Американцы употребили бы здесь свой любимый глагол «fuck», — он с нажимом произнес заморское слово. — Но девочка должна знать, — продолжал синьор Марио, — что итальянцы всегда добиваются своего в любовных делах. Скажи девочке, Андреа, что в хорошем романе дело всегда кончается свадьбой — и он орлом взглянул на нас с Андреа, пунцовых и не глядящих друг на друга. Потом была чена, мы ели пасту с креветками, и

сальмоне, и листья салата, и абрикосовую кростату, и мороженое с шоколадными крошками — страччателлу. Синьор Марио весь вечер мною восхищался и цокал языком. А Андреа сидел на другом конце стола, и мне казалось, я сгорю от его пристального взгляда.

Когда все поднялись из-за стола, выяснилось, что Мариза, все время хмуро сидевшая рядом с матерью, хочет отвезти нас домой.

— Почему не Андреа? — спросил синьор Марио, покосившись на меня. — Рагацце будет приятно, если ее отвезет кавалер. Мариза ответила с ехидством: «Андреа слишком много пил, я за ним наблюдала. Видно, что-то ударило ему в голову». — Не что-то, а кто-то, — поднял палец синьор Марио, — разве может итальянец, да еще молодой, устоять против русской бамболины? Он подмигнул, и все взрослые засмеялись, кроме моей мамы, которая не поняла, о чем речь. Андреа помрачнел и, ни слова не говоря, повернулся и ушел к себе. Домой нас везла Мариза.

А синьор Марио умер через две недели после нашей встречи, свой дом он завещал дочери — как положено. Лаура рассказывала, что перед смертью он позвал к себе Андреа и попытался ему что-то сказать, но язык ему уже не повиновался. Мне почему-то кажется, что синьор Марио хотел сказать Андреа обо мне.

После того вечера я не видела Андреа целую вечность. Нужно было вращаться в чужую жизнь, учиться в лицее, стараться получать самые высокие оценки — десятки, чтобы потом было легче поступить в Университет. Прошла осень, кончалась зима. Помню, как в феврале, во время карнавала, глядя с холма на наряженных взрослых и детишек, весело плясавших на площади Папы, я вдруг заплакала. Мне стало так тоскливо и неудобно, я подумала, что никогда за все свои 15 лет не плясала на таком веселом празднике и уже, наверное, никогда не смогу включиться в это безудержное веселье...

Неожиданно кто-то тронул меня за плечо. Оглянувшись, я увидела Андреа — он белозубо улыбался и,

казалось, не заметил моих слез. Он взял меня за руку и почти насильно потянул вниз по крутому склону, к танцующим. Музыка гремела как из преисподней, мы вошли в кружок танцевавших, опоясанный многочисленной веселой толпой, перед нами все расступились, и мы чудесным образом оказались в самой сердцевине круга. И тут внезапно медь замолкла, и из репродуктора раздались звуки вальса. Сейчас, когда я все вспоминаю, мне представляется сцена из фильма «Война и мир», где Наташа танцует с князем Андреем. Это сравнение меня смешит. В фильме они так парадно, так по-бальному танцевали. Наш танец был совсем-совсем другой. Стремительным, задышающимся и очень коротким. Почему-то музыка кончилась, как оборвалась, буквально через мгновение после начала. Или мне так показалось? Мы с Андреа замерли глядя друг на друга, он держал мои руки в своих. Толпа вокруг хлопала, что-то кричала, репродуктор внезапно заглох, завибрировал и стал отбивать оглушительно скрежещущие такты рока, вокруг нас понеслись в дикой пляске гномы, принцессы, собаки и львы. Первым опомнился Андреа, он потянул меня за собой — прочь от толпы — к краю площади, на самую макушку холма, где перед собором высилась статуя одного из средневековых Пап со странной длинной шапкой на голове.

Задыхаясь, мы добежали до статуи и, спугнув расположившихся на высоком постаменте голубей, прислонились к холодному серому граниту.

— Ты чего не в школе? — спросил Андреа.

— Нас отпустили с уроков — из-за карнавала. А ты почему не работаешь? — спросила я в свою очередь.

— Проблемы со здоровьем, — он улыбался, — ходил в Умберто Примо.

Больница Умберто Примо была расположена неподалеку. Я посмотрела на него с недоверием — такой высокий, здоровый парень, зачем ему больница?

— Ты шутишь?

— Шучу, — он говорил улыбаясь, но как-то не очень уверенно. А потом резко сменил тему: «В России есть карнавал?»

Я кивнула, мне не хотелось говорить, что в России сейчас ничего, ну просто ничего нет.

— И что написал ваш любимый Пушкин по поводу карнавала?

— Он написал — я задумалась, а потом прочла первое, что пришло в голову: «Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит». — Красиво! Мне нравится, как звучат русские слова. «Коврами», — повторил он, смешно растягивая гласные. — Коврами — это и есть русский карнавал?

— Конечно! Ты замечательно догадлив — точно почувствовал значение русского слова, — и я взглянула сначала на улыбающегося Андреа, а потом на Папу, в чьем бесстрастном сосредоточенном взоре мне почудилось осуждение.

С той встречи на карнавале со мной началось что-то странное. Я все свое свободное время думала исключительно о нем, об Андреа, днем и ночью. Ничего не могла с собой поделатъ — ложилась на кровать и вспоминала мельчайшие подробности наших с ним немногочисленных разговоров, а еще надоедала маме своими излияниями — какой он красивый, умный, начитанный. В сущности ничегошеньки о нем не знала и о начитанности его могла только догадываться, но если человек влюблен... Теперь я хорошо понимаю, что мое тогдашнее состояние называется влюбленностью. Мама, наверное, тоже это понимала и терпеливо меня выслушивала, иногда вставляя что-нибудь ободряющее и ведущее, на ее взгляд, ко спасению: «Но вот же ты рассказывала, что ваш новый учитель физкультуры на тебя глаз положил и что он очень интересный, голубоглазый. Вот и переключись на него».

— Сердцу не прикажешь, — шептала я безнадежно, и мама тяжело вздохнула и согласно кивала головой. Мы с мамой очень похожи — обе ужасные дурочки. Однажды маме пришло в голову написать Лауре поздравительную открытку с Международным женским днем 8 марта.

— Ну и наплевать, что итальянцы этот праздник не отмечают и он им вообще неизвестен, я напишу, что

поздравляю ее с *русским* праздником. И через 5 минут мама прочитала мне составленную ею открытку, в которой в переводе с итальянского значилось:

Дорогая Лаура,

поздравляю тебя с русским национальным праздником 8 марта. В этот день в России отмечается женский день, никто не работает, все сидят за праздничным столом и пьют за здоровье женщин. Приветы и поздравления шлют тебе и Маризе также Павел и Наташа.

Р. С. У Наташи появился «рагаццо», спортивный и голубоглазый, он преследует ее взглядами, но она не обращает на него никакого внимания и говорит, что всем голубоглазым предпочитает кареглазых.

Мама считала, что в открытке она прозрачно намекнула родителям Андреа о моих к нему чувствах. Зачем она это делала? И почему я ее не остановила?

Не знаю. Сейчас трудно все это понять, но тогда мне даже хотелось, чтобы открытка скорее была отправлена.

Через несколько дней, 13 марта, мне исполнилось 16 лет. На мой день рождения приглашена была вся семья Джорджо. Первыми пришли родители. Джорджо нес впереди себя большую корзину с провизией — галетами, макаронами, сыром и оливковым маслом. Лаура протянула мне сверток, стянутый плотным узлом.

— Посмотри, что я тебе принесла, — шепнула она, — такую вещь ты сама себе не купишь. В свертке оказалась кофточка унылого грязно-серого цвета, Лаура, как и Андреа, явно не одобряла моего пристрастия к ярким цветам. Сели за стол, Джорджо тут же приступил к салату оливье, который в Италии называют русским. Выпили за мое шестнадцатилетие.

И тут мама робко спросила: «А где Андреа? Почему его нет?». Она словно забыла, что нет не только Андреа, но и Маризы.

Джорджо оторвался от салата и медленно произнес: «Андреа женится». Не знаю, почему я покраснела, — потому ли, что он это сказал, или потому, что сразу после этих слов

взглянул на меня?! Я почувствовала, что буквально заливаюсь краской. Под неотрывным взглядом Джорджо я схватила салфетку и прижала к горячей щеке. Обычно не очень понятливая мама тут пришла мне на подмогу: «Как у нас душно, ребенок прямо задыхается, нужно открыть окно!» Лаура сидела с каменным лицом и только спустя минуту произнесла: «Джорджо как всегда шутит. Дети задерживаются, они должны прийти». Действительно, минут через 20 раздался звонок. Я услышала в коридоре голос Маризы. А Андреа так и не пришел.

Весна пролетела как бабочка — так же быстро и так же невозвратно. В конце мая площадь Кавура, на которую фасадом выходил наш дом, была полна зелени, шорохов, солнечных бликов и запахов. Всю весну я прогуливалась. Каждый вечер наведывалась на площадь Папы и стояла возле холодной каменной статуи, вспоминая его лицо, улыбку, как он смешно сказал «коврами». Дома я рылась в книгах, ища что-нибудь хотя бы отчасти соответствующее моему настроению. Мама привезла с собой в чемодане русские книги в ущерб платьям и домашнему скарбу. Вот их-то я и разбирала. Я искала стихи, так как прозу читать мне не хотелось — душа была слишком легка для прозы, слишком воздушна. Как-то я наткнулась на тоненькую книжечку без обложки. Первой страницы тоже не было, а на второй было маленькое стихотворение, поразившее меня как прямое попадание — прямо в сердце:

Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих кленов шатер.
Только в мире и есть, что лучистый
Детски задумчивый взор.
Только в мире и есть, что душистый
Милой головки убор.
Только в мире и есть этот чистый
Влево бегущий пробор.

Это было *мое* стихотворение, не в том смысле, что про меня, а в смысле, что оно отражало мое тогдашнее состояние.

Мне ничего было не нужно, меня не интересовал мир вокруг, важен был лишь один человек в этом мире. Вы скажете, что такое сознание можно назвать болезненным, оно ограничено, сужено до предела и не отражает объективной реальности. Все правильно, я с вами соглашусь — тогда я находилась в состоянии ненормальном и нездоровом. Подозреваю, что поэты находятся в нем постоянно или, во всяком случае, в период писания стихов.

С книжкой в руке я побежала на кухню, где мама что-то писала на кухонном столе. — Это чьи стихи? — Эти? Фета. Ты малышкой вырвала из книжки несколько страниц, так обидно! — Так это Фет! Я была потрясена. Сразу вспомнилось, как в машине я назвала его имя Андреа. Тогда я еще не читала этих стихов. Такое совпадение показалось мне не случайным. Стихи Фета запомнились сами собой, и я попыталась строчку за строчкой переложить их на итальянский. Мне очень хотелось, чтобы их прочитал Андреа. Теперь все вечера я проводила за переводом. Уроки — математику, историю, латынь — старалась делать как можно быстрее, высвобождая время для своей заветной работы. Был конец мая — и многим итальянским школьникам, как и мне, стало не до ученья. По вечерам на широких мраморных скамьях, расставленных вдоль утопающей в распустившейся зелени площади Кавура, сидели влюбленные. Меня удивляли и забавляли их позы. Девушки почему-то сгибали одну ногу в колене, а другую вытягивали вдоль скамьи. Юноши обнимали девушек за талию. Мне даже в голову не приходило, что я могла бы сидеть с Андреа на одной из этих скамеек. Просто хотелось получить от него хоть какую-то весть.

Однажды, когда я зачеркивала в тетради очередную неудавшуюся строчку, в комнату вошел папа. Он внимательно посмотрел на меня и сказал очень спокойно: «Ты знаешь, Джорджо говорит, что Андреа серьезно болен. У него рак».

Вбежала мама и закричала, заволновалась: «Зачем ты это сказал? Я же тебя просила!» Она встала за моим стулом и стала гладить мои волосы, и ее слезы капали мне за шиворот.

Я вышла из автобуса и остановилась: куда идти? Кругом было безлюдно. Пошла наугад узенькой белой тропинкой, над которой возвышался шатер вечнозеленых кудрявых пиний. Тропинка привела меня к дому, похожему на Средневековый замок. Неужели в таких домах можно жить? И почему я не знала, что этот дом — замок? Ах, да, я видела его только ночью, в темноте не разглядела. Я дернула за веревочку — дверь открылась, и я вошла. Тишина. Комнату за комнатой обходила я пугливо озираясь. Где-то неподалеку слышался недовольный голос Маризы, мелькнула тень Лауры. Чтобы избежать с ними встречи, я свернула на лестницу, ведущую на второй этаж, и с колотящимся сердцем юркнула в первую попавшуюся дверь. Я попала в светлое, пронизанное солнцем помещение, стена напротив меня вся была из стекла, за ней плескалось море в ярких полуденных лучах. Я оглянулась — в углу стояла узенькая походная кровать. На ней лежал он. Он не спал, глаза его были открыты, он улыбался. — Андреа! — с этим восклицаньем на губах я просыпаюсь.

Это путешествие я совершала много раз — и только во сне.

Через три года родители уехали в Америку. К тому времени я закончила лицей и поступила в Университет на медицинский факультет. Поселилась у нашей хорошей знакомой Кьяры Латини, которая не брала с меня денег за жилье, но требовала неукоснительного следования своему жесткому распорядку. Учеба на медицинском факультете забирала все силы, бороться с Кьярой было трудно, и я подчинилась: приходила домой не позже 10, никого у себя не принимала, мыла квартиру, готовила еду, когда хозяйка уже спала, чтобы не слышать ее довольно ядовитых замечаний, экономила на газе, воде, тепле. Экономия была Кьяриным «пунктиком», и, хотя я сама оплачивала свет и тепло, в промозгло-холодные итальянские зимы приходилось прятать нагреватель под кроватью, подальше от зоркого хозяйского взгляда. Кьяра экономила не для себя,

все сбереженные деньги она отдавала бедным, посылала — осиротевшим детям на Филиппины, на устройство ночлежек в Африке, на оборудование родильных домов в Палестине. Очень религиозная, крестьянских корней, была она одновременно и необыкновенно доброй, жалостливой, и строгой, властной, порой чересчур нетерпимой. Жилось мне у нее нормально, но очень не хватало домашнего тепла, маминой опеки и просто ласки.

Все эти годы Андреа жил где-то рядом. Правда, жизнь его свелась к одному состоянию: он болел. От Джорджо мы знали, что как раз в нашей области разработана терапия лечения лимфомы, того вида злокачественной опухоли, который был у Андреа. Его усиленно лечили, он прошел химиотерапию. Лежал он не в больнице, а дома, и вся семья замирала, когда подходили сроки сдавать очередные анализы. По словам Джорджо, переданным папой, Андреа был капризным больным, мучил мать и сестру. Чем мучил? — допытывались мы с мамой. Папа не мог вспомнить, морщился, а потом говорил неуверенно: «Кажется, он молчит. Лежит, повернувшись к стенке, и молчит». И это было похоже на правду. Сведения «оттуда» просачивались скудно — Джорджина семья закрылась для общения, нас не звали в гости и на наши приглашения не отзывались. В самом начале я попыталась, по маминому примеру, написать Андреа письмо. Собственно говоря, мама и была инициатором всей «акции». Она сказала, что в мире существует лишь одна великая книга, которая может даровать таким, как Андреа, надежду. Это «Раковый корпус» Солженицына. Мы купили две книжки в итальянском переводе, сравнили их с оригиналом, друг с другом и отобрали ту, у которой на обложке не было мрачной вышки с колючей проволокой вокруг. Потом мама провозгласила: «Его может спасти только любовь!», она не сказала «твоя», но это подразумевалось. И я, воодушевленная, принялась за письмо. Я написала там, что «верю», что «хочу», что «надеюсь», про «любовь» я не писала ничего. Долго думала, дать ли письмо на прочтение маме, и в результате дала — мама у меня, хоть и витает в облаках, но про любовь и про меня все понимает. Письмо она одобрила, сказала: «Я бы ни одной

буквы не добавила». И мы передали книгу с вложенным в нее конвертом папе, а тот — Джорджо.

Потекли дни, недели, месяцы. Наступил август. Ответа не было. К тому времени что-то во мне сломалось, я уже не была такая сумасшедшая. Летом мы ездили в Россию, я встречалась с одноклассниками, с одним из них, светловолосым и румяным крепышом Сережей, хорошо было гулять по ночной, азиатски дремучей Москве.

Училась я как проклятая. Впрочем, на медицинском факультете нельзя было по-другому. Каторжные работы в Италии называют «галерами», это отзвук римской эпохи, когда прикованные к ненавистным галерам рабы были обречены на смерть от непосильного физического напряжения. Вот и мы, студенты-медики, отбывали свой срок «на галерах». Те, кто через семь лет доползли со мной до защиты диплома, поступились многим: своей молодостью, здоровьем, беспечностью, они дошли до стадии изнеможения, они еле передвигались, как вышедшие из концлагеря, но они ощущали себя победителями.

Я защищала диплом последней. В зале, кроме нонны Къяры, моей хозяйки, я разглядела Джорджо и Лауру. Они приветливо мне помахали со своих мест. Мариза, как я знала, училась во Франции, а отсутствие Андреа меня не удивило. Мне уже начинало казаться, что его и не было в моей жизни, что все, что с ним связано, я придумала, намечтала, нафантазировала. Ничего, ничего не было — все родилось из солнечных бликов, из сомкнувшихся в шатер крон пиний, из белой тропинки, ведущей в волшебный замок. Во всей этой истории не было ни грана реальности, придуманный роман с вымышленным героем.

Когда после защиты я пила кофе в баре, ко мне подошла Лаура.

— Поздравляю! Ты так красиво выглядела на кафедре. Я всегда считала, что тебе идут темные тона.

Тут появился Джорджо с бутылкой итальянского шампанского-спуманте в руках. Мы выпили за мою удачу и за мой скорый отъезд в Америку. Джорджо спросил о моих

родителях, о папиной работе в чикагском университете, о дальнейших планах. Язык прилип к моей гортани, и я так и не задала тот единственный вопрос, который из меня рвался. И вот они уходят. И мы ни слова не сказали о нем, об Андреа. Да и существует ли он на самом деле? Может, он уже давно умер?

— Лаура, — кричу я, — Лаура, погоди. Погоди, Лаура! Мой рот открывается, но звуки не идут. Я гляжу им вслед. Лаура и Джорджо удаляются, уходят.

И вдруг Лаура резко поворачивается и торопливо идет ко мне. Она заметно волнуется, ее щеки бледны и губы дрожат: «Наташа, Андреа просил тебе передать» — и она протягивает мне запечатанный конверт.

— Как он? — шепчу я.

Она машет рукой и говорит улыбаясь: «О, замечательно! У него прекрасные анализы, он опять работает». И она уже окончательно уходит. А я окаменело стою с конвертом в руках.

В конверте лежал сложенный вдвое листок с маленькой запиской. В ней всего два слова: «Не уезжай!» Я раз за разом читала эти слова, стараясь понять их смысл. Потом положила конверт в потайное отделение своей сумочки.

Перед отъездом в Америку, отбирая вещи, которые возьму с собой, я наткнулась на пожелтевшую тоненькую тетрадь. В ней было переписанное стихотворение Фета и мои неуклюжие попытки его перевода на итальянский. Подивилась себе тогдашней — как смело взялась за перевод гениальных стихов, как жила мечтой послать эти корявые строки ему, Андреа. Можно только порадоваться, что этого не сделала. К чему? Чтобы дополнить выдуманный роман еще одним штрихом? Но все же тетрадку я отложила в сторону. Возьму ее с собой и буду хранить как реликвию — спрессованное в восьмистишие время моей жизни, моей любви. Только ли моей? А Андреа? С ним ведь тоже что-то происходило. И эта его записка... Я достала из сек-

ретного отделения сумочки конверт и вынула сложенный вдвое листок. Приложила его к странице пожелтевшей тетради — итальянские буквы наложились на русские и слились с ними. Одно любовное послание устремилось навстречу другому. Они совпали и соединились в некой точке пространства. В голове мелькнуло: они должны быть вместе — стихи и записка. Возьму их с собой и спрячу между книг на книжной полке своей будущей квартиры. Пусть в моей комнате будет укромный уголок, запечатлевший миг любви, хранящий память об Италии и об Андреа — о том, что *только и есть в мире*.

Ноябрь 2005

В промежутке

В июле поехали в пансионат. Билет в Америку уже лежал на полке в платяном шкафу, и Лена смотрела на длинный заграничный конверт, когда собирала вещички пока еще в ближнее Подмосковье. Ехала с Галей, подругой. Галя была художницей, взяла с собой все для работы акварелью и карандашами. Лена позавидовала Гале — ей тоже хотелось чем-то заниматься на отдыхе, главным образом, чтобы уйти от навязчивых невеселых мыслей. В день перед отъездом она созвонилась со знакомой редакторшей и взяла для перевода книгу о половом созревании подростков — ничего другого в распоряжении редакторши уже не было. «Буду переводить и вспоминать Мишку», — решила Лена. Мишка, ее сын-подросток, вот уже целый год жил с отцом, Лениным мужем, в Америке. А Лене предстояло к ним присоединиться в конце августа.

Галя настояла, чтобы ехали на электричке, хотя Лене очень хотелось взять машину — расстояние было небольшое и в раскладе на двоих сумма получалась незначительная. Но Галя взглянула на нее с таким негодованием, что пришлось подчиниться. Лену охватили нехорошие предчувствия, она никогда не жила с Галей под одной крышей, но и так было понятно, что они совсем разные и будут тянуть каждая в свою сторону. Подчиняться Галиному напору не хотелось. Лена успокаивала себя тем, что у Гали просто очень мало денег, жила она с продажи картиночек и картин, получала гроши, в сравнении с которыми переводческие деньги Лены были богатством. «Там посмотрим, — думала Лена, глядя из окна электрички на набитые народом пригородные платформы, неказистые деревянные будки, отдаленные, скрытые за неуклюжими

строениями леса, — возможно, придется существовать как в коммунальной квартире, каждая сама по себе». Но получилось лучше, чем она предполагала. Потребовались два дня и некоторые усилия с обеих сторон, чтобы приноровиться к пансионатской жизни и выработать свой распорядок.

Утром, до завтрака, Галя бежала «на этюды» — на дальнюю, поросшую болотными растениями речку. Для Лены болотная речка была Галиной выдумкой, фольклором; она вставала около девяти и, слегка умывшись, — краны текли, горячей воды не было — шла в столовую, где они встречались с Галей за общим столом. Народу в пансионате было немного, кормили по-домашнему и старались никого к ним не подсаживать. Когда-то этот пансионат был домом творчества, Галя помнила времена его расцвета, совпавшие с директорством его основателя. Основатель, чей портрет — чеховский интеллигент с бородкой и жилистыми трудовыми руками — до сих пор висел в вестибюле, поставил в каждой комнате по одной кровати, повесил над кроватями огромные доски для творческих упражнений, снабдил помещения бесчисленным количеством настольных ламп. Ныне комнаты уплотнили, расположив в них еще по одной кровати, лампы разошлись по рукам obsługi, облупившиеся неопрятные доски, лишившись своего предназначения, смотрелись весьма странно и были испещрены неприличными надписями. Из старого персонала остались повариха Светлана да сторожиха Лиза; Галя вела с ними нескончаемые разговоры о былом величии этого ныне полузаброшенного, на глазах разваливающегося здания. Несколько художников, приезжавших сюда по старой памяти, да два-три человека со стороны, прельстившихся недорогой по нынешним временам платой, составляли «контингент» пансионата. Хорошей стороной здешней жизни была ее неприязательность, можно было не следить за своей внешностью, не красить ногти, ходить в одном и том же платье по нескольку дней и с утра до вечера. Здесь можно было расслабиться, и Лена, которая все последнее время жила как натянутая пружина, наконец-то перевела дыхание, дала себе передышку.

За завтраком Галя рассказывала о «речных» впечатлениях, они каждый раз, в зависимости от погоды и Галиного настроения, были различны; затем в номере Лена рассматривала Галины рисунки, сделанные цветными карандашами с натуры, и поражалась. Действительно, все они изображали одно и то же место — «фольклорную» речку — и все были не похожи друг на друга. Лене приходило в голову сравнение с былиной — студенткой она увлекалась фольклором и прочитала огромное количество русских былин, записанных от разных сказителей. Сюжет в них вроде бы совпадал, но чем более яркой индивидуальностью обладал сказитель, тем более оригинальной выходила у него былина. Наверное, у Гали была яркая индивидуальность, пейзаж цвел и нигде не повторялся. Было странно, что ни этой Галиной талантливости, ни ее ума, ни фанатической работоспособности никто, как казалось Лене, не замечал и не ценил. Дожив до сорока лет, она оставалась одна, имела очень мало близких людей, жила только своим искусством.

После завтрака они с Галей совершали недалнюю прогулку в соседний санаторий. Дорога шла по узкой лесной тропе среди мрачноватых сосен, и Лене порой даже страшно становилось от ощущения замкнутости пространства; но, к ее облегчению, тропа скоро кончалась и начинались обычные прогулочные аллеи, по которым дефилировали пожилые обитатели санатория.

Назад возвращались почти бегом, так как Гале не терпелось скорее приступить к акварелям, а Лену поджидал дурацкий перевод. Впрочем, после первых же страниц работы Лена вошла в его псевдонаучную стилистику, поняла, что особых открытий для нее не предвидится, хотя книга предназначалась для таких, как она, родителей подростков, и переводила почти автоматически. Как ни пыталась она вписать в научно-популярные построения своего Мишуню, выходило только щемление сердца и ощущение, что, возможно, это и так, но только не с ее ребенком. У него все, все по-другому. Наваливалась тоска, она наклонялась над переводом, глотая слезы. Галя, сидевшая у окна, спиной к Лене, тут же оборачивалась и кричала грозно: «Сейчас же

перестань! Ты радоваться должна, а не плакать. Уже через месяц их увидишь». Лене становилось еще горше. Она боялась Америки и не хотела туда ехать. Сердце говорило, что дороги назад может и не быть. Здесь, на родине, кроме старых и больных родителей она оставляла что-то такое, чего не даст никакая Америка, никакая заграница; это что-то всегда оставалось в остатке, когда она начинала подводить баланс под свой отъезд, и логически никак не формулировалось. Чувство дома? Родных стен? Оставленных друзей? Брошенных могил? И это тоже, но и что-то еще, что даже ей, с ее филологическим образованием, трудно было обозначить словом.

Обедали около трех, когда в столовой уже никого не было; повариха Светлана, уходя домой, оставляла для них немудреную закуску и две тарелки второго. В жаркую погоду после обеда они оставались в номере, разговаривали, исповедовались друг другу, строили планы. Лене было совестно, такой богачкой она ощущала себя в сравнении с Галей. У той не было практически ничего — ни денег, ни семьи, ни любимого человека. К тому же, с некоторых пор она стала прибаливать, началось с легкой простуды, которая в результате давала о себе знать весь прошлый год. Но — удивительно — Галя не унывала, вечно ждала какого-то чуда, была постоянно влюблена, и даже не всегда в человека, а то в собаку, то в дерево, то в какой-то пейзаж, как сейчас в эту свою речку.

До отъезда в пансионат ей внезапно «засветило», как она выразилась. Позвонила женщина-искусствовед, увидевшая несколько Галиных акварелей в чьем-то доме — Галя много чего раздаривала знакомым. Искусствовед была с именем, Галя о ней слышала, что та помогает «непробивным и некассовым» художникам организовывать выставки. В разговоре с Галей она тоже намекнула на возможность выставки, попросила привезти побольше работ для ознакомления. Галя набила картинками свою выдавшую виды походную сумку, привезла в квартиру у метро «Измайловская». Теперь она нетерпеливо ждала ответа от искусствоведа; Лене приходилось ее останавливать, когда, не в силах вынести неопределенность ситуации, она

была готова бежать звонить в квартиру возле Измайловского метро. Тут уже Лена ее приструнивала: «Куда? Ты сдурела? Сами придут и сами попросят». Лена цитировала Булгакова, хотя многожды убеждалась в горьком несоответствии высказывания и действительности, но ей почему-то казалось, что с Галей должно быть именно так, как сказано Воландом.

Вечером, когда спадала африканская жара, накатившая на Москву и окрестности, они выходили прогуляться. Шли вдоль железнодорожного полотна, заходили в продуктовую лавку возле станции, Галя покупала себе два жареных пирожка с повидлом и бутылку минералки, Лена — пирожное и пакетик сока — это был их ужин. Порой за разговором, под шум мчащихся мимо поездов, незаметно добредали до соседней Тарасовки. Как-то возле станционной лавки их окликнул немолодой, но молодцеватого вида мужичок, в светлой просторной рубашке и синих джинсах.

— Куда спешите, красавицы? Я вас уже давно заприметил. Дачницы? Из Белокаменной?

Он обращался к ним обоим, но смотрел только на Лену, причем смотрел как-то странно, будто что-то хотел про нее узнать. Остановились поговорить. Мужичок жил здесь, в поселке, на собственной даче, звался Борисом Петровичем, жаловался на скуку и одиночество и усиленно звал в гости. Галя сказала, что обязательно как-нибудь выберутся, Лена молчала. Борис Петрович повернулся к ней:

— А вы, красавица, что ж молчите? У меня дача не обыкновенная, есть на что посмотреть. Так придете?

Пришлось и Лене кивнуть, а то бы он не отвязался, как сказала она Гале по пути в уже надоевшую Тарасовку.

Зарядили дожди, и лето из африканского переродилось в латиноамериканское в сезон дождей. В промежутках между очередным приступом дождя подруги гуляли по поселку и однажды снова наткнулись на Бориса Петровича, возвращавшегося со станции. Лене показалось, что он чуть навеселе, но направленный на нее взгляд уже не пугал, а веселил, она как бы со стороны наблюдала за его неуклюжими попытками заманить их на свою дачу.

— У меня, красавицы, столько всего вкусного — в Москве накупил на всякий случай. Вот вы бы, например, чего хотели к чаю? — обратился он к Лене.

— Шоколадных вафель, — сказала Лена мечтательно, шоколадные вафли были любимым лакомством ее детства.

— Вот в точку попали, я и шоколадных вафелек захватил, и конфеток, и винца грузинского, — тут он впервые посмотрел на Галю, видимо, заподозрив в ней пристрастие к алкоголю.

В этот раз дело дошло до того, что они по мокрой от дождя траве прошагали вместе с ним до конца поселковой улицы и из-за забора — как музейный экспонат — разглядели и впрямь довольно симпатичный деревянный теремок. Зайти внутрь подруги отказались, отговариваясь обедом в пансионате, обещали навеститься в другой раз.

Повариха Светлана еще не ушла, и в этот раз обед был горячий; Светлана подогрела на плитке жареную картошку с рыбой; на сладкое по знакомству подруги получили по сахарной плюшке, предназначенной для полдника. Чай пили вместе, Светлана подсела к их столику со стаканом и плюшкой. Она жила здесь, в поселке, и всех знала. На Галин вопрос о Борисе Петровиче ответила, что у того этой зимой умерла жена и он, как приехал в мае, все пил не переставая. Сейчас маленько оклемался.

— Неужели совсем одинокий? — спросила Галя, будто не ожидала, что и кроме нее есть на свете одинокие.

— Сын взрослый, невестка, внуку лет десять, ихняя дача в соседнем поселке, — ответила Светлана с готовностью. — Да чтой-то редко к отцу наезжают, своих делов по горлышко — невестка, слышно, больная, — Светлана понизила голос. — Гутарят, рак у нее. Она вздохнула, собрала крошки в ладонь и высыпала их в рот. Лена с Галей сидели не шевелясь, потом, поблагодарив повариху, поднялись к себе в номер.

Ночью у Гали был жар, ее лихорадило. Возможно, сказала их утренняя прогулка по холодному мокрому поселку. Лекарств они с собой не взяли, у Гали нашелся только вьетнамский бальзам, с которым она не разлучалась.

Утром Лена побежала в поселковую аптеку, но там не было ни термометра, ни аспирина упса, в действие которого она почему-то верила. В станционной лавке купила лимон и мед, испытанные противопростудные средства, и Галя немного повеселела, выпив горячего душистого чаю.

Она заснула, а Лене, несмотря на холодную и ветреную погоду, захотелось поскорее вырваться из душного номера. Она накинула куртку и вышла. Снова гулять по поселку не хотелось, у нее мелькнула мысль найти «фольклорную» речку, чье местоположение она знала по Галиным описаниям. Речка должна была находиться совсем близко от Тарасовки. Но она дошла уже до Тарасовки, а речки не было. Возле забора играл с мячом мальчик лет десяти, Лена к нему обратилась:

— Тут должна быть речка поблизости, не знаешь, где?

Мальчик посмотрел на нее как на прилетевшую из другой Галактики:

— Речка? Здесь речек нету. Это надо на электричку, через две остановки.

Он снова принялся за мяч, а Лена чуть не заплакала. Мимо по придорожной травке шел человек в широкой соломенной шляпе, за ним трусили семь или восемь коз, все белые, но разного размера — от огромного лохматого козлища до крохотного козленочка. Лена поежилась — ей почудилось дурное предзнаменование, и с колотящимся сердцем она повернула назад, так и не отыскав заколдованной речки.

Возле самого пансионата ей повстречался Борис Петрович, он уже издали ее приметил и радостно махал руками.

— Рад вас видеть, Леночка, а я как раз к вам — пригласить на чашку чая.

Лена начала было, что Галя больна и что придется отложить до другого раза, но Борис Петрович проявил такую настойчивость и неуступчивость, что ей пришлось согласиться. «Загляну на минутку, чтобы больше не приставал, тем более, что действительно хочется горячего чаю», — подумала продрогшая на резком ветру Лена.

Но до чая Борис Петрович повел Лену осматривать свой теремок. По скрипучей винтовой лестнице поднялись

на второй этаж. Здесь была аккуратная светлая спальня и просторная гостиная, обставленная стилизованной под трактир деревянной мебелью. На стенах красовались веселенькие цветочные натюрморты из тех, что продаются на распродажах в подземных переходах. Борис Петрович с гордостью показывал Лене свои хоромы. Везде было довольно прибрано, и только иногда взгляд натыкался на многодневную пыль на мебели и не выброшенные из пепельницы окурки.

Стеклянная небольшая терраса на первом этаже вела в сад, но Лена отказалась осматривать уголья и уселась за покрытый яркой скатертью круглый стол на террасе. Борис Петрович, поставив чайник на плиту, тоже присел к столу, широким жестом указывая на посудные полки над плитой:

— Не стесняйтесь, Леночка, хозяйничайте как дома.

Лена принялась отмывать липкие, со следами накипи чашки, в то время как хозяин доставал из шкафа конфеты и печенье. Шоколадных вафель не было, но был вафельный торт «Белочка», из-за дороговизны неохотно раскупаемый в местном магазине и, видимо, купленный Борисом Петровичем специально для «приема». Наконец появилось и грузинское вино, и хозяин провозгласил тост за знакомство. Лена пригубила, Борис Петрович залпом опорожнил чуть ли не всю кружку и принялся развлекать гостью.

Рассказчик он был неплохой, почти всю жизнь проработал в странах Африки, занимаясь снабжением советских миссий, любопытных историй ему было не занимать. Но все его истории были странно похожи и повествовали о том, как в очередной африканской стране сотрудникам нашего посольства грозила гибель от голода или дизентерии и как благодаря необыкновенной расторопности и российской сметливости Бориса Петровича все остались целы и невредимы.

Лена пригрелась, ее даже немного клонило в сон. Борис Петрович попросил разрешения закурить и затянулся, по-видимому, дорогой сигарой; глядя на гостью хитро прищуренным глазом, спросил:

— Почему вы здесь с подругой, Леночка? Где ваш муж, друг, короче — какой-нибудь мужчина, который, наверное, существует в вашей жизни?

Он наклонился вперед и пристально глядел на гостью. Лена стяхнула с себя оцепенение:

— Мои мужчины — муж и сын — сейчас в Америке. Я к ним скоро поеду.

Борис Петрович откинулся на спинку стула, перевел дыхание.

— Да, тяжело должно быть женщине без мужичка, — он остановился и с трудом, дрожащим голосом продолжил, — а уж мужику без хозяйки — и не говорите.

Он закрыл глаза рукой, лицо сразу стало красным и мокрым. Всклипывая, он говорил бессвязно, но Лена понимала.

— В декабре, как сейчас с вами, сидели — смотрели телевизор, спасти не удалось.

Лену переполняла жалость, но чем в сущности могла она ему помочь? Она поднялась.

— Спасибо за чай, мне пора.

Борис Петрович вскочил, красный, с расстроенным, мокрым лицом.

— Что ж, пора так пора. Не смею задерживать.

Когда Лена уже была на пороге, он схватил со стола неначатый торт «Белочка» и протянул ей:

— Для вас покупал — возьмите. Мне сладкое ни к чему, да и не люблю. Может, когда еще заглянете, а?

Лена кивнула. Он схватил ее руку, тихо шепнул:

— Такое иногда находит, такое, хоть волком вой. А вы, мне кажется, способны отогнать нечистую силу, у вас взгляд хороший.

Пока Лена с тортом в руках шла к калитке, Борис Петрович, в светлой, пузырящейся на ветру рубашке, смотрел ей вслед.

Галя уже не спала и работала, сидя у окна. Лицо у нее было потное и болезненное, глаза покраснели. Лена на нее набросилась:

— Галюша, зачем ты вскочила? У тебя температура!

Галя хмуро на нее посмотрела:

— Что ж мне помирать теперь? Я когда работаю, хотя бы отвлекаюсь от всякой гадости, которая лезет в голову.

Но минут через двадцать она все же забралась под одеяло — ее бил озноб. Лена набросила на нее все теплое, что было в номере, и она с трудом согрелась. Лежала с открытыми пустыми глазами, и легко было представить, какие гадкие, невеселые мысли владеют ею в эту минуту. «Чем ее утешить, ободрить?» — соображала Лена, сидя на своей койке возле двери, но ничего не шло в голову. Выждав, когда подруга заснет, Лена осторожно вынула у нее из сумочки телефонную книжку и крадучись вышла из номера. Она решила сама позвонить женщине-искусствоведу по поводу Галиных картин. Если ответ будет отрицательный, Лена примет удар на себя и Гале не придется страдать, ну а если положительный... собственно, только ради положительного ответа Лена и решилась на рискованную акцию. Ей так хотелось, чтобы Гале наконец зафартило.

В холле на вахте сидела сторожиха Лиза. Она приветливо кивнула Лене и вернулась к разгадыванию кроссвордов, по части которых была мастерицей. Лена зашла в маленькую темную комнатку, где днем обитала администрация, зажгла свет и подошла к телефону. Напротив нее располагалось широкое стеклянное окно во всю стену, оно выходило в неосвещенный сад; пока Лена с бьющимся сердцем набирала номер, деревья за окном трещали и плясали на ветру. «Ночью будет ураган», — подумала Лена и услышала в трубке приятный женский голос. Было похоже, что женщина на том конце провода улыбается.

— Ах, вы о Галине Гер, — произнесла женщина в трубке, — я несколько раз ей звонила, но безуспешно. Вы знаете, мне понравилось. Скажу больше, я нашла в ее листах что-то свое; мне кажется, я могла бы ей помочь с выставкой, а пока вот написала о ней статью.

Трясущейся рукой на вырванном из Галиной книжки листе записывала Лена название и номер журнала. Она столько хотела сказать о Гале, о ее таланте и одержимости, о ее житейской неустроенности и отсутствии женского счастья, но в нужный момент горло перехватил спазм и она промямлила что-то невразумительное, типа: «Большое

спасибо, пожалуйста». В трубке послышались гудки, Лена потушила свет и, пошатываясь, вышла из комнаты.

Галя лежала на кровати с открытыми глазами. Лена к ней кинулась:

— Галюша, победа! Она написала о тебе статью, обещает помочь с выставкой. Ей понравилось, понравилось!

Лена махала перед Галиным лицом телефонной книжкой. Выражение Галиного лица не менялось. Может, она не поняла?

— Галюша, — снова начала Лена, — я говорю об искусствоведше, я ей только что звонила...

Галя ее прервала.

— Я поняла, сколько можно говорить одно и то же?

По Галиному лицу текли слезы, она начала всхлипывать.

— Знаешь, мне, кажется, ничего уже этого не нужно, мне нужно только быть здоровой и чтобы ты не уезжала.

И они обе в голос заплакали.

Ночью Гале было очень плохо, она металась в жару. За окном шумел ливень и сверкала молния. Сторожиха Лиза спала в холле на задвинутой в угол старой лежанке, Лене с трудом удалось ее разбудить, ни лекарств, ни термометра у нее, естественно, не было; она посоветовала вызвать скорую, но потом сама же и отсоветовала, так как в такую погоду дорога в пансионат становилась непроезжей. Ждали утра. Обе были бледные, с воспаленными глазами. Лена собирала вещи — она решила, что оставлять Галю без медицинской помощи преступно, нужно было возвращаться в столицу. Незаметно прошли еще один день и еще одна ночь. Гале стало немного лучше, температура, видимо, спала. Лена вызвала по телефону такси из города, на слабые протесты больной сказала, что оплату проезда берет на себя как будущая «американская тетушка». Галя невесело улыбнулась.

Утро отъезда было тихим и нежным, как дыхание эльфа, не верилось, что эти деревья и эта трава еще сутки назад гнулись под ветром. Вещички были вынесены в холл, ждали машины. Краем уха Лена слушала, как вахтерша Лиза делилась с поварихой вчерашним происшествием:

— Слышь, Свет, твой сосед по участку вчера наведался, я уж спать собралась. А он в дверь как начал барабанить. «Что за притча?» — думаю, открыла, а он пьяный, еле языком ворочает: «Мне бы, — говорит, — Леночку». Леночку, видишь ли, ему, — повторила Лиза, и обе прыснули. Лена заслушалась и чуть не пропустила машину, которая, тяжело отдуваясь, подкатила к воротам пансионата.

Потом, уже в Америке, ее мучили сны. То ей мерещилась Галя, разметавшаяся в жару, то пьяный несчастный Борис Петрович, ищущий Леночку, но чаще всего «фольклорная» речка, которую, слава Богу, она так никогда и не видела, но которая во всей своей несказанной красе предстала перед ее спящими закрытыми глазами за минуту до пробуждения.

Февраль 2001

Звуки и шорохи

Посвящается И. А. Бунину

Не знаю, где вы живете, может, у вас ничего не слышно. У меня слышно все. Надо мной, на третьем этаже, живет русская пара, и если я до сих пор не начал говорить по-русски, то причина лишь в том, что уж слишком варварский язык. «Павяпавя бурягодуша». Вы что-нибудь понимаете? Я тоже. Это такая песня. Заунывная, как волчий вой. Хочется заткнуть уши, только бы не слышать. Голосок у нее ничего, приятный, немного слишком низкий. И вот моет посуду — я слышу по грохоту тарелок — и завывает: «Павяпавя бурягодуша». Прямо какой-то скифский язык. Я тогда, только чтобы отвлечься и не слышать, беру гитару и начинаю наигрывать «кантри». Это, я понимаю, музыка. А то... Вообще они ничего, довольно тихие. Вот девчонки с первого этажа — те орут на весь подъезд, смеются и скачут так, что дом трясется. Эти — нет. Утром я слышу, как она принимает душ. Я понимаю, что это она, по звукам — она всегда что-то мурлычет, слава богу, без слов. Я встаю в одно с ней время и прислушиваюсь. Не то чтобы мне очень интересно, просто выработалась привычка. Он встает минут через пятнадцать и тоже идет в ванную. По звуку понятно, что бреется. У нас одинаковое расположение комнат. Когда они завтракают, я тоже ем свой сэндвич и слышу их тихий разговор, не различая смысла, что-то вроде:

— Хоча...

— У-у...

Потом она прихорашивается, а он ее ждет и недоволен, я понимаю это по ворчливому тону. Иногда он не выдерживает и выбегает первым. Я вижу его из окна — он

невысокий, жилистый, у него уже заметная лысинка. Она выходит чуть погодя — очень стройная, легкая, со светлыми волосами. Волосы у нее роскошные — никогда таких не видел. Бывает, она закалывает их сзади в пучок. Так мне тоже нравится, хотя я бы на ее месте не закалывал. Вообще я, если вы поняли, настоящий американский «гай». Я культивирую в себе чисто американские черты — простоту и открытость, физическую крепость и умение за себя постоять. Вот уже год как я живу в этом городе один. Работаю в библиотеке на выдаче книг — книги мое пристрастие, как и игра на гитаре, наслаждаюсь полной свободой и изучаю жизнь. Возможно, через годик-другой я начну писать. Пока же записываю отдельные впечатления в специальную тетрадь. Что еще сказать о себе? Временами мне бывает очень не по себе, наваливается какая-то темнота. От нее я и сбежал в этот город, где солнце светит почти круглый год. От нее и от родичей, которые уже были готовы сдать меня в психушку. Теперь, когда я далеко, они из своего муравейника шлют мне пламенные приветы по телефону. Я не люблю их звонков. Меня от них прямо тошнит. Я бы предпочел, чтобы они не знали, где я обретаюсь. Да, забыл сказать, что меня зовут Родди. Имечко придумала моя мамаша, но мне оно подходит. Возвращаясь к русским, должен сказать, что я за ними наблюдаю. Временами мне кажется, что звуковая проницаемость моего жилища послана мне судьбой. Чтобы в будущем я написал хороший роман в русской традиции. Поживем — увидим. Пока же я отправляюсь на работу, минут через десять после русских.

На работе мне почитать не удается. Наша библиотека находится в центре города и пользуется популярностью. Не помню дня, чтобы я простаивал больше десяти минут. Очень много старичков — осваивают компьютеры последней модели, щедро расставленные в библиографическом отделе. Но берут и книжки; старички любят книжки про актрисок, с картинками. Молодежь предпочитает видеокассеты. Классику берут только студенты-гуманитарии. Сегодня одна девица сдала мне книжку испанской поэзии. Девица ощипанная, с прыщами по всему лицу. Но книжка мне понравилась. Я успел в нее заглянуть в те десять

минут покоя, которые мне даровала судьба. Книжка раскрылась прямо на романсе о короле Родриго, что меня очень заинтересовало, все же Родриго и Род — имена явно родственные. Меня позабавило, что этот Родриго потерял свое королевство из-за девицы. Девица звалась Лакава, и у нее были длинные золотистые волосы. Вот, — сказал я себе, — еще в средневековой Испании водились такие — с волосами, от них надо быть подальше, не то... Но тут подошел следующий посетитель.

Дома меня поразила абсолютная тишина наверху, у соседей. Обычно в это время они уже дома, и мы вместе, то есть одновременно, ужинаем. Теперь же я поужинал в одиночестве. Смотреть телевизор не хотелось, читать тоже, я решил пойти на тренажер. В соседнем подъезде нашего дома оборудован бесплатный спортивный зал с несколькими тренажерами. Я довольно регулярно разминаюсь на тренажере, впрочем, и у себя в квартире каждое утро отжимаюсь, а по воскресеньям бегаю на треке. Внешне я произвожу впечатление человека, озабоченного исключительно своими бицепсами. Я люблю заниматься один, в этот раз в спортзале было еще два человека. Я их знал — наш менеджер Пол и его помощник Фредди. Они разговаривали, не обращая на меня внимания. Не люблю прислушиваться к чужим разговорам, но тут я поневоле напрягся — они трепались по поводу русской. Фредди, убирая на лестнице, слышал громкие голоса из их квартиры, потом из дверей пулей вылетел встрепанный русский. В руках у него была вещевая походная сумка. Фредди видел в лестничное окно, как он быстрым шагом, не оглядываясь, пошел к воротам. Пол откомментировал это так: «Разбежались». Фредди с ним согласился. «Он ей не подходит, это сразу видно. Девчонка прикольная, а он уже в годах, лысый. Ей бы такого, как Родди», — и он впервые поглядел на меня и подмигнул. Оба захохотали. Я почувствовал, что заливаюсь краской. Не люблю, когда меня задевают. Проходя мимо Фредди, я положил ему руку на плечо и слегка придавил. Он пошатнулся. Я снял руку, кивнул обоим и вышел.

На улице было темно, горели дворовые фонари, освещающая островки снега на клумбах, в окнах виднелись елки.

Мне навстречу от ворот двигалась какая-то фигура. Я взгляделся и узнал русскую. Она шла как сомнамбула и даже не взглянула на меня. Мы одновременно вошли в подъезд — она впереди, я сзади. Открывая дверь, я прислушивался к звукам поворачивающегося в ее двери ключа. Войдя, я включил свет — она нет. Я присел к столу. Она наверху раздевалась, сбрасывала с себя пальто, платье. Я слышал, как она двигала стулья. Наверху заработал душ. «Павя-павя бурягодуша» — я узнал знакомый мотив. Она пела в полный голос. Я сидел и слушал, и мне не хотелось, чтобы она замолчала. Низкий бархатный голос звучал широко и свободно, и я подумал, что в этой песне живет грусть не одного человека, и даже вообще не человека, а всей безгласной природы. Замолкла вода — и она замолчала. Я слышал, как она подошла к столу, села и зарыдала. Минуту я сидел не шелохнувшись и думал. А потом быстро выскочил из квартиры. Я вбежал на третий этаж и позвонил. Открыла она не сразу. В комнате было темно, и лица ее я не видел — только волосы, их было столько, что хватило бы на двух женщин. Я что-то пробормотал про песню, мол, хотел бы подобрать мотив. Она меня не поняла, и так мы стояли довольно долго, пока она не захлопнула дверь.

На следующее утро я проснулся с ощущением счастья. В окно прямой наводкой било солнце. Зазвонил телефон. Я схватил трубку, как стодолларовую бумажку. Звонила мать. Неестественно радостным голосом она поздравляла меня с Рождеством и звала провести у них каникулы. Чего я там не видел — в Нью-Йорке? Я отказался. Настроение не пропало, но притормозило. Внутренний голос говорил: подожди, подожди, еще не сейчас, но скоро... Я оделся и вышел. Под дверью лежала записка. Я поднял и медленно, ужасно медленно ее раскрыл. Вот оно — то, чего я ждал и не ждал. Записка была от русской. Она звала меня к себе. Было написано: «Извините, я вчера вас не поняла. Приходите, когда хотите. Я целый день дома». Я хотел сейчас. Поднялся на третий этаж и позвонил.

Она открыла тотчас — видно, прислушивалась к звукам на лестнице. На ней было легкое светлое платье, волосы были туго стянуты в узел, лицо казалось бледным

и утомленным. Я огляделся — гостиная точно такая, как у меня, — подошел к столу и сел. Она спросила, хочу ли я чаю. У нее был ужасный русский акцент. Мы сидели, пили чай и разговаривали. Я рассказал о своих родичах в Нью-Йорке, о книгах, о гитаре. Услышав про гитару, она засмеялась: «Я под нее всегда танцую, мне нравятся мелодии». — «Одна или с мужем?» Она закашлялась, поставила чашку на стол и сказала очень четко, поглядев мне в глаза: «Роман мне не муж. Мы работаем с ним в одной лаборатории». Наверное, после этих слов мне следовало подойти к ней и обнять, но я не сделал этого, не знаю почему. Она все подливала мне очень крепкий русский чай и все спрашивала, спрашивала. Когда я назвал свой возраст, она с усмешкой проговорила: «Совсем еще малыш». Оказалось, что ей двадцать семь лет, на семь лет больше, чем мне. Конечно, я допустил промах, указав свой истинный возраст, но я не предполагал, что она старше. Я все время ждал: вот сейчас она ко мне подойдет, сейчас она коснется меня своими тонкими обнаженными руками. Но она не подошла.

Я провел у нее все утро. Если бы она меня не выставила, я бы не ушел до вечера. Узнал я о ней очень мало: зовут Ола, родилась на Волге, скучает по родным. Да, вот еще что: о песне она сказала, что это магическая, «приворотная» славянская песня. Слова, сказала она, там совсем непонятные: что-то про бурю и про дерево «калину», но она их поняла, только мне не скажет — мал еще.

Вернувшись домой, я раскрыл свою тетрадь и записал несколько вопросов к самому себе. Вот они:

Доволен ли я сегодняшним днем?

Чего бы я хотел?

Что нужно делать?

Я вышел от нее в состоянии сильного возбуждения, словно выпил вина. Сегодняшний день явно выбивался из череды будничных, и в этом смысле я был очень им доволен. Другое дело, что не все получилось так, как я хотел. Я задумался: а в самом деле, чего бы я хотел? Разговаривать с ней? Проводить с ней время? Заниматься сексом? В принципе я хотел и того, и другого, и третьего, и третьего, пожа-

луй, больше всего. Но это третье, как мне казалось, зависело целиком от нее. Так что мой ответ на последний вопрос «что делать?» гласил: действовать по обстоятельствам.

Я пробыл дома до вечера. Часов около семи наверху хлопнула дверь. Какая-то сила подняла меня с дивана и бросила вслед за русской. Я шел за ней по расчищенной от снега дорожке, в сумраке декабрьского вечера, сам не понимая, зачем мне это нужно. Через два квартала она свернула налево и, сделав несколько шагов, остановилась перед облупленным, странной формы зданием. Сверху доносилось пение, за стеклянной дверью стоял густой запах какого-то благовония. Сохраняя дистанцию, я поднялся за ней по трескучей лесенке на второй этаж. Она остановилась в дверях, я нахально пристроился за ее спиной, возле дверного косяка. Ярko горели свечи, виски сжимало от нестерпимого запаха, человек в длинном балахоне что-то внушал сидящим на полу слушателям. Он говорил по-английски, но смысл от меня ускользал. Наконец, все зашевелились и потянулись к двери. На меня нашло что-то вроде столбняка, когда я очнулся, рядом стояла Ола. Она глядела на меня немного растерянно. Мы вместе спустились с лестницы и вышли на улицу. Я перевел дыхание. Морозный зимний воздух — что может быть лучше? В сером дымчатом небе поблескивали звезды. «Merry Christmas», — сказала Ола, и только сейчас я осознал, что сегодня — канун Рождества.

Все последующие дни слились для меня в один радостный снежно-льдистый клубок. С утра мы ездили с Олой в горы кататься на горных лыжах. Такой бесстрашной девчонки я еще не видел. Казалось, она задалась целью сломать себе шею. Глядя на нее, я начинал понимать происхождение «Русской рулетки». В горах было морозно и ветрено, но солнце светило без усталости, и я еще раз убедился, что был прав, выбрав местом обитания этот город. Обычно в конце прогулки, уже идя с лыжами к машине, мы ловили на себе то приветливые, то оценивающие, а то и завистливые взгляды. Раскрасневшаяся, тоненькая Ола в черно-белом костюме и маленькой лыжной шапочке на стянутых в узел, отливающих золотом волосах и я — с красным пышным

помпоном, в красной же спортивной куртке, накинутой на атлетические плечи, — мы оба, я уверен, вызывали схожие мысли у встречаемых мужчин и женщин. «Отличная пара», — думали они. Но мы не были «парой» в полном смысле слова. Ола отскакивала, едва я к ней прикасался. Когда вечером мы пили чай в ее комнате и вдруг наступала тишина, тишина, в которой явственно были слышны бешеные удары моего сердца, она вставала со своего кресла, подходила ко мне, клала мне руку на голову и медленно гладила мои волосы. Иногда она что-то приговаривала на своем языке, типа «нитиво-нитиво», будто от этого мне было легче. Мне представлялось тогда, что она колдунья, опоившая меня каким-то зельем. Я уже понимал, что отравлен, и самое печальное, отравлен один. Она была Айзольдой Белокурой из старинной книжки, прочитанной мною в детстве, но я не был Тристаном. В той книжке они вместе выпили любовный напиток. В моем же случае, похоже, я его выпил один.

Был ли причиной Роман? О нем она говорила с ненавистью. Оказывается, в тот день, когда все завязалось, она получила на работе письмо, из которого узнала, что Роман женат и его жена ждет ребенка. Письмо было из соседнего города, от его жены, по имени Марина. Ола не могла спокойно говорить о Романи, начинала задыхаться, я ее успокаивал. Приносил гитару, пел «кантри», веселые, незамысловатые песни. Она танцевала, это были не американские танцы, но и не русские. Она просто двигалась под музыку, которая ей нравилась, и движения были какие-то очень естественные, как та ее песня. Кстати, о песне: Ола сказала, что пению ее научила мама, что мама у нее из крестьян, но очень умная и толковая, к тому же красавица и певунья. В эти наши вечера Ола не пела, но много рассказывала — о детстве, о Волге, о родителях и друзьях. Приходя домой, я кое-что записывал в свою тетрадь и однажды записал такое: «Новый год для русских — особый праздник. Они ждут в новогоднюю ночь всяких чудес и верят, что их желания сбудутся. Аминь».

Новый год мы договорились встретить вместе. Я пригласил Олу к себе. Купил елку. Возле дома, у мусорных баков, валялось много очень приличных елок — американцы,

отметив Рождество, выбрасывали рождественское дерево на помойку. Был соблазн подхватить один такой экземпляр и поставить у себя, тем более что елочные базары давно кончились. Но я все же предпочел хоть искусственное, но свежее деревце. Украсил его огоньками и красочными конфетами из русского магазина. В том же магазине купил красной икры, ветчины и сыра, а в винном неподалеку от дома — бутылку кьянти и шампанское. Нагруженный покупками, пересекая двор, я столкнулся с малюткой Фредди. Мне показалось, он поглядел на меня с усмешкой, впрочем, было уже темно и я мог ошибиться.

Ола пришла, как обещала, к одиннадцати. На ней было что-то золотисто-шуршащее, под цвет волос. Она была бесшабашно весела. Выпила два бокала кьянти — вино я покупал по ее совету, — начала смеяться и поддразнивать меня. Я включил музыку, притушил свет, мы стали танцевать, в полутьме, при зажженной елке. Я ее обнял, она не сопротивлялась, только сказала «подожди». Мы сели к столу, я не мог ни пить, ни есть, в висках у меня стучало. В двенадцать часов подняли бокалы с шампанским. Я посмотрел на Олу и увидел, как меняется ее лицо, она к чему-то прислушивалась. Тут и я явственно услышал звонки телефона, доносившиеся сверху, из ее квартиры. Не выпив шампанского, она побежала к двери. Я схватил ее за руку, наверное, это было больно, она вскрикнула, я выпустил ее, и она стала подниматься по ступенькам. Я остался стоять с бокалом в руках. Я слышал, как она подбежала к телефону, к тому времени звонки затихли. Я умолял небо, чтобы больше они не повторялись. Но они повторились, и Ола взяла трубку. Я знал, кто звонит, еще до того, как услышал ее голос, произносящий русские слова. А потом раздались шаги на лестнице. Это был он, Роман. Я ждал, что сейчас она его прогонит. Она ненавидит его, он сломал ей жизнь, обманул. Она не может забыть обо мне — ведь сегодня наш день, сегодня — я был уверен — должна была быть наша ночь. Всего полчаса назад она сказала мне «подожди», и я ждал, ждал. Он вошел в распахнутую дверь, и звуки замерли. Почему такая тишина? Почему она не кричит, не дает ему пощечины? Что они делают там, в ее квартире?

Я бросил на пол бокал — шампанское полилось по полу — и через секунду был у ее полураскрытой двери. Они обнимались. С минуту я стоял молча, а потом дико закричал и бросился на Романа. Мною овладела ярость, сознание полностью отключилось, мозг обволокла темнота. Не понимаю, как я его не убил. Из квартир повывлезли соседи, меня скрутили и вызвали полицию. Новогоднюю ночь я провел в участке...

С Олой я встретился случайно, через несколько месяцев после той ночи. Я давно уже жил на другой квартире, старая мне разонравилась. Поменять город я не решился, город мне нравился, хотя уже не так сильно, как раньше. В эти несколько месяцев я начал изучать русский язык, купил самоучитель, обложился словарями. Нашел в нашей библиотеке сборник народных русских песен, внимательно его просмотрел. Мне все казалось, что я чего-то не понимаю, я надеялся, что песня поможет мне разобраться в происшедшем. Песен про калину в сборнике было несколько. Той песни там не было.

Как-то, возвращаясь с работы ярким весенним вечером, я увидел впереди знакомую фигуру и прибавил шагу. Это была она — в легком синем берете на светлых волосах, в коротеньком синем пальтишке, по-девчоночьи тоненькая и стройная. Я ее окликнул — она оглянулась. Она мало изменилась, только морщинка пролегла между бровей. Она взглянула на меня со страхом, я ей улыбнулся. «Ола, — сказал я, — объясни мне, я не понимаю, почему ты выбрала Романа». Напряжение в ее лице спало, она тоже улыбнулась и прошептала: «Не скажу» — и убежала. К тому времени я уже начал писать роман, главная героиня сильно напоминала Олу, но внутренние двигатели ее поведения от меня ускользали. В своей тетради в тот вечер я написал: «Загадочная русская душа».

Я собираюсь поехать в Россию; может быть, там для меня что-то прояснится. К тому же, там легче будет отыскать песню про калину. Я верю, что в ней вся разгадка.

Декабрь 2000

На реках вавилонских

«На реце вавилонсте мы седом и плакахом...». Слова запомнились со студенческих лет. Тогда, на первом курсе, Лариса случайно наткнулась в учебнике старославянского языка на этот удивительный псалом и очень быстро его заучила. Потом он вспоминался в самые горькие минуты жизни. И всегда думалось, какие же предусмотрительные были предки, что сложили эти стихи несколько тысячелетий назад и ни одно мгновение не было для них пустым. Эти слова все время жили, помогали, давая силы и веру, а иногда просто облегчая страдания. Где они — вавилонские реки? Там, где когда-то царствовал Хаммурапи, а сегодня Саддам Хусейн, где в древности располагались крепкие стенами Сидон и Тир, а нынче Тегеран и Багдад? Ей, Ларисе, сейчас гораздо легче представить себе эти вавилонские реки, даже географически. Из России три года скачи — никуда не доскачешь, как из сказочного гоголевского города. А из Америки — все близко. Сел в самолет и только успел прикрыть глаза, как зажигается лампочка «пристегните ремни» и голос стюардессы объявляет, что самолет приземляется на земле Месопотамии, и ты видишь в иллюминаторе, как неотвратно приближается к тебе эта земля с ее холмами и реками. «На реце вавилонсте мы седом и плакахом...».

Она, Лариса, тогда первокурсница, проходила практику в школе. На урок перед новогодними каникулами никто не пришел. Она этому не удивилась. Понятно, что школьники использовали возможность сбежать с урока практикантки. Повернулась, чтобы взять сумку, и, когда выпрямилась, прямо перед собой вдруг увидела ученика, одиноко сидящего на передней парте.

— Ты что, Юра?

Маленький невзрачный паренек, сын школьной уборщицы Раи, он сидел нахохлившись, но смотрел ей прямо в глаза.

— Я на урок, — он поперхнулся, голос ломался, и сквозь фальцет пробивались басовые нотки, — я на урок пришел.

— Ты хочешь заниматься? Прекрасно, — Лариса быстро взглянула на паренька. Что-то было в нем хорошее, чистое.

— Знаешь, у нас сегодня особый урок, я прочту тебе древнее песнопение, — ей не хотелось произносить «псалом», — я недавно его выучила и прочитаю тебе первому, хорошо?

Юра кивнул и покраснел. А она нараспев начала: «На реце вавилонсте мы седом и плакахом», и прочитала до конца, стих за стихом, на едином дыхании, прерывающимся голосом.

Когда закончила, чуть не расплакалась. Слово «евреи» в те годы не употреблялось, про своих старались не упоминать, а про чужих говорили «израильские агрессоры». Чтение библейского псалма в школе было ужасной крамолрой и грозило карами, но нервничала она не от страха, просто красота и сила этих слов волновали ее.

— Понравилось тебе? — спросила она шепотом, слова произносились с трудом. Юра попробовал было ответить, что-то заклокотало у него в горле, и он, безнадежно махнув рукой, просто кивнул, не сводя с нее глаз и снова заливаясь краской. И она отпустила его домой, не объяснив ни единого слова в явно непонятном ему сюжете, к тому же прочитанном на церковнославянском языке. Да, давненько это было, много вод утекло в мировых реках, в реке Москве и в Гудзоне, и в тех, бывших вавилонских. Сколько раз сидела она, Лариса, в своей маленькой одинокой квартирке на 27-м этаже в Манхэттене, смотрела из окна на людскую паутину внизу, сердце сжималось от нехороших предчувствий и комок подступал к горлу. Отчего бы это? «На реце вавилонсте мы седом и плакахом...».

Юра не ушел из ее жизни. После школы попал он в армию и оттуда писал ей длинные корявые письма с описанием

сибирских морозов и зверских повадок окружающих. Она отвечала, понимая, что заменяет ему несуществующую невесту, подбадривала, давала советы, иногда допускала какое-нибудь нежное выражение, например, «дорогой мой мальчик». В одном из писем Юра как бы мимоходом спрашивал, о какой реке говорилось в том древнем стихе. Она подивилась, что он понял про реку, и ответила, что речь шла о реках Древней Вавилонии. Юра написал, что в политкабинете у них висит карта мира и что вавилонскими реками, по его мнению, могут быть Тигр и Евфрат. В ответном письме Лариса поощряла его интерес к географии, поясняя, что это увлечение поможет ему выжить среди читинских выюг и окружающего беспредела. Больше о вавилонских реках они не вспоминали.

Из армии Юра вернулся по-настоящему в нее влюбленный. Позвонил ей с вокзала, они назначили встречу, на следующий день долго гуляли по Страстному бульвару. Юра, столкнувшись в армии с чудовищными вещами, в юном негодовании клеймил российскую действительность. Он, русский паренек, строил планы эмиграции в Израиль. По его словам, получить подложные документы о еврейской национальности было несложным делом. Лариса поражалась иронии судьбы: жизнь довела россиян до того, что они за деньги присваивают себе принадлежность к вечно гонимой и униженной в их стране нации. Она успокаивала Юру, увещевала, остужала его пыл точно так, как делала это когда-то в своих письмах в армию. Ничего, мол, перемелется, мука будет. Мука́ или му́ка? — спрашивала себя порой. Сама она после безнадежных попыток поступить в аспирантуру или устроиться в институт застряла в школе. Там за ней старомодно ухаживал физик Михаил Яковлевич.

Жили вдвоем с мамой в малогабаритной хрущевке в Медведкове, надеяться, в сущности, было не на что. Иногда мама говорила с задором: «Может, в Америку махнем?» В страшной и непонятной Америке еще с послевоенных времен жил мамин дальний родственник. Но какая Америка? И почему Америка? И неужели там должно быть лучше, чем здесь? Для Ларисы единственной родной территорией

на свете оставался русский язык, язык великой культуры, с его пушкинской важностью, тургеневской нежностью, чеховской сдержанностью и буинской крепостью. Куда ей от него? Где и кому она может пригодиться этим своим служением русскому языку? Идя по школьному коридору, тоненькая, не по годам юная, Лариса часто встречала Юрину маму. Та, видя Ларису, бросала тряпку в ведро и приветливо безмолвно улыбалась. Лариса поражалась сходству матери и сына — Рая смотрела на нее таким же долгим и неотрывным взглядом, что и Юра. Однажды, когда Лариса пришла в школу в чем-то особенно светлом и нарядном, Рая, застыв на мгновение со своей неизменной тряпкой в руках, произнесла: «Вы, Лариса Ефимовна, у нас как солнышко». Слова эти потом долго согревали Ларису.

С Юрой они встречались довольно часто, и Лариса с материнской настойчивостью советовала ему поскорее жениться. К этому времени Юра уже где-то работал, посещал курсы иностранных языков — его почему-то привлек персидский, — об эмиграции в Израиль по подложным документам речи уже не заводил. Во время прогулок она постоянно ловила на себе его пристальный и какой-то восхищенный взгляд. Словно он ею любовался, смотрел — и не мог наглядеться. Неужели это было возможно? Она же старше! Лет на пять, это точно, а, может, и на шесть. Он же ее бывший ученик! Она так и представляет его всем знакомым, встречающимся в их прогулках по московским бульварам. «Знакомьтесь, — говорит она, не глядя ни на Юру, ни на озаренные понимающей ухмылкой лица, — это мой школьный ученик». Ухмылки гаснут, Юра мгновенно и ненадолго краснеет, и они идут дальше, не зная, куда девать руки, и стараясь случайно не коснуться друг друга. Она настойчиво советует Юре жениться, жениться как можно скорее. Тогда пройдет это твое ожесточение, это неприятие жизни. Тебе, Юрочка, нужна женщина. В этом месте они оба краснеют, и она ловит себя на том, что некоторые слова в его присутствии звучат как-то странно, даже двусмысленно, даже неприлично. Прохожие окидывают их взглядами. Ей хочется провалиться сквозь землю, когда это случается. Ведь наверняка они, эти гнусные циники, думают, что вот

какая идет — и про себя не решается она произнести это ужасное слово — подхватила себе младенца в кавалеры! Искоса смотрит она на своего младенца-кавалера, чьи широкие плечи за пределами видимости.

За эти годы Юра вытянулся, возмужал, отрастил светлые усы и небольшую бородку, его неяркие черты приобрели определенность и даже выразительность. «Что-то есть в нем от русского царевича, каким он рисуется в сказках», — думает она после их прогулки. Вспоминает его пристальный, лучистый взгляд, который, бывает, ударяет по ней как разряд тока. Сегодня, когда они прощались, он долго не отпускал ее руку, а она, осмелев, поцеловала его в щеку и тут же убежала, не оглядываясь. Интересно, какое у него было лицо? Дома мама смотрела на нее подозрительно, все время что-то спрашивала, а она, Лариса, отвечала невпопад и почему-то сердилась. Почему мама думает, что у нее роман? Никакого романа. Нельзя же жениться на своей учительнице или выйти за своего ученика. Замужество требует чего-то другого, чего-то совсем другого. И на ее внутренние сомнения внутренний же голос, но с мамиными нравоучительными интонациями, настойчиво повторяет: «Это же русский мальчик, из очень простой семьи. У него же, Ларочка, нет образования. К тому же, прости меня, он ведь, кажется, младше... Что у тебя, Ларуся, может быть с ним общего?» Под конец голос звучит насмешливо, словно предполагает, что «общее» у них может быть только смешным и нелепым. А общее, между тем, было, — была радость пребывания вдвоем, стихийная, бессознательная радость, светлый настрой и умиротворенность, овладевающие ими в присутствии друг друга. Но все это Лариса додумывала скороговоркой, чужой голос явно брал верх над ее собственными детскими рассуждениями.

Через небольшое время Лариса вышла замуж за Мишу, хорошего, достойного человека, лет на семь старше нее, преподававшего физику в их школе, но мнившего себя чуть ли не соперником Эйнштейна. Прежде равномерно-тягучая жизнь закружилась и захороводалась в незнакомых и не освоенных до того ритмах. Миша думал и говорил только об отъезде. Только там, на Западе, сможет он

осуществиться как ученый, ниспровергатель устоявшихся мнений. Лариса с мамой оказались бессильны перед его натиском. Не успела Лариса оглянуться, как увидела себя в небольшой квартирке на 27-м этаже в Манхэттене.

Как перенес Юра ее замужество и отъезд? По-видимому, тяжело. Первое письмо от него Лариса получила только спустя года три после своего отъезда. Юра писал по-прежнему коряво и длинно. Сразу после замужества и отбытия Ларисы он тоже женился и тоже уехал. Брак его оказался недолгим и распался, лишь только молодожены прибыли на новое место жительства. Местожительством же оказался, к удивлению Ларисы, Тегеран. Юра подвизался в российском посольстве на какой-то мелкой должности. Знание языка давало ему некоторые преимущества, но не такие большие. Во всяком случае, молодая жена его, быстро разобравшись, что к чему, ушла от него к вдовому интенданту. Юра не сообщал даже имени своей изменницы-жены, ничего не писал ни об ее внешности, ни о характере. Читая письмо, Лариса ловила себя на мысли, что ей были бы интересны эти подробности, но их, увы, не было. Зато Юра писал, как нравится ему город, как по душе ему местные жители с их вроде бы непривычным укладом, как подходит ему климат. Лариса поджимала губу — ей казалось, что Юра пишет все это в пику ей. В письме к коллеге-учительнице — явно ставшем ему известным через уборщицу Раю — писала Лариса о своих злоключениях на чужой сторонке, на чужих реках, что текут не медом и молоком и совсем не в кисельных берегах.

Поначалу все ей здесь не нравилось, все было не мило — скучала, грустила, болела, впадала в депрессию, не ела, не спала, лезла на стену, потом понемногу пришла в себя и попробовала приспособиться к этой жизни. Муж давно уже работал, как положено выходцу из России, в компьютерной области, и, как казалось, забыл свои научные построения и амбиции. Мама жила отдельно от них в субсидальном доме на полном и бесплатном медицинском обслуживании; выработала себе распорядок с ежедневным сидением в скверике, общением с русской пожилой парой, вечерним звонком Ларисе... После целой полосы неудач и срывов,

попыток заняться чем угодно и унижения от выполняемой ею чужой неинтересной работы, Лариса неожиданно нашла работу по специальности. Преподавать в чужой стране свой родной язык, нести иностранцам культуру, тебе близкую и кажущуюся драгоценной, — это ли не счастье?

Но счастья все же не было. То ли от того, что слишком много сил было потрачено на поиски, то ли от того, что такой уж был у нее характер, то ли от отсутствия детей, то ли от нехватки любви... Не то чтобы она не любила Мишу, просто она относилась к нему вполне спокойно, никогда не билось у нее сердце от его присутствия. К тому же, он как бы не оправдал связанных с ним надежд. Сколько разговоров было, что в России нет ему ходу, что на Западе он себя покажет, что его теории еще пробьют себе дорогу. Все оказалось фантазией или демагогией, Ларисе не хотелось даже думать об этом. И вот теперь в Юрином письме с корявыми, неправильно построенными фразами она читала, что человек нашел себя, свое место под солнцем, свой образ жизни.

Правда, это было уже в его втором письме, полученном года через два после первого. В нем Юра сообщал, что ушел из посольства и женился на местной жительнице-персиянке, по имени Лали. «Лали», — читала Лариса и внутренне ликовала. Ей нравилось, что у Юриной персиянки имя начиналось с той же буквы, что и у нее, Ларисы. Она всегда придавала большое значение звукам и созвучиям. И теперь вспоминала, как в детстве на вопрос «как тебя зовут, девочка?» отвечала, картавя: «Лала». Чем не Лали? Как же он женился на мусульманке? — вертелось в голове. Они же выдают своих дочек только за правверных. Неужели принял ислам, стал мусульманином? В письме об этом ничего не было. Юра писал только, что ему нравятся обычаи и религия мусульман, что он нашел себе простую работу, которая кормит его и его семью, что у них с Лали растет дочка.

Следующее письмо пришло года через три. К тому времени Лариса жила уже одна на 27-м этаже Манхэттенского небоскреба. В один год умерли у нее мать и муж. Мама умерла в одночасье на фоне спокойной, размеренной жизни. Миша умирал мучительно долго и тяжело: безна-

дежный диагноз поставили ему слишком поздно. Тут-то Лариса поняла, что никуда не делась его мечта о высокой науке, его «безумная» теория, опровергающая современные физические представления, продолжала в нем бродить. Уже прикованный к постели, чертил он в тетради какие-то цифры и формулы, произносил в полубреду имя Эйнштейна и еще какие-то имена, среди которых Ларисе слышалось имя российского академика, закрывшего Мише дорогу в науку всего лишь одной фразой: «Этого, любезный, быть не может». Бедный Миша! Здесь, в Америке, он не знал, куда толкнуться со своими спорными идеями, плохим английским, отсутствием поддержки. Ради нее, в сущности, ради Ларисы, пошел на постылую компьютерную работу. Только по ночам открывал свою заветную тетрадь. Уже после его смерти показала Лариса эту тетрадь случайно забредшему к ней «кузену», сыну мамино дальнего родственника, успешному математику. Тот пролистал тетрадь, наткнулся на какую-то формулу, ошарашено взглянул на Ларису и попросил разрешения взять тетрадь домой для более детального ознакомления. Конечно, Лариса разрешила.

Вообще в эти недели и месяцы, следовавшие за Мишиной смертью, у нее было ощущение, что все происходит помимо нее, в каком-то ином измерении. Словно выбыла она из числа живущих, что было для нее логически вполне закономерно. Она, Лариса, жить одна не могла — просто была не в состоянии, — но оказалась одна. Мир вокруг был чужой и враждебный, выживал в нем только сильнейший, наделенный когтями, клыками, самомнением, волей, наконец. Ничего похожего в Ларисиним арсенале не было. Она была слабая и лишилась последней подпорки в лице мамы и мужа. На что можно было надеяться в заранее проигранной ситуации? Вначале она слегка сопротивлялась, делала слабые движения во спасение, звонила маминему дальнему родственнику, искала каких-то знакомых... Результата не было, родственник благополучно отсиделся, не придя даже на похороны ни мамы, ни Миши, знакомые все как один болели, были в отъезде, занимались срочной работой.

Спасение пришло неожиданно и с неожиданной стороны. Помогла Ларисе выжить престарелая американка,

соседка, по имени Вики. Корни со стороны деда были у нее русские, но русского языка, естественно, она не знала, общались на английском. Вечерами стала Лариса приходить к одинокой Вики, жившей на 28-м этаже того же дома, и вместе они пили чай то с ромом, то с ликером, а то и с чем покрепче и говорили, говорили... Вики рассказывала Ларисе про свою молодость, проведенную в Лос-Анджелесе, в голливудских массовках, про своих мужей — на фотографиях они смотрелись голливудскими героями, про своих непутевых детей — все ее три сына попали каждый в свою историю, двое сидели в тюрьме, младший женился на турчанке и жил в Стамбуле. Вики помогала Ларисе и житейскими советами, и делом — навещала, когда у той поднялось давление, сидела у постели, шутила, приносила бутылочку «для настроения».

Постепенно Лариса выходила из своего оцепенения, к ней возвращалась жизнь. Как раз в это время и пришло письмо от Юры. В нем говорилось, что их с Лали дочка, по имени Шамнам, оказалась на редкость способной девочкой. Она хорошо играет на флейте, поет и танцует. Юре хотелось поощрить юный талант, показать ей мир, между строк читалось — показать ее миру. Косноязычно и невразумительно Юра осведомлялся, может ли Лариса приютить на неделю его жену и дочь, намеревающихся прибыть в Нью-Йорк в этом сентябре. Лариса принесла письмо Вики, и они вместе строили планы приема гостей, куда повести, что показать. У сына Вики в Стамбуле тоже росла дочка, но Вики не видела даже ее фотографий. Юрина Шамнам заранее рисовалась обеим женщинам чем-то большим, чем просто незнакомая мусульманская девочка. В голове Ларисы роились «восточные» ассоциации — княжна Тамара, черкешенка Бэла. Она радовалась приезду гостей и немножко его боялась. Было странно, почему Юра не едет сам, а отправляет одних женщин (он писал, что загружен работой). Какие они — эти женщины Востока? А вдруг ей, Ларисе, будет с ними тяжело и неудобно?

Но оказалось не так. Особенно поразила Ларису девочка. Показалось Ларисе, что и мать, молчаливая,

закутанная в цветной платок, медленная в движениях Лали с некоторым удивлением смотрит на свою дочь, словно не уверенная, ее ли это дитя. Девочка была темноволосая и темнокожая — в мать, но глаза у нее были голубые, их пристальный взгляд и особая лучистость в минуты душевного подъема тотчас напомнили Ларисе Юру. Девочка ни минуты не стояла на месте, она бегала, садилась на корточки, кувыркалась, делала танцевальные движения и говорила не закрывая рта. Слова были разные — персидские, английские, иногда русские. Шамнам была в том возрасте, когда ребенок легко и играючи усваивает языки; ей, рожденной от родителей разных национальностей, на роду было написано «вавилонское смешение» языков.

Лали вполне прилично владела английским. Несмотря на облик традиционной восточной женщины, на свою полукадру, тихость и вкрадчивость повадки, она не дичилась и не робела, была проста в обращении; самой большой ее заботой было, как она говорила, не дать Шамнам сесть Ларисе на голову. Действительно, в самом начале, при первом знакомстве, Ларисе показалось, что девочка ужасно невоспитанна, не обучена элементарным навыкам поведения. Потом она не то чтобы примирилась с этим — ей не нравилось, что Шамнам громко кричит за столом, вскакивает и бегаёт по комнате во время еды, истошно вопит, когда мать причёсывает ее густые курчавые волосы, — но все эти детали отошли на задний план перед главным: девочка действительно была талантлива.

В один из вечеров был устроен концерт — своеобразные смотрины маленькой артистки. Лариса, Вики и Лали разместились в креслах по углам комнаты, освещенной широкими — во всю стену — окнами. Зажгли торшер, разметали по полу цветные подушки. Пространство между ними принадлежало Шамнам. С уморительным кокетством, блестя синими хрусталинками-глазами, танцевала она замысловатый восточный танец, аккомпанируя себе на бубне. Бубен сменила флейта. И тут уже все взрослые вовлеклись в движение, так завораживающе и волшебны были странные звуки флейты, с таким недетским вдохновением играла сидящая на полу флейтистка.

Лариса, Вики и Лали двигались по комнате как околдованные. Флейта резко оборвала извив мелодии, девочка вышла на середину комнаты и запела. Лариса не сразу поняла, что поет она на русском языке, слова звучали непривычно, с мягкими согласными. Только спустя минуту узнала она песню. То была «Волга-реченька». «Мил уехал, не простился — знать, любовь не дорога», — пела Шамнам сильным, чистым голосом, и вспоминалось Ларисе, что ведь и она не простилась с Юрой перед своим отъездом — закрутилась, забегалась, не до того было... Как удалось Юре обучить дочку и этой проникновенной интонации, и этой недетской печали, исходящей от песни? Как сумела дочка, рожденная на берегах чужих рек, передать тоску, обращенную к самой что ни на есть русской речке?

После импровизированного концерта растроганная Вики громко объявила, что чудо-ребенок вполне достоин Голливуда, что Шамнам должна сниматься в кино и что ей, Вики, необходимо порыться в старых адресах, а вдруг кто-то еще под седлом из прежних рысаков. Кроме того, ей хочется сделать артистке подарок на память. Не отпустит ли Лали с ней девочку, чтобы Шамнам сама выбрала себе, что ей приглянется. Решили, что за день до отъезда Вики с Шамнам сходят в близлежащий Торговый центр за подарком.

Все эти дни мать и дочь осматривали огромный город, бегали по его музеям и паркам; в свободное от работы время Лариса сопровождала их — и новым, свежим взглядом оглядывала мегаполис, так не понравившийся ей при первом соприкосновении. Сейчас, в эти солнечно-ясные, не слишком жаркие сентябрьские дни, он ей казался фантастически прекрасным. Те же ощущения читались на лицах персиянок. Шамнам не пропускала ничего занимательного, задавала несчетное количество вопросов. Почему дядя в коляске? Зачем автобус его ждет? Эти черные люди — тоже американцы? Лариса покупала ей огромные американские бутерброды, кока-колу и мороженое в громадных стаканах. Девочка с удовольствием уплетала гамбургеры и мороженое, но при этом неизменно спрашивала у матери, скоро ли та отпустит ее на прогулку с Вики. Прогулка

с Вики была для нее, судя по всему, намного привлекательнее, чем посещение всех вместе взятых нью-йоркских музеев и парков. То ли Вики сумела польстить ее артистическому тщеславию, то ли так привлекал обещанный подарок...

Накануне отъезда девочка почти не спала, с раннего утра уже была на ногах и беспокоилась, не забудет ли Вики об их прогулке. Нет, не забыла. В лихо загнутой соломенной шляпке, нитяных белых перчатках, с аккуратно подведенными бровями и нарумяненными щечками позвонила она в дверь ровно в назначенное время. Ничто не дрогнуло в сердце Ларисы, когда девочка махнула ей рукой на прощанье. Лали шепнула что-то дочери на ухо на своем языке, затем, обернувшись к Вики, попросила не задерживаться — впереди у них с дочкой тяжелый день. Вики только улыбнулась — цель их прогулки находилась прямо перед окнами — высоченный небоскреб Торгового центра. Почему молчало материнское сердце? Почему не терзали его предчувствия? Почему все катастрофы оказываются для нас, людей, громом среди ясного неба?

Лариса и Лали, прильнув к стеклу, следили, как две крошечные фигурки, одна побольше, другая поменьше, взявшись за руки, направились к зданию небоскреба. Лариса, обладавшая хорошим зрением, с трудом различала Вики с девочкой в довольно густой толпе, окружавшей Торговый центр. Она скорее подумала, чем увидела, что две движущиеся точки наконец достигли входа в огромный небоскреб и были проглочены его чревом.

Лали пошла собирать вещи, а Лариса задержалась у окна. В эти-то секунды и произошел взрыв. Ларисе показалось, что рушится небо. Все последующие мгновения и часы она жила с ощущением, что присутствует при конце света, что наступили последние времена, предсказанные в Откровении Иоанна. Вместе с обезумевшей Лали они куда-то бежали, потом долго ждали, потом снова бежали. В голове мелькали обрывки мыслей: «Почему не я, не Лали, почему именно они, девочка и Вики?» И еще: «Неужели этот ужас когда-нибудь кончится?» Косвенным зрением видела она лицо персиянки, та что-то шептала, прикрыв

веки, наверное, молилась. И представилось Ларисе, как в другом каком-то измерении — за бескрайними морями, горами и долинами, на древнем месопотамском берегу — одинокий Юра в бессильном отчаянии простирает руки к небу и плачет, и плачет на реках вавилонских.

20 сентября 2001

Казни египетские

Когда Сандро вошел, Джуди пила чай. Он только вчера прилетел из Италии и не успел привыкнуть к ее распорядку, дивился ему. Ему казалось, что Джуди пьет чай вместо завтрака, обеда и ужина. Заедала она его чем-то неприглядным, «старушечьим»: сухим печеньем, изюмчиком, орешками в сахаре... Все это Сандро не считал едой, тем более вкусной. Сейчас он вернулся с прогулки по заснеженному, какому-то игрушечному городу, застроенному картонными домиками с террасами, во время которой тщетно пытался найти что-нибудь съедобное, на его итальянский вкус. Возможно, Нью-Йорк удовлетворил бы его, но судьба занесла «джованотто» в провинциальный городок Дикого американского Запада.

Джуди рукой пригласила почаевничать с ней. Пришлось сесть к столу. Чай он не любил. Странно, что при всей своей любви к России и всему русскому (русский язык он осваивал в Миланском университете), он так и не пристрастился к этому напитку, предпочитал ему кофе. Но Джуди, кажется, кофе не держала. Зачем он, собственно, приехал сюда? Кто бы ему объяснил! Больше недели придется торчать в этом городишке, почти до самого Рождества.

В Фано все выглядело логично. Чтобы не свихнуться окончательно, он должен был сменить обстановку, вырваться куда-нибудь, где не доставали бы проклятые мысли, где бы не было отцовского крика и слез матери, где был бы хоть кто-нибудь, кто его понимал и ему сочувствовал.

В Россию после летней катастрофы его не тянуло. Из-за России ему стало так плохо, что до сих пор сомнительно, вылезет ли он из новой своей черной ямы. Боится, что нет. Если бы Джуди его хотя бы не раздражала, он так на нее надеялся. Но раздражала, раздражала каждым своим движением, тем, как пила чай, долго, блаженно, как брала дрожащей рукой с блюда печенью. Почему, кстати, дрожит рука? Да ясно почему — от старости, ей, наверное, сто лет, ровесница русской революции.

Зачем, почему он приехал к этой старухе? Ну да, долго переписывались. Несмотря на свои мафусаиловы годы (настоящего возраста Джуди он не знал), она освоила интернет, и у нее с Сандро завязалась ежедневная компьютерная переписка. Сандро повсюду в интернете искал людей, говорящих по-русски. Так два года назад он неожиданно вышел на Марину, художницу из Питера. Случайно же наткнулся на Джуди. Почти сразу она написала ему, что не молода, что одинока, что тяготится обществом, ее окружающим... понять ли американцам русскую душу? Во всем этом он почувствовал перст судьбы. Не молода — тогда это его не смущало, даже притягивало, молодая устроила ему в Петербурге такое «disastro», что пришлось спасаться бегством. Одинока — так и он одинок, одинок при том, что есть мама, папа и два брата. Но вот поди же, чувствует он себя эдаким демоном, летающим в пустыне мира без приюта. Конечно, болезнь. Если бы не она, не черная тоска, временами находящая и сдавливающая тело и разум страхом, отчаянием, угрозой чего-то еще более ужасного, — о, если бы не она, был бы он как Филиппо, старший брат, удачливый коммерсант, или как Энрико — инженер, с его хохотушкой Клаудией и тремя близнецами...

Был бы? И правда, был бы? Ну нет, в Фано ни за что бы не остался. Как можно жить в маленьком провинциальном городе? Тоска. Даже море — утром ярко-голубое, с зеленым наплывом, с бесконечной далью, с разноцветными дрожащими огнями суперфастов в предночные часы, — даже море не могло бы его остановить, оставить на берегу. Его удел — скитаться.

Самое неприятное, что деньги на жизнь и на путешествия дает отец. Он вспомнил, как злобно Марина кричала ему напоследок, что он, Сандро, бездельник и трутень (кстати, что по-русски значит «трутень?»), воспоминание прошло сердце иглой, он скривился и поймал сочувствующий взгляд Джуди: «Болит? Погоди, сейчас отпустит. Чайку отхлебни!» Если бы не боль, он бы рассмеялся — русские, кажется, лечатся чаем от всех болезней. Но он покорно отхлебнул. Чай был негорький, зеленоватого цвета, пах лимоном. Марина в Петербурге тоже пила зеленый чай, но он упорно отказывался его попробовать, в Питере он варил себе кофе. Джуди смотрела на него тревожно, он потерял свитер с левой стороны и стал пить из чашки маленькими глотками, словно лекарство, в перерывах выдавливая из себя полуслова-полузвучки:

— Она зам...я хоте...но не...скандаа...приш...еха...

Слезы катились из глаз. Джуди кивала. Странно, она говорила то же незначащее слово, что и Марина, когда хотела его успокоить: ничего, ничего. Niente оно и есть niente, видно, русские вкладывают в это слово какой-то свой, особый смысл.

— Отвергла она тебя? Мужа не решила бросить? Правильно я поняла?

Вся эта история уже давно была ей известна по его письмам, но хотелось поговорить, ему — выговориться, ей — утешить, успокоить раненую душу.

— Она, она люби... и я тоже, до сумасш... мы встречались, когда мужа не бы... муж Виктор...

— Ну как же, дружок, все правильно, и скандал был вовсе не нужен. Марина твоя — женщина разумная, на что ей такой, как ты?.. Да и дочка у нее. Разве можно ребенка бросить?

Сандро остановился и посмотрел на Джуди. Его речь стала более отчетливой.

— Ты не поняла. Виктор, муж, застал нас. Если бы не это, она бы согласилась... как это?.. выйти за меня. Мы бы поженились и были счастливы. А так... Ты бы слышала, что она кричала. Будто я... будто она... словно все из-за денег.

— Ты давал ей деньги?.

— В займы, она обещала отдать. Она осталась без работы, в издательстве ей отказали, она художник... как это? оформитель. Искала новую...

Он говорил нетерпеливо и нервно и, пока говорил, переставал верить в сказанное. Скорее всего, Марина действительно его не любила и он ей был нужен из-за денег его папы, совладельца богатой фирмы. Он снова сел к столу и заплакал. Сердце болезненно билось и болело. Джуди подошла к нему и старческой своей рукой принялась гладить черную кудрявую голову.

— Потерпи, дружок, потерпи, все перемелется. Я тебе как-нибудь про себя расскажу — тоже из-за любви много страдала. Ну да ничего — страдать страдала, а жива до сих пор. Джуди рывком подняла его со стула и медленно перевернулась вокруг его руки. Было даже красиво. И во все она не такая старая, как показалась вначале. Такому чистому овалу позавидует и девушка. И ноги вон какие стройные, недаром она даже дома в брюках. В маленькой комнате с двумя высокими окнами было очень тепло. Сандро разморил после прогулки по морозному снежному городу, после горячего чая. Он прилег на диван тут же в гостиной; диван, окруженный цветочными кадками, был отдан Джуди в полное его распоряжение. В полудреме он видел, как Джуди убирает со стола чашки, протирает стол. Вот она вошла в соседнюю комнату, в свою спальню, со вздохом опустилась на колени перед образом Богородицы и зашептала что-то. Сандро не понимал слов, но когда он проснулся, в голове сидело «казни египетские». Возможно, что-то похожее она произнесла в своей молитве.

Под вечер они с Джуди вышли на прогулку. Уже темнело, и в сумерках резко белели заснеженные горы, окружавшие город. На неказистой Джудиной машинке доехали до городского парка. Поездка заняла всего десять минут, но, когда вышли из машины, заметно стемнело, зажглись фонари. Они пошли по асфальтированной безлюдной дорожке, Джуди крепко ухватила своего кавалера за руку, Сандро плотнее закутался в шарф — дул резкий встречный ветер. Из-за ветра почти не разговаривали. Вдруг Джуди остановилась.

— Смотри!

Слева, за железной оградой, что-то розовело за деревьями на фоне темного деревянного домика.

— Здесь расположен зоопарк, вернее, птичник, — поясняла Джуди. — А вон розовые фламинго, за оградой, их четыре, и они всегда стоят на этом месте и на одной ноге.

Сандро взгляделся. Действительно, стояли четыре большие птицы нежно-розовой окраски, тесно прижавшись друг к другу. «Им, наверное, холодно — они же совсем голые», — подумал он и услышал Джудино:

— Бедняжки, вот у них казнь-то какая!

— Почему казнь, Джуди?

— А что еще? Стоят тут на обозрение... У каждого, дружок, своя казнь...

В свете фонарей деревья казались фантастическими, отбрасывали странные тени, за весь путь им не встретилось ни души. Джуди доставала ему до плеча, словно девочка-подросток в своем коротком черном пальтишке и смешной вязаной шапочке с помпоном. Быстрым шагом (он удивлялся, что Джуди не отставала) дошли до машины и залезли в ее темное нутро, заработал нагрев. Сандро медленно стал разматывать шарф и чувствовал себя в это мгновение почти счастливым.

За неделю своего пребывания в городе Сандро хорошо в нем освоился и выработал свой распорядок. Утром, пока Джуди спала (скорее всего, она притворялась, что спит, чтобы не мешать Сандро), он пил на кухне кофе (и кофе, и кофеварку купил сам в ближайшем магазине) и отправлялся на прогулку. Его не смущали ни перпендикулярные прямые улицы, ни бесконечные перекрестки со светофорами, ни машины, с жужжанием пролетавшие вдоль всего его маршрута. Он шел под легким снежком или под сырым в эту пору небом и думал о своем: перебирал случаи жизни, вспоминал фразы из запомнившихся русских книг, писал на русском воображаемое письмо воображаемому другу. О Марине он старался не думать, а если и допускал ее в свои мысли, то только такую, какую она была в первые дни их очного знакомства, радостную и чуть грустную и неловкую. Где-то на краю его сознания

Джуди неслышно передвигалась по маленькой гостиной в своих крошечных домашних туфлях и поливала из банки цветы в кадках возле его диванчика.

Возвращался он часам к одиннадцати, и они с Джуди пили чай и закусывали. Сандро так и не научился удовлетворяться завтраком, состоящим из бутербродов с сыром, и приносил со своей прогулки то лазанью в коробке, то пиццу, весьма отдаленно напоминавшую свою итальянскую тезку. После завтрака Джуди, все утро сидевшая за компьютером, уступала его Сандро, а сама доставала с полки какую-нибудь толстую книгу американского автора, посвященную русской культуре. Обедать они ездили в маленький экспресс-ресторанчик, где за небольшую плату Сандро брал тортеллини или равиоли, политые острым американским рэнчем, а Джуди — сок с бисквитом, ела она как воробей. После обеда иногда отправлялись в какой-нибудь музей, но чаще домой.

Сандро тянуло полежать на своем диванчике, окруженном зелеными кустистыми растениями. Лежа на нем, он бездумно наблюдал за Джуди, она вязала шарф, прикрывшись комочком в кресле. Крючок двигался медленно, смешные круглые очки то и дело сползали, Джуди их поправляла и продолжала тихую беседу с засыпающим Сандро. Говорила она чаще всего о прочитанных книгах, а читала много и с разбором, в основном воспоминания об артистах, писателях. Суждения ее были метки и категоричны, казалось, что она сама была свидетельницей и даже участницей событий почти столетней давности, и Сандро тогда только вспоминал, что Джуди годится ему в прабабки... Лежа на диванчике, он припоминал какие-то смутные картины, связанные с детством, — то ли воркованье полузабытой им бабушки — нонны Маргериты, то ли тихую «ninna nanna» матери у его колыбели...

Под вечер выезжали погулять. Джуди предпочитала небольшой каньон, хотя и расположенный в самом центре города, но сохранивший все свои природные свойства — журчащую порожистую речку, нависающие над ней снежные склоны с узором деревьев и кустарника и над всем этим высокое снежно-серое небо. Вся прогулка туда

и назад занимала 40 минут, шли не спеша, почти не разговаривая, в голове у Сандро возникали строчки из чеховской «Дамы с собачкой»: «...и прогулка удавалась. Впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы». Затем мысли перекидывались к очередному Джудиному замечанию о Чехове (она читала о нем книгу какого-то лондонского профессора).

— Антон Павлович, — говорила Джуди, — сторонился женщин, словно боялся их, в результате попался в лапы к самой хищной и лживой. Почему лживой? Да потому что лгала, обманывала, изменяла, жила в другом городе, прикрываясь любовью к театру, пользовалась его именем, чтобы получать роли...

Этот англичанин-профессор ей ничего не простил, даже высчитал сроки рождения ребенка — оказалось, ребенок не от Чехова. Джуди вздыхала и продолжала.

— И все же... и все же он не прав, англичанин, он судит со своей колокольни, английской, к тому же мужской. А мужчины ничегошеньки не понимают про женщин, не хотят понять. На самом деле, Антон был безумно счастлив со своей стервозной Ольгой, я-то уж знаю, да, лживой, да, тщеславной — актриса, что возьмешь? Но счастлив был, считал дни до ее приезда. А как она убивалась, когда потеряла ребенка, какая разница — от Чехова, не от Чехова? Ребенок — это святое, потерять ребенка — это... Джуди пробовала продолжать, но звуки не шли, и Сандро понимал, что для нее эта тема болезненная, но ни о чем не спрашивал.

Возвращались домой, в тепло и уют, зажигали камин. Сандро ужинал яичницей с ветчиной или лазаньей из коробки, Джуди пила горячий душистый чай с изюмчиком или сухим печеньем. Тонкая сухая рука слегка подрагивала. Но теперь это не раздражало, а даже умиляло — бедная старая милая Джуди! Вечером на огонек заходили гости, чаще всего рыхлая, с пухлыми руками и золотыми коронами во рту Зоя. Она приносила с собой домашние пироги, пирожки, клубничное варенье. Зоя жила выше этажом, в том же субсидальном доме, что и Джуди, считалась Джудиной подружкой, но была полной ее противоположностью.

В России, как и Джуди, работала она переводчицей, стало быть, язык знала. В отличие от Джуди, проводившей время за компьютером и чтением книг на английском языке, Зоя с утра до ночи смотрела телевизор и была в курсе всех последних новостей.

Казалось, собственная судьба не волновала Зою с той силой, с какой волновали действия американских властей, их речи и перемещения. Зоя считала себя патриоткой Америки, сокрушалась по поводу очередных «русских глупостей» или новых злодейств террористов, и с ее приходом квартирка наполнялась ее сильным контральтовым голосом и запахом аппетитной домашней снеди. Политические новости мало волновали Джуди. Немного послушав, Джуди уводила разговор в сторону, то к Анне Ахматовой, то к Лиле Брик, а то и к самой Екатерине Великой, книгу о которой недавно прочитала. Тут уж Зое становилось скучно и невмоготу, и тогда Джуди кротко обрывала себя на полуслове и просила Зою спеть. Обычно Зоя отказывалась, ссылаясь на плохое самочувствие и боль в горле (погода-то какая, сами видите, снег да дождь, как тут ангину не подхватить?), но в конце концов поднималась со своего кресла, снимала с плеч и вешала на его красную плюшевую спинку белый пуховый платок, становилась спиной к камину и начинала с тихой и задумчивой ноты. Пела она русские романсы.

Обе женщины — Зоя и Джуди — были еврейки по крови, о чем Сандро узнал совершенно случайно и чему несказанно удивился, ему не верилось, что можно быть еврейкой и молиться русской Богородице. Но, будучи еврейками, были они вполне русскими по речи и по чему-то еще, что трудно выразить словом. Зоя пела русские романсы в какой-то особой манере, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя, будто слова и мелодия еще не родились, а сидели где-то в ней, и ей нужно было извлечь их наружу. Особенно запомнился Сандро один романс. Прежде он его не слышал. Его грустная умоляющая мелодия западала в душу, а слова, хотя Сандро и не все понимал, казалось, были сложены специально для него. Ведь это он, Сандро, был разочарованным, он перестал верить в любовь,

и никакие новые ее утехы его не манили, это ему больше всего на свете хотелось все забыть, окаменеть, заснуть— именно об этом пелось в романсе. Сандро недоумевал, что было такого в пении этой полной, немолодой, неизящной женщины, что хотелось ее слушать? Голос был у нее неотделанный, и не было в нем итальянского оперного лоска, который, кстати сказать, он, итальянец, терпеть не мог. Может, отсутствие фальши его прельщало? Романс этот долго его не отпускал, уже в Италии, в Фано, он вслушивался в тишину, различая его далекие звуки.

В первый же вечер после Зоиного прихода Джуди рассказала Сандро ее нехитрую историю. Зоя пенсионеркой приехала сюда по вызову сына. Но сын, как это ни странно для еврейского парня, совершенно не интересовался матерью. Жил с нею в одном городе и не приходил проведать неделями, оправдываясь утомительной работой — он развозил по домам пиццу. С невесткой Зоя не сошлась, внучку одну к ней не пускали. Чтобы проведать Светланку, Зоя совершала дальнейшее путешествие на автобусе в другой конец города, а затем все жаловалась Джуди, что невестка была не в настроении, огрызалась и не оставляла Светланку ни на минуту наедине с бабушкой. Все это звучало вполне обыденно: Зою легко можно было представить одинокой, заброшенной сыном; а вот то, как она пела вечерние романсы, сочеталось с нею с большим трудом. Может, сидели в ней две разные Зои? Почему, почему нам кажется, что божественная частица так глубоко запрятана, что и не проглядывает в человеке?

После ухода Зои, если никто больше к ним не забредал (а бывало, что приходили, прослышав про джудиного гостя; так однажды приковылял хромой старик-итальянец в сильном подпитии, с трудом от него избавились), Сандро и Джуди коротали вечер вдвоем. Играли в лото и разговаривали. Впоследствии, когда, вернувшись в Фано, Сандро из вечера в вечер вспоминал это блаженное для него время, на память приходила яркая японская лампа на столе, расчищенном для игры, и они с Джуди друг напротив друга. В руках у Джуди мешочек с бочонками-номераами, но она не спешит запустить в него руку, паузы

между произнесенными цифрами затягиваются, Джуди забывает про игру...

За этой-то бесконечной игрой в лото узнал Сандро, что Джуди прожила в России до 60 лет, работала переводчицей в издательстве, преподавала на курсах, давала частные уроки, в общем, «крутилась», как и все ее разночинное московское окружение. Был у Джуди муж. Когда Джуди упоминала мужа, на губах ее появлялась странная улыбка, Сандро не мог понять ее значения. Любила Джуди мужа? Ненавидела? Он-то ее, как она говорила, любил без памяти, ужасно ревновал, вплоть до того, что не выпускал вечерами из дому. «Я же на курсы иду, дурачок! Меня же с работы уволят!» Муж или шел вместе с ней, или требовал, чтобы она позвонила со своей работы и громко произнесла придуманную им в ревнивом безумии фразу: «Я тебя очень люблю и целую в губы». Бедной Джуди удалось сократить текст до короткого «я тебя люблю и целую», но все равно она страдала, произнося эти интимные слова в трубку под насмешливыми взглядами коллег.

Ужасно было то, что муж не хотел детей. Не желал их иметь в наличии, но все делал, чтобы они появлялись, появлялись как зародыш, как некая возможность, могущая в свой срок стать человеческим дитятей, девочкой или мальчиком. Но муж неукоснительно требовал, чтобы зародыш этот был убит и возможность появления на свет человеческого дитяти — девочки или мальчика — не осуществилась. И Джуди не решалась противиться, хотя не понимала, чем виноваты неродившееся дитя и она, согласившаяся на убийство мать, зачем и почему все ее естество должно быть поругано и осквернено. Сколько раз находила она себя в веренице несчастных, дрожащих от страха и от чего-то еще более жуткого женских существ в казенных халатах и слышала пронзительно звучащий нечеловеческий голос: «Следующая!» Сколько раз она, неверующая, шептала про себя что-то, похожее на молитву, обращенную к Богородице, когда доходила до нее очередь.

Говоря все это, Джуди не рыдала, не вскрикивала, но голос ее дрожал и в глаза было невозможно смотреть.

Сандро упорно разглядывал цветную яркую лампу, разрисованную драконами.

— Ты, дружок, мужчина, — продолжала Джуди, — куда тебе понять женщину, ее муку, ее казнь! Но ты хотя бы постарайся, я свое прожила, а тебе еще много чего предстоит... (в этом месте Сандро с сомнением качнул головой).

Неожиданно она заговорила об Ахматовой, как, когда та входила в комнату, полную гостей, все останавливались и замирали.

— Королева была, сколько достоинства при скромности одежды, деликатности... А ведь и ей досталось. Ты что же думаешь, сумела она уберечься? Думаешь, и Лиля сумела уберечься? Только что следов не осталось, никто про это не писал. Это же дела житейские, обычные... Да и стыдно вроде, тема-то подпольная. Никто, никто об этом не заикнулся, вон сколько книг прочитала! — Джуди указала на полку с книгами: — Нигде, нигде ни в одной... Разве можно об этом? Караул! Неприлично! Мужчины не хотят об этом слышать! Но я, Юдифь Бейлина, свидетельствую: даже им, царицам, досталась мука сия! Даже они, царицы, прошли через казни египетские...

Сандро оторвал взгляд от лампы и взглянул на Джуди. Глаза ее горели, было в них что-то пророчески-иступленное. Неужели это та самая Джуди, что минуту назад спокойно играла с ним в лото? Заметив его испуганный взгляд, Джуди остановилась. Глаза потептели, голос смягчился.

— Напугала я тебя? Небось подумал, сбесилась старушка? Извини, не буду больше. Ни с кем я на эту тему не говорила, да и в Америку-то приехала, чтобы все забыть.

И она стала вынимать из мешка фишки с цифрами.

До Рождества оставалось несколько дней, надо было уезжать, но не хотелось. Приподняв занавеску, Сандро смотрел на разноцветные, светящиеся огнями елки в соседних окнах. Хорошо бы встретить праздник здесь, с Джуди и Зоей. Слепить из пластилина, как в детстве, фигурки магов, Марии и Джузеппе, смастерить ясли, вырезать из серебряной бумаги звезду и соорудить в углу гостиной «presere»... и чтобы на столе лежала куча конфет,

ореховой нуги и мандаринов... Дома на Рождество он запирался в своей комнате и просил, чтобы его не беспокоили. Не хотелось сидеть за семейной трапезой, слушать громкий голос отца, поддакивания Филиппо, заискивающий смех Клаудии. Отец всех подавлял, создавал невыносимую атмосферу, словно собрались не на праздничное застолье, а на официальный казенный обед. Сандро не собирался участвовать в этой комедии, где отец дергал за ниточки, а все, как марионетки, должны были соответствующим образом двигаться и открывать рот. Домой не хотелось, но и здесь оставаться было нельзя: менеджер уже предупредил Джуди, что гость не должен задерживаться. Порядки в субсидальном доме были строгие, их невыполнение грозило карами вплоть до выселения.

Сандро нехотя собирал вещи под пристальным грустным взглядом Джуди. Он должен был вылететь поздним вечером 23 декабря, чтобы через полсуток полета оказаться в лоне семьи, откуда ему так отчаянно хотелось вырваться. Перед отъездом присели, по русскому обычаю, на дорожку. Джуди поцеловала его три раза, была она грустна и молчалива. Сандро поместил свой чемодан в багажник, тронулись в аэропорт. Машина проехала мимо простоволосой грузной Зои, стоящей на тротуаре перед домом и изо всех сил машущей белым пуховым платком. В своем чемодане Сандро вез целый пакет пирожков, испеченных Зоей к его отъезду. В воздухе кружились крупные снежинки, машина кряхтела, за окном рисовались знакомые игрушечные домики на фоне дальних гор неправдоподобно красивых очертаний. Проехали городской парк, Сандро попросил Джуди остановиться. Вышли из машины и пошли по нерасчищенной снежной дорожке. Все было как в первое посещение, снова дул резкий ветер, шел снег. Сандро остановился перед железной оградой, за которой розовели голые птичьи тела. Четыре фламинго, полузасыпанные снегом, стояли на своих местах, тесно прижавшись друг к другу. Сандро резко повернулся и пошел к машине, за ним по-старушечьи семенила Джуди.

И он улетел и долго-долго в какой-то непонятной злобе на себя, на Джуди, на весь мир не звонил, не писал

и не посылал «имейль». Когда наконец он позвонил, то боялся, что никто не подойдет, что Джуди умерла, что ее нет и не было — она ему приснилась. Но к телефону подошли, и он услышал такой знакомый родной голос. Джуди! Жива! Значит, есть в мире местечко и для него, Сандро. Он держал трубку в руке и плакал от радости.

Декабрь 2001

Сквозь облака

«Игорь», — прочитал Майк. Он прочитал это слово медленно и с ошибкой. Он прочитал его «Игор» с ударением на втором слоге. Вика не стала его исправлять. К концу урока она подустала, да и ученик начал как-то поминутно ошибаться в каждом слове. Ей не хотелось его дергать. Она записала все неправильно прочитанные слова в свою тетрадь. Первым стояло «Игорь».

Это имя ее притягивало. Оно было ей чуждым, чужим, не близким, но и манящим, соблазнительным, завлекающим. Его хотелось произносить, но не громко, не при всех, а с оглядкой, шепотом, в своем уголке. Игорь! Она как ребенок радовалась странному сочетанию звуков, охлаждающих рот. Игорь!

— Как его зовут? — спросила однокурсница, указывая на человека, стоящего посреди аудитории и переживающего шум, поднятый при его появлении.

Человек был в очках, невысокий, с довольно редкими волосами. Он должен был читать у них курс старославянского языка.

— Кажется, Игорь, — ответил кто-то, — Игорь Юрьевич.

Вика сидела в первом ряду, но плохо слышала лекцию. Стоял шум. Студенты вечернего отделения весело и бойко общались друг с другом, рассказывали новости, напевали последний шлягер, учили друг друга кулинарии и вязанию. Человек в очках смотрел на аудиторию растерянно. Случайно взгляд его пал на Вику, безмолвно и неподвижно сидевшую в первом ряду. Казалось, он продолжил лекцию только для одной этой студентки. Она внимательно

слушала, не сводя с него глаз. В тетради писала какие-то закорючки. То, что лекция была маловразумительной, ее не пугало. Дома, в тишине, во всем разберется. Лектор ей нравился. Ей нравилось, что он смущается, что его трудно понять и что он читает лекцию для нее. Еще ей нравилось, что его зовут Игорь. С этим именем она почти не встречалась.

Вот разве что в далеком детстве. Было ей лет пять или шесть. Мальчишки во дворе затеяли драку. Постепенно все разбежались, остались двое, и один, стройный светлый мальчик, быстро повалил противника. Этот подтянутый ладный мальчик был ее героем. Она всегда украдкой следила за ним, когда играла во дворе. Он спокойно, без крови и ожесточения, закончил драку.

— Ты чего здесь? — спросил ее, вертящуюся под ногами. Она не знала, что ответить. В это время женский суровый голос прокричал из окна: «Игорь, домой», и мальчик покорно пошел на голос. Он был победителем, но как бы не осознавал этого, не бахвалился, не выставлялся, легкой походкой, со светлым лицом шел домой по приказу матери. Ей нравились его лицо и его улыбка. Тогда впервые услышала она это имя — Игорь.

В вагоне метро она столкнулась со старостой курса. Та была лет на пять старше Вики, вид у нее был прожженный. Работала секретаршей на кафедре языкознания. Староста сразу зашептала Вике на ухо:

— Он женатый, есть дочка, жена у него стерва и алкогольчика, работают вместе.

— Ты о ком? — удивилась Вика, на редкость в некоторых случаях непонятливая.

— Я о доценте, который сегодня читал. Мне его лекция не понравилась, да и всем не понравилась, его никто не слушал. Я тебе на всякий случай говорю — предупредить.

Вика ничего не возразила. Настроение у нее сильно поднялось, и, идя от метро к дому, она напевала причудливую мелодию из полонецких плясок.

Он подошел незаметно, Вика даже слегка вскрикнула, когда он ее окликнул.

— Вика!

Имя ее было ему известно — почти после каждой лекции она подходила к нему с вопросами. Для многих было странно, откуда могут взяться вопросы, если лекция полностью непонятна. Игорь Юрьевич читал довольно бессвязно, по какому-то одному ему известному плану. Свой и без того тяжелый материал умудрялся сделать просто неподъемным. Студенты, почти не замолкавшие на его лекциях под предлогом, что слушать их бесполезно, уже ходили на него жаловаться в деканат, но, бог ведает почему, видимых последствий эта жалоба не возымела. Все оставалось постарому. Лектор, стоя возле Вики, читал лекцию для нее одной. Она радостно, с пониманием кивала. Перед каждой лекцией Вика заранее прочитывала учебник, знала, о чем пойдет речь, и с восторгом следила за интерпретациями Игоря — так про себя называла она любимого профессора. Порой он залетал в такие дебри, что дух захватывало, от какого-нибудь славянского корня уносился к огням, согревающим создателей древних вед, приводил парадигматический ряд из санскрита, старолитовского, задевая попутно тюркские наречия. Вика воспаряла вместе с ним под шум и хихиканье аудитории.

Идя в одиночестве в институт, она предвкушала эти восхитительные мгновения и улыбалась.

— Вика, — сказал кто-то рядом.

От неожиданности она вскрикнула. Напротив нее, очень серьезный, в очках и с небольшим портфелем в руках, стоял Игорь Юрьевич. Бросив быстрый взгляд на ее заливающееся краской лицо, он опустил глаза и произнес:

— Можно составить вам компанию? Нам по дороге — ведь вы в институт?

В этом месте Вика как бы очнулась и поспешно закивала. Говорить она еще не могла. Тем красноречивее казался собеседник. Он предложил показать ей неизвестную дорогу к институту (на что она снова кивнула) и, свернув за угол, дернул за дверцу облупившейся калитки. Старая ржавая калитка заскрипела, как избушка на курьих ножках, и неожиданно открылась. Они вошли.

За калиткой оказался прекрасный парк с раскидистыми деревьями и зелеными приветливыми лужайками.

Они шли по парку параллельно обычной дороге в институт, проходившей через оживленную магистраль и жилой комплекс, и Вика не переставала удивляться — почему никто даже не догадывается о существовании этого чуда в двух шагах от привычной студенческой тропы. Ей очень хотелось, чтобы парк не кончался и путь их по нему был подлиннее. Но, увы, чудо растянулось всего на несколько минут неторопливого шага. Все это время доцент («Игорь» — называла про себя Вика) рассказывал о какой-то любопытной статье, прочитанной им в «Вопросах языкознания» и взбудоражившей его мысль. Когда они вышли из заколдованного места через такую же, как при входе, незаметную ржавую калитку и смешались со студентами, спешащими в институт, Вике показалось, что она спустилась сюда из другого мира. Вспомнилась «Золушка», кадры фильма, когда Золушку и принца помещают на несколько мгновений в волшебный сад. Принц говорил тогда что-то романтическое, но для Вики и пересказ статьи из ученого журнала звучал как сладчайшая музыка. Она лихорадочно вникала в смысл мудреных слов, а душа, между тем, пела; душа радовалась приобщению к высшим сферам, полету мысли, своему избранничеству.

Возле киоска с мороженым профессор внезапно остановился. Вика встала поодаль. Он ткнул пальцем в какой-то предмет на стеклянной витрине. Продавщица подала, он расплатился. Вика с удивлением увидела у него в руках пакет с морожеными овощами. Он спрятал его в портфель, виновато покосившись на Вику. Жена поручила — мелькнула догадка, он — чужой. Но счастье не уходило, Вике все равно было хорошо. Какая разница, с кем он живет, кто ему готовит обед и дает домашние поручения, какая разница, есть у него жена или нет? Она, Вика, чувствует, что ему с ней хорошо, легко и беззаботно. Чего же еще ей надо?

По дороге домой в метро к ней снова подошла староста. В вагоне было полно народу, и она шептала прямо в Викино ухо:

— У него дочка пяти лет, с женой живет плохо, скандалят. Она вчера пьяная заявила на кафедру, был шум, он ее отвез домой, похоже, что разбежится.

Вика пожалала плечами. Теперь ей не нравились эти разговоры. Было неприятно, что староста не за ту ее принимает. Извинившись, она стала пробираться к выходу.

По окончании института Викторию Гликман вышинули в школу. На кафедре языкознания, где она писала диплом, ее не оставили. Заведовал кафедрой ярый юдофоб, не желающий принимать евреев даже не по указанию свыше, а по велению своего сердца. Вике всего горше было, что Игорь Юрьевич, бывший ее руководителем и высоко оценивший ее дипломную работу, ни во что не вмешивался, был отчужден от всех ее дел, будто Викина судьба его не касалась. Вика прочла о результатах конкурса в аспирантуру на доске объявлений. Ее в списке не было. Оказавшаяся тут как тут староста объяснила, что взяли двух своих, по протекции.

— Твой тебя не защищал, — шептала она, — на кафедре у него шаткая позиция, заведующий против него настроен, видит в нем претендента на свое место. Ты не плачь и не грусти, — сказала она напоследок, — может, оно и к лучшему, у них с Клавкой снова лады.

Вика, которой очень хотелось заплакать, сдержалась, поблагодарила старосту за сочувствие и пошла к выходу. С институтом ее больше ничто не связывало.

Лет через пять после этого, уже учась в аспирантуре института культуры, Вика неожиданно встретила Игоря Юрьевича в книжном магазине на улице Горького. Он несказанно обрадовался, просиял, потянул ее за рукав к выходу, и они пошли по заснеженным московским бульварам. Был ранний вечер, слегка снежило, начали зажигаться фонари. Игорь увлеченно рассказывал о своей работе. Оказывается, вот уже года три как он заведует кафедрой в их институте. Прежний заведующий ушел на пенсию.

— Знаете, я часто вас вспоминаю, — произнес он, искоса взглядывая на Вику. — В этом году взял аспирантку Гутман.

Фраза повисла в воздухе. Вика никак на нее не отозвалась — до нее не сразу дошел ее смысл. Не поняла она и еще одной фразы, сказанной со значением. Когда они были уже в метро и сели на скамью, отдыхая после долгой

прогулки по морозным улицам, он неожиданно и невпопад произнес:

— Дочку я никогда не оставлю.

Просидели они на скамье довольно долго. Было впечатление, что он забыл про время и про все остальное. Его живой взгляд светлел, останавливаясь на Вике, и он говорил, говорил. Давал советы по ее теме, рассказывал про написанные и задуманные статьи, про книгу, которую хотел написать. Вика поднялась первой. Протянула ему руку, мокрые варежки лежали в сумке.

— До следующей встречи!

Он глядел странно, но ничего не добавил к этим ее словам. Подъехал поезд, и она села. В окне вагона было видно, что Игорь застыл у скамейки, и ей показалось, что взгляд у него теперь, когда нет ее рядом, совсем другой. Взгляд у него потухший.

Потом началась эпоха писем. Писала она, он отвечал. Она поздравляла его с праздниками — майскими, октябрьскими, новогодними, представляла, как жена его вынимает письмо из ящика и кричит саркастически: «Игорек, опять твоя сумасшедшая студентка», а он быстро подходит и, не отозвавшись на реплику, берет у нее письмо. Отвечал он регулярно. В ящике стола у Вики скопилась довольно большая пачка писем. Ее муж — а она к тому времени вышла замуж за коллегу-аспиранта — приносил ей письмо с неизменным комментарием: «От твоего экс-профессора». Муж не был человеком ревнивым. Да и к чему ревновать? Ничего осязаемого, грубо-материального их с Игорем не связывало. Только изредка, когда посещала Вику нечаянная радость, вспоминала она — по сходству — ощущения, испытываемые когда-то в его присутствии, и крепче прятала их в душе, на самое ее доньшко.

Но переписке пришел конец, и по ее вине. В одном из своих писем написала Вика — бес попутал — о том, что вот уже три года замужем и растет дочка Катя. Ответ пришел не скоро, да какой... Обычно добродушный тон его писем взорвался гневом и обидой. Ясно было, что в обиде он на Викино замужество и долгое сокрытие этого факта. Но прямо он этого чувства не выражал, о нем можно было догадаться

по странным экспрессивным оборотам, типа: «Отвечаю вам тем же концом да по тому же месту». Или: «Вам, сударыня, подошло бы играть во французском водевиле» (написано было хлеще, но Вике запомнилось так). Вика поняла, что переписке конец, и расстроилась. Не видела она за собой никакой вины. Хотя, если покопаться в подсознании, может, и была у нее тщеславная женская мыслишка, когда написала ему про свое замужество, дескать, не залежалый товар, цену свою имею. Но как, думала она, ее замужество соотносится с Игорем? Ведь и он женат. Почему он так, по-видимому, жадно хотел, чтобы она прожила свою жизнь без мужа и детей?

Еще один раз видела она его в Ленинке, много после его нервно-саркастического письма. Игорь стоял в коридоре и разговаривал с каким-то студентом. Студент на него наскакивал, он нехотя отбивался. Судя по повадке — уверенной и спокойной, — продолжал он пребывать в должности завкафедрой. Поубавилось волос, пополнел, сменил роговую оправу очков на тонкую металлическую. Она прислушалась к голосу, к интонациям — они не изменились. Вике очень захотелось подойти, хотя бы попасться ему на глаза, но она не решилась. Подумала, что плохо сейчас выглядит, что неудачная прическа, что в другой раз. Она надеялась долго ездить в Ленинскую библиотеку — собирала материалы для книги. Но оказалось, что все материалы можно было заказать на дом, и это ее посещение в сущности было единственным. Подрастали дети, сын гонял во дворе на велосипеде, дочка Катя заканчивала школу.

В Америку уехали они неожиданно. Мужа пригласили читать лекции в Гарварде. Америка, как ей и полагалось, затянула и не отпустила. Благом было то, что Вика могла здесь работать по специальности. Русских в Бостоне было столько, что она не удивлялась, когда, набрав по ошибке неправильный телефонный номер, натыкалась на русскую речь. Дети русских нуждались в учителе, чтобы поддержать их хиреющий на чужой стороне русский язык. Ходили к Вике и американцы, в основном чудики, расслабляющиеся таким образом от занятий коммерцией. Майк был одним из чудиков, он первый из ее учеников

добрался до имени Игорь в учебной книжке. «Игорь», — прочитал Майк...

Летом Вика с детьми поехала в Россию. Они вышли из метро и пошли вдоль длинного забора. Путь был довольно безлюден, изредка навстречу шли группки говорливых студентов, спешащих к метро. Катя и Даниил, держась за руки, бежали впереди. «Подождите», — Вика, хитро прищурившись, тронула рукой ржавую калитку. Она поддалась, к Викиному удивлению, и они вошли в сад. Он был совсем такой, как тогда, каким остался в Викиной памяти. Только кое-где под деревьями появились белые скамейки, которых раньше не было. На скамейках никто не сидел — день был прохладный и ветреный, пенсионеры прятались по домам. Вика в нарядном белом платье присела на скамейку и сидела так несколько минут. Дети ее торопили. Они вышли из крошечного садика и вошли в здание института. По роскошной мраморной лестнице (здание строил сам Казаков!) поднялись на третий этаж. Теперь уже Вика шла впереди. Катя и Даня притихли и переговаривались шепотом.

Возле двери со знакомой табличкой Вика остановилась. За дверью, судя по всему, шел ремонт. Доносились запахи краски, входили и выходили студенты в запачканных рабочих халатах, с озабоченно-скучающими лицами. В один из таких выходов Вика, осмелев, просунула голову в дверь и оглядела диспозицию. За столом возле окна сидела какая-то женщина, показалось, немолодая. Они вошли. Вика представилась, сказала, что из Америки. Женщина внимательно на нее посмотрела. Вике бросилась в глаза ее неестественная чернявость.

— Вы... случайно не Гутман? — вопрос удивил саму задававшую, Вика закашлялась.

Чернявая, казалось, не удивилась.

— Гутман в отпуске. Вы к ней?

— Я, собственно, ни к кому. Показываю детям свою alma mater. У нас читал Игорь Юрьевич. Он сейчас... сейчас он...

Она не знала, как закончить. Женщина помогла:

— Читает. Да, он сейчас читает первокурсникам. А я его дочь.

Вика прекратила кашлять. Дочь? Ей было странно, казалось, что женщина — ее ровесница. Какой же тогда сам Игорь? — мелькнуло в голове.

— А это мои дети, — и она подтолкнула вперед Катю и Даню. От растерянности Даня сказал «хай». Женщина, видно, не поняла, возможно, у нее возникла та же неприятная ассоциация, что и у Вики, когда она только приехала в Америку. Тогда ей мерещилось в американском приветствии сходство с фашистским «хайль Гитлер». Наступила пауза. Вика заторопилась. Когда они были уже в коридоре, дверь открылась и чернявая устремилась к Вике.

— Простите, от кого я должна передать привет отцу? Она смотрела на Вику изучающе, с некоторым неодобрением, как смотрят русские на чудных заморских гостей. Ее явно раздражали и Викино нарядное белое платье, и ее моложавость, и «обамериканившиеся» дети. Но почему-то она стояла над ней и ждала, когда Вика ответит. Вика начала:

— Скажите — от студентки, которая... у которой... с которой... — Она остановилась и закончила. Скажите — от Вики, он помнит мое имя.

И они начали спускаться по ступенькам, Даня бежал впереди, Катя взяла мать под руку.

На следующем занятии Майк снова читал тот же текст. Он сделал все те же ошибки. Снова прочитал «Игор» с ударением на втором слоге. Вика опять его не поправляла. Она задумалась, залетела на минуту в облака, как говорил Даня. Ей представилось, что есть где-то место, где вещи и люди не стареют и не умирают. Там, в этом мире, она когда-нибудь встретится с Игорем. «Обязательно», — произнесла она вслух, и Майк посмотрел на нее с удивлением.

Сентябрь 2002

Кольцо

Посвящается Генри Джеймсу

Банни бежала впереди, я шел следом, обдумывая план будущей статьи, как вдруг взгляд мой упал на что-то блестящее, радугой переливающееся в траве. Нагнувшись, я поднял маленькое кольцо. Такое маленькое, что это сразу бросалось в глаза, — мне оно не нашлось бы и на мизинец, а у меня рука совсем небольшая. В камнях я не знаток, поэтому не смог определить ценность маленького прозрачного камушка, блестящего посередине. По краям переливались совсем крошки, цвета спелого заката. Бриллиант и рубины, ни дать ни взять! Я в голос рассмеялся, и Банни, заинтригованная, подбежала ко мне. Но она мне помочь не могла, только утолила свое женское любопытство, ткнулась мордой в мою ладонь, с которой я поспешно убрал найденное сокровище в карман шорт. По привычке я стал делиться с Банни соображениями: как ты думаешь, Банни, чье это колечко? И что прикажешь с ним делать?

Может, отдать в полицию? Но я даже не знаю, где здесь полиция, я ведь не местный. Приехал сюда, в этот маленький поселок, на каникулы. Живу в доме умерших родителей, прошедших в этой дачной местности последние годы жизни. Домик этот не вовсе мне незнакомый. Я навещал своих старичков довольно часто, так как живу и работаю совсем рядом — в К. Я профессор филологии X-го университета, ну не совсем еще профессор, пока ассистент, но дело к тому идет. Заведующая нашим отделением Нэнси Шафир, обговаривая со мной тему очередной совместной

статьи — о Генри Джеймсе, — намекнула, что от этой работы много что зависит...

Я стоял в нерешительности. Кольцо, даже бриллиантовое, было мне ни к чему. Продавать найденную вещь я не собирался, дарить ее было некому. Да, некому. У меня нет постоянной подружки. Непостоянных тоже не так много, так как я разборчив и брезглив — черта, унаследованная от моей ирландской родни по матушкиной линии. Матушка дожила до восьмидесяти и год назад неожиданно умерла, через три месяца за ней последовал мой 86-летний дядди. В свои 36 лет я один как перст, не с кем даже перекинуться словом, не считая, конечно, Банни, которая замечательно все понимает. Пожалуй, подошла пора жениться. Помните, у Джеймса его герой Кристофер Ньюмен как раз в этом возрасте надумал жениться. Подыскал себе «кадр» в Европе... Но, кажется, у него ничего из этого не вышло. И у самого Джеймса не вышло. Так что поглядим.

Впереди, за поворотом тропинки, куда убежала Банни, раздался женский крик. Я поспешил в ту сторону. Моя рыжая миролюбивая собака — крупный чистопородный лабрадор — глядела виновато. Женщина возле нее стояла ко мне спиной.

— Hello, вас напугала моя собака?

Женщина обернулась. Первое, что я увидел, было кольцо с маленьким красным камнем на ее указательном пальце. Она заслоняла рукой лицо, словно боялась нападения.

— Банни, на место!

Собака отошла от женщины и легла на некотором расстоянии от меня, видимо, в предчувствии нагоняя.

— Она смиренная, никогда никого не тронет, но очень любопытная — настоящий женский характер, — пытался я пошутить. Женщина молчала. Уж не глухая ли она? Или у нее шок от страха? В таком случае, мне придется платить штраф. Возможно, она из тех, кто не упустит свой шанс, даже если это всего лишь безобидное собачье заигрывание. Женщина что-то прошептала, обращаясь к Банни, смущенно мне улыбнулась и нетвердыми шагами направилась по дорожке, в противоположном моему направлении. Я стоял

в остолбенении. Сцена показалась мне странноватой. Я ожидал чего угодно, только не этого. Конечно, собака ее не тронула — я знаю Банни, — но у нее есть плохая привычка заигрывать со встречными. Иногда она даже пытается закинуть на тебя лапы. Пару раз я отгонял ее от к-их соседей по улице. Там, в К., она ходила у меня на поводке, как положено. А здесь, в этой парковой зоне, я расслабился и решил дать ей побольше свободы. И вот результат. Я подозвал Банни и надел на нее поводок. Так обычно кончаются все благие намерения. Конец прогулки был испорчен, и домой мы с Банни возвращались не очень довольные друг другом.

Но главным образом я был недоволен собой. Хотя что, собственно, я должен был делать? Извиняться? Предлагать деньги? Но собака не причинила ей вреда. И, однако, весь тот день мне было не по себе. К тому же, не шло из головы найденное кольцо. Каким-то странным образом это крохотное колечко и кольцо на руке встреченной женщины соединились у меня в одно. Закрепил эту связь сон, приснившийся мне в ту ночь. Мне снился длинный-длинный коридор со множеством дверей по обеим сторонам, и я иду по нему, почему-то твердо зная, что моей двери здесь нет. Внезапно дорога разветвляется, и я уверенно ступаю на побочную тропу, по которой навстречу мне идет давешняя встреча. Мы останавливаемся друг напротив друга, и она протягивает мне что-то, похожее на капельку крови, — ее колечко, догадываюсь я. Но я отодвигаю ее руку и, вместо того чтобы взять протянутое кольцо, вынимаю из кармана и поспешно надеваю ей на палец свое — найденное на тропинке... Я проснулся в полной уверенности, что непременно встречу незнакомку, может, даже сегодня.

Хотя назвать ее незнакомкой было бы слишком романтично. Я плохо запомнил ее лицо, и во сне я видел ее словно без лица, на месте которого было то, что Платон назвал бы «идеей» лица. Я не запомнил, была она низкой или высокой, толстой или худой, светлой или темноволосой. Я не увидел ни цвета ее глаз, ни во что была она одета. Про голос уже не говорю, так как она не удосужилась произнести ни единого слова, не считая невнятицы, обращенной к Банни.

Общее впечатление было, что она намного старше меня, хотя я мог ошибиться. Запомнилась рука с очень длинными худыми пальцами, с кольцом на одном из них. Когда я привел весь этот сумбур в порядок, в голову пришло, что у меня возникла ситуация вполне в духе сказки Гоцци. Там герой проклятьем коварной ведьмы был обречен полюбить три апельсина. Я по воле судьбы, которая иногда играет с людьми не хуже коварных колдуний, обречен искать встречи с кольцом или с некоей дамой с кольцом.

Но и дамой назвать ее было нельзя, как и незнакомкой. В этих названиях сквозит какая-то романтизация, что-то средневеково-идеальное, чего я не выношу. Могу поклясться, что у меня к этой встречной с кольцом ничего не возникло, никаких чувств. Просто было какое-то наваждение, помутнение рассудка, с которым на первых порах мне лень было бороться.

Два дня прошли в непрерывных прогулках — Банни глядела на меня с недоумением. Я не мог заниматься, статья, ради которой я приехал сюда, в это безлюдье, повисла на волоске, но делать было нечего: я не мог, точнее, не хотел с собой совладать. Все сосредоточилось на этом кольце; я понимал, что, прежде чем мой поиск не закончится хоть чем-нибудь, что в какой-то степени можно было бы считать завершением, точкой или хотя бы запятой, я не смогу приступить ни к какому другому делу.

Я увидел ее на третий день под вечер. Весь этот день я провел на тропе. То ходил по ней туда и сюда, то сидел на складном стульчике, на котором любила сживать матушка. Банни, привязанная к его ножке, томилась и даже пыталась лаять. Я ублажал ее взятой из дома очищенной морковкой, любимым ею лакомством. Сам я есть не хотел. За весь день не так-то много людей прошло по тропе. С утра пенсионеры прогуливали по ней собак да несколько здоровенных, раздетых до пояса парней и полуголых девиц совершали привычный jogging. Сидя на стульчике, чуть в стороне от начала тропы, я слышал их тяжелое дыхание, видел их разгоряченные бегом и душевной жарой тела. В девять утра дышать практически было нечем, солнце шарило с адской силой. Меня поражали

воля и физическая крепость соотечественников, способных на пробежку в такое душное утро. Сам я не бегун. Отсутствие тяги к спорту — еще одна черта, сильно отличающая и даже отдаляющая меня от American guys. Эту черту, похоже, я унаследовал от дэдди, чьи родители приехали в эти края из Италии, из Мачераты, когда дэдди — тогда Паоло, впоследствии Полу — было всего 3 года. Дэдди до конца жизни остался un po' italiano (немножко итальянцем) и даже мне передал в наследство несколько итальянских слов. Спорт он не любил, обожал макароны и дожил при этом до весьма преклонных лет. Свою недостаточную спортивность мне пришлось компенсировать отличной учебой и участием в общественной жизни школы и университета, как-то: редактированием школьной и университетской газеты, победами в творческих конкурсах и лингвистических играх, нудной работой по подтягиванию отстающих и иностранцев. Свое местечко в X-е я заработал потом и кровью; Нэнси Шафир не промахнулась, взяв меня в свое отделение, и моя будущая статья о Генри Джеймсе, я уверен, приблизит меня к искомой цели — должности профессора. Такие или похожие мысли бродили в моей голове, пока я смотрел на любителей бега трусцой.

За весь день, как я сказал, по тропе прошло совсем немного людей. Я заметил, что мы, американцы, в отличие от европейцев, не гуляем, а занимаемся спортивной ходьбой — все прошедшие мимо меня двигались в быстром темпе, не глядя по сторонам, изо всех сил размахивая руками. Одна такая девица появилась на горизонте, когда уже начинало темнеть и я подумывал, не пора ли прекратить мое сегодняшнее дежурство. Девица была в теле и, видно, хотела с помощью спортивной ходьбы поправить положение. Мне показалось, что движениями своих огромных толстых рук она напоминает мельницу. Я загляделся на эти нелепо подпрыгивающие сосисочные конечности и пропустил появление на тропе еще одной фигуры. Это была она. Я приподнялся со стула и уставился на нее. Я стоял, крепко сжимая поводок в руке, так как Банни начала проявлять странное нетерпение, а она медленно шла мимо. В наступающей темноте я разглядел, что на ней светлое платье

с короткими рукавами, на незагорелой худой руке поблескивало кольцо. Проходя мимо нас с Банни, она приостановилась и испуганно взглянула на собаку. Я стряхнул непонятное оцепенение и произнес:

— Добрый вечер!

— Добрый вечер, — так могло ответить эхо. Она ускорила шаг.

— Послушайте! — не мог же я бежать за ней с собакой на поводке, к тому же привязанной к стулу. — Послушайте!

Она приостановилась и посмотрела на меня с удивлением и испугом.

— Послушайте, это не вы потеряли кольцо здесь, на тропинке, несколько дней тому назад?

Казалось, она не понимает, чего я от нее хочу. Я вынул кольцо из кармана шорт и показал ей. Она поглядела, медленно, словно о чем-то задумавшись, подняла глаза и покачала головой. Тут меня осенило.

— Вы иностранка?

Она кивнула.

— Из Италии? — я назвал первую пришедшую в голову страну.

— Я русская, — она отвернулась и почти побежала от нас с Банни вперед по тропе.

В ту ночь никакие сны мне не снились, но и спать я не мог. Работал кондиционер, и нельзя было пожаловаться на духоту. Но не спалось. В голове мелькали разрозненные мысли. Когда я понял, что заснуть не удастся, я решил сконцентрироваться на мыслях о статье. В ней я, вопреки общепринятым утверждениям, собирался показать, что Генри Джеймс был патриотом, что он любил и почитал свое отечество и своих сограждан и что его многолетнее, до конца жизни, пребывание за границей объясняется, скорее всего, причинами культурного порядка. Дальше мысль моя уперлась в словосочетание «духовная провинция» и застряла на нем. Я сильно сомневался, что Нэнси Шафир согласится оставить его в статье. Она скажет — и я

уже слышал ее начальственную интонацию, — что в наше тревожное время мы не имеем права называть свою страну «духовной провинцией», даже если определение это относится ко временам Генри Джеймса. Я вслух застонал, и Банни внизу, под моей спальней, заворчала. Бедняжка, ей, видно, тоже не спалось. Я встал и спустился по лесенке вниз, к Банни. Собака приветствовала меня фырчаньем и вмиг облизала обе мои ноги. Я сел рядом с ее лежанкой и начал медленно поглаживать ее короткую и упругую рыжую шерсть.

— Что, собачка, не спится? Что-то такое есть в воздухе этого дома, что не дает уснуть, а?

Банни потянулась и зафырчала. Я вспомнил, как все последние годы, навещая родителей, никогда не оставался здесь ночевать. Родители имели обыкновение под вечер громко ссориться, дэдди кричал и ругался на двух языках, матушка то в сердцах отвечала, то начинала плакать. Я не могу вспомнить, по какому поводу они ругались, возможно, к концу дня оба доходили до определенной кондиции, так как любили приложиться к виски, большие запасы которого я до сих пор нахожу в разных местах дома. Обычно с первыми визгливыми звуками голоса дэдди и плаксивыми всплесками матушки я быстро поднимался с кресла и бесшумно покидал место разворачивающегося семейного побоища. Резвоногая «ауди» в полчаса переносила меня из лесной глуши в чинный каменный К., в мой уютный кондоминиум, где меня ждали компьютер, вечерняя сигара, статья в «Ньюйоркере» и моя верная рыжая Банни.

На следующее утро я решил осуществить план, родившийся в моем мозгу на исходе ночи. Оставив недовольную Банни дома, я начал методично обходить поселок, улицу за улицей, прилегающие к тропе. Я прислушивался ко всем шорохам и звукам, доносящимся из внутренностей домов, к обрывкам разговоров и звукам радио. Я ждал указаний от своего слуха, зрения, обоняния и еще от чего-то, чему нет имени; все вместе должно было навести меня на след. В университете, занимаясь с иностранцами, я сталкивался с русскими. Не скажу, чтобы они меня привлекали. Главная черта, отличающая их от всех прочих, прибывших в

нашу страну, непомерная гордость и уязвленное самолюбие. Они мнят себя намного умнее и содержательнее здешних аборигенов, коренных американцев, и страшно недовольны, что те не хотят потесниться и пойти навстречу их преувеличенным амбициям. Звук русской речи был у меня на слуху, в X-е я занимался английским языком с одной русской девицей из какой-то таежной республики, а она, в свою очередь, обучила меня нескольким русским словам: *chord, nudag, genazval*. Наверняка это ругательства, так как она смеялась, когда их произносила, но для меня главное — их звучание. Похожие звуки я сейчас и вылавливал из окружающего меня пространства. Правда, большая часть домов молчала — хозяева или уже уехали на работу, или еще спали. Я уже подумывал вернуться, так как вспомнил, что забыл налить в миску Банни воды, как вдруг — я не поверил своим глазам — столкнулся с нею нос к носу. Она внезапно вынырнула из-за угла, в шортах и слишком яркой блузке, в руках у нее была продовольственная сумка. Увидев меня, она не попятилась, а улыбнулась, как знакомому. Я тоже ей улыбнулся и подошел.

— Вы понимаете по-английски?

— Когда говорят медленно и рядом нет собак.

— Из магазина? — я указал на сумку. Она кивнула:

— Но я купила немного, только для себя.

— Обычно вы покупаете больше?

— Да, когда моя дочка со мной, я покупаю больше.

— А где сейчас дочка?

— В лагере.

Она говорила с паузами, неуверенно, словно сомневаясь в каждом произнесенном слове. Так, должно быть, строят фразы на чужом, неосвоенном языке — его кирпичики известны, но куда их ткнуть — дело произвольного выбора.

— Вы давно здесь?

— Всего год, но за это время много чего случилось...

Она остановилась, словно не зная, стоит ли продолжать, но все же продолжила:

— Муж ушел к другой женщине, оставил нас с дочкой без всякой помощи...

Она искоса взглянула на меня и вдруг рассмеялась:

— Вы не хотите мне помочь?

От неожиданности я вздрогнул.

— В... каком смысле?

— В прямом. Донести сумку.

Я схватил ее сумку с продуктами, она была достаточно тяжелой.

Интересно, кем я кажусь со стороны, с продовольственной сумкой в руках и в компании этой странной русской в вызывающе яркой блузке? Зрелище не для слабых. И еще я подумал, что она напрасно рассказывает такие вещи совершенно постороннему человеку.

Не то чтобы я ее стыдился. Но теперь, когда я увидел ее вблизи при ярком солнечном свете, она действительно показалась мне не очень молодой и не слишком привлекательной. Я взглянул на ее руку, кольцо было на месте и словно подмигнуло мне красным огоньком. Возле небольшого, совсем простенького домика она остановилась.

— Здесь я живу. Спасибо за помощь.

Стоя возле двери, она помахала мне рукой.

— Захотите — приходите в гости, только без собаки.

И она захлопнула дверь.

Всю следующую неделю я писал статью. Работа меня увлекала. Фразу о «духовной провинции» я оставил без изменения и твердо решил за нее сражаться, если Нэнси Шафир на нее ополчится. Моя решимость вернула мне утраченное настроение, и я прямо с утра садился за свой портативный компьютер и работал до обеда. Обедать я ездил в рыбный ресторанчик неподалеку, на завтрак ел, как в детстве, кукурузные хлопья с молоком, на ужин — гамбургеры с сыром, ветчиной и салатом. В местном магазине был за всю неделю один раз; кидая сумки с продуктами в багажник резвоногой «ауди», естественно, вспомнил свою последнюю встречу с русской. Впрочем, я о ней не забывал. Выгуливал Банни на поводке по лесным тропинкам и оглядывался; все мне слышались какие-то шаги, мерещилось, что это она сзади, или впереди, или даже рядом. Я гнал от себя наваждение. Призывал на помощь реальность. За чем мне было влезать в проблемы женщины с ребенком,

которую бросил муж, женщины, плохо владеющей английским языком, некрасивой и немолодой?

Признаться, то, что она немолода и некрасива, не было для меня аксиомой. Я не знал точно, ни сколько ей может быть лет, ни хороша ли она собой. В последний раз я обратил внимание на ее довольно-таки гордый профиль и длинную шею, что, на мой взгляд, разительно не сочеталось с шортами и цветастой блузкой. Что касается ее возраста, то он, как и ее внешность, был ее внутренней составляющей, которую надо было принимать как данность. Да, на ее лице я заметил морщины и кожа возле глаз и на шее была увядшей, но сквозь морщины лица и увядшую кожу просвечивал некий изначальный образ, почему-то подчиняющий меня своему воздействию. Я боролся и протестовал, я не хотел слепо подчиниться каким-либо внешним воздействиям. Я дал себе зарок не искать с нею встречи до окончания статьи.

В пятницу вечером неожиданно позвонила Нэнси Шафир. Она весело осведомилась, как идет моя работа и хорошо ли мне отдыхается, пожаловалась на жуткую жару в городе и бросила как бы ненароком:

— Если ты не против, я бы приехала на уик-энд в твой райский уголок передохнуть и поработать.

Конечно, я согласился.

Нэнси — большая, грузная, веселая и на этот раз кудрявая, как пудель, привезла с собой огромную коробку с гамбургерами и дюжину пакетов с кукурузными хлопьями. Я расхохотался, увидев эти припасы, и высказался в смысле общности наших с ней кулинарных пристрастий. С Нэнси, пока она не садится на своего конька — политкорректность, — можно ладить. После завтрака и прогулки с Банни по лесистым тропинкам (Банни сразу признала Нэнси, которая обходилась с ней запросто), мы с «шефиной» взяли за статью. К моему удивлению, ее не задел пассаж про «духовную провинцию», зато она придралась к рассказу о любви Джеймса к писателю Тургеневу. Она настаивала, чтобы слово «любовь» было мною заменено на «дружбу», напирая на то, что при современной ситуации в области секса «нас могут неправильно понять». Если

учесть, что только в нашем отделении работают несколько геев и лесбиянок, ее опасения были не напрасны. Однако я заупряился. Не согласился я и на ее предложение удалить места, где у меня говорится, что Джеймс выступал против антисемитизма. Нэнси заявила, что, поскольку статья будет подписана двумя нашими фамилиями, соображения политкорректности велят отбросить еврейский вопрос в сторону. Меня всегда умиляло, как евреи боятся всякого публичного упоминания о своем происхождении. Кажется, для них лучше быть обвиненными в юдофобстве, чем прилюдно выказать симпатии к своим братьям по крови. Нэнси, услышав мои возражения, против обыкновения не стала давить, а только сказала, что все мужчины одинаковы и не ставят мнение женщин ни в грош. После этого она села на диван рядом со мной, тесно ко мне прижалась и сказала коротким и совсем не свойственным ей тоном:

— Кажется, я разведусь с Мигелем, он сволочь.

О ее муже, мексиканце, давно ходили разнообразные слухи. Говорили, что он путается со всеми подряд, невзирая на пол и возраст. Нэнси вышла за него два года назад, во время своих активных занятий латиноамериканской тематикой. Мигель был ее аспирантом, часто они за полночь засиживались в ее кабинете. Сотрудники, уходя домой, с непроницаемыми лицами, но уморительными телодвижениями прижимали палец к губам и на цыпочках проходили мимо Нэнсиной двери: «Т-сс, начальство занимается». Чем именно занималось начальство, было секретом полишинеля. За эти два года Нэнси располнела, начала красить волосы, пристрастилась к ядовито-оранжевому бурито, которое они оба поедали в обед, почти синхронно облизывая жирные, вымазанные соусом пальцы, и, на мой взгляд, сильно поглупела, так как парень был явно не из высоколобых. Все эти два года я помню ее с темными, гладко зачесанными волосами, собранными на затылке. Сейчас я подумал, что, вероятно, действительно в отделении и в ее жизни грядут перемены, ибо видел перед собой светлую блондинку в мелких кукольных кудряшках.

Банни не дала Нэнси до конца излить передо мной душу. Она вклинилась между мной и шефиной и потребовала

снова вывести ее на прогулку. Мы вынесли на улицу шезлонг и складное кресло и расположились на отдых. Банни легла в тени у меня в ногах.

День казался безразмерным, мы настолько разленились, что решили не ехать в ресторан и пообедать гамбургерами, заполонившими холодильник. Вечером после ленивой игры в бадминтон на подстриженном газоне, среди редких, фигурно подстриженных деревьев, Нэнси забралась в ванную и не вылезала оттуда часа полтора, так что я уже начал беспокоиться. Но она была в порядке — вышла, закутанная в банное полотенце, и осведомилась, где она будет спать. Я указал ей на диван в гостиной. Я не сомневался, что ночью она зайвится ко мне наверх. Так оно и случилось. Банни в этот момент, видимо, ею разбуженная, как-то странно завывала. Я давно подозревал, что у моей собачки чуткая женская душа. Было довольно гадкое ощущение, что мною хотят воспользоваться. Нэнси — вовсе не героиня моего романа, она толста, по возрасту я гожусь ей в сыновья, к тому же, у меня брезгливое ощущение, что она всегда слегка припахивает потом. Но и это не все. Мне с нею не интересно — вот что главное, мне не интересно с нею ни днем, ни ночью. Ее присутствие делает меня болваном, точно таким болваном, как ее усатый кот Мигель. Я не хотел быть уравненным с усатым Мигелем, но в данном случае ничего не мог поделать. Мне пришлось подчиниться обстоятельствам. Я не мог ее оттолкнуть.

Воскресенье прошло так же, как суббота. Когда утром в понедельник она уехала, я готов был пуститься в пляс.

Казалось, Банни понимает мою радость. У нее было какое-то задорное настроение, она металась по гостиной, задевая за стулья, я еле ее успокоил. Когда она легла у моих ног и я, под ее довольное фырчанье, стал медленно гладить ее рыжую короткую шерсть, я подумал, что вот единственное женское существо, которое не вызывает во мне раздражения.

В принципе статья была готова, осталось только уточнить некоторые мелочи. В частности, в воспоминаниях

о Тургеневе, которого обожал мой герой, я наткнулся на место, связанное с кольцом. Это был талисман, подаренный Тургеневым Полине Виардо. К самому Тургеневу кольцо перешло от некоего русского поэта Жуковского, а тот получил его от русского стихотворца Пушкина, автора либретто оперы «Евгений Онегин». К Пушкину этот талисман, по преданию, перешел от некоей его любовницы-цыганки, впоследствии жены русского князя или графа.

Я заинтересовался этой историей, так как мой герой, приехав в Париж, сдружился с одним русским, по фамилии Жуковский. Поль Жуковский был поздним, родившимся в Германии сыном Базиля Жуковского, он мог что-то слышать про необыкновенное кольцо, более известное под названием «талисман любви». Легенда гласит, что на нем были начертаны магические слова на Hebrew, отгоняющие неверность и измену и привязывающие его носителя к предмету первоначальной страсти.

История кольца таинственна. Мадам Виардо вернула его русским властям после кончины своего русского обожателя, но впоследствии оно исчезло и до сих пор не найдено. Мне не терпелось узнать, слышал ли Генри Джеймс о существовании этого кольца и — еще больше — видел ли он его.

Но эти детали не были столь уж важны, статья в целом была завершена, и тем самым я был свободен от данного самому себе зарока. Сразу же после отъезда Нэнси я отправился на прогулку в поселок, оставив притихшую Банни наедине с полными до краев мисками с едой и питьем.

Маленький домик стоял на том же месте, он мне не приснился. Я помедлил в тени стоящего напротив дома дерева. Из открытого окна до меня долетали звуки фортепьяно. Но играл кто-то неумелый, то и дело останавливаясь и спотыкаясь. Я подумал, что играет она из рук вон плохо, но тут музыка прекратилась, и из двери вышел маленький мальчик, лет четырех, в сопровождении своей мамы. Мама несла огромный портфель, видимо, набитый нотами, мальчик — тоненькую папочку. У обоих были серьезные и даже взволнованные лица, мальчик, казалось, вот-вот заплачет. Через минуту из дверей выбежала моя знакомая.

Она подбежала к мальчику и взяла его на руки. Тут уж он разревелся в голос, а она быстро-быстро что-то ему говорила, то и дело обращаясь к надувшейся пухлой мамаше. Общий звук разговора был такой: «Ви-и... нера-аа... пла-аа... ничи-ии». Мальчик чуть успокоился и был опущен на землю, мамаша взяла его за руку, и они проследовали к старенькой «вольво», стоящей не так далеко от дерева, за которым я скрывался. Машина взревела и покатила. Я оторвался от дерева и подошел к русской. Кажется, она меня заметила еще раньше, так как не удивилась.

— Вы в гости? А я думала, вы уже не придете. Проходите.

Я вошел. Комната была светлая, но небольшая, возле окна стояло фортепьяно, напротив у стены — диван с подушками, над которым висел портрет задорной девочки-подростка с двумя косичками. Я сел на диван и чуть не опрокинул маленький круглый столик со стеклянной вазой посередине.

— Осторожнее! — у нас мало места.

Хозяйка подхватила вазу и засадила в нее еловую ветку с шишками, какие валяются вдоль лесной тропы. На ней было уже знакомое мне светлое платье. Ничего нового в ее внешности я не заметил. Да, кольца на ее руке не было. Наступила минута неловкости, когда не знаешь, с чего начать. Она поднялась и подошла к фортепьяно.

— Хотите, я сыграю для вас?

И, даже не взглянув в мою сторону, открыла крышку. И начала играть. Если я правильно понял, она играла Шопена. Было впечатление, что это такой способ разговора. Она мне так о себе рассказывала. Но, чтобы понять, надо было что-то изначально знать о ней или хотя бы о Шопене. Я не знал ни того, ни другого. У меня не было к этой музыке ключа. Что касается музыки как таковой, я не большой любитель этюдов и мазурок, хотя признаю, что играла она превосходно.

— Вам не понравилось? — она захлопнула крышку и на меня опять не смотрела.

— Почему вы думаете?

— Я всегда чувствую, когда есть отклик, а когда нет.

— Вы музыкант?

— Была. Здесь я даю уроки музыки русским детям. Хотите чаю?

— Я бы выпил воды.

— Я забыла, что вы американец, русские от чая не отказываются.

Она принесла мне стакан воды из холодильника.

— Кстати, мы с вами еще не познакомились. И она назвала себя, а я — себя. Ее звали Liza. Я спросил, типичное ли это имя. Она ответила, что это имя сейчас не очень популярно, но оно традиционно для ее семьи. Понемногу она разговорилась. Ее речь была очень замедленна и грамматически неправильна, и слова она произносила с жутким русским акцентом. Но я ее понимал. А она призналась, что мой американский понимает с трудом. Рассказала, что родом из Петербурга и что ее семья с дворянскими корнями и с польской кровью — отсюда ее любовь к Шопену. Ее дед-дворянин погиб в лагере, и отец был на каторге. Кажется, она даже назвала какой-то известный польский род, увековеченный в истории, фамилия на букву В, типа Branskiy или Branidanskiy. Я спросил, куда делось ее кольцо. Оказалось, что она снимает его во время занятий музыкой. При мне она взяла его с крышки фортепьяно и надела на палец.

— Нравится? Я кивнул.

— А то кольцо... которое вы нашли... оно с вами?

Я достал свою находку из кармана шорт. Белый прозрачный камушек в окружении шести алых капель.

— Брильянт и рубины! — провозгласил я, смеясь.

— Чешское стекло, — сказала она как-то уж очень уверенно и серьезно, словно столкнулась с давно знакомой вещью, и продолжала в какой-то отключке:

— Карловы Вары. 1987 год. Он сказал, что наша любовь до гроба. И подарил мне кольцо.

Ее голос дрожал, а взгляд она отводила. Когда я все-таки заглянул ей в глаза, мне показалось, что в них стоят слезы. Но она быстро отвернулась. И потом уже только улыбалась.

— Бойтесь этого кольца, — шутливо погрозила мне пальцем, — оно... и она употребила русское слово, звучание

которого я забыл. Что-то типа «privotное» или «prirotное». Я спрятал кольцо в карман и поднялся.

— Спасибо за музыку, за разговор и за воду.

Я старался говорить отчетливо, она поняла мою фразу и рассмеялась.

— Приходите еще, расскажете мне о себе. В пятницу приезжает Полинка — я вас с нею познакомлю. Девочка очень страдает... без отца, — и она показала на задорную девчонку с косичками, висящую над диваном. Я простился и вышел.

Во вторник мы с Банни быстро собрались и уехали в город. Мой двухнедельный отпуск кончился, статья о Генри Джеймсе была написана, больше меня ничего не привязывало к этому глухому местечку. Перед отъездом я в последний раз обошел дом, поднялся в спальню родителей, где посещали меня бессонные ночи, постоял в гостиной, где в углу угнездилось матушкино кресло, в котором мне любилося отдыхать. Обошел я и все тайники с крепкими напитками, которые мне удалось отыскать. Было мгновение, когда в тишине дома я вдруг услышал отголосок родительской ссоры и матушкин плач. Бог знает, может, мне следовало вмешиваться в их громкие разборки? Я почти уверен, что именно дэдди свел матушку в могилу, ее унижали и травмировали его крики и ругань. А сам он? Разве смог он жить один, когда ее не стало, с ощущением, что он был причиной ее смерти? С другой стороны, начни я тогда вмешиваться в ссоры родителей, возможно, и на меня обратились бы их пьяная брань и крик. Нет уж, я правильно делал, что не вмешивался. И я правильно делаю, что спешу уехать из этого дома и из этого места.

В последнюю бессонную ночь я определил для себя дальнейшую стратегию. Пожалуй, мне следует проветриться. Мне, как и моей научной работе, не повредит соприкосновение с Европой, где долгие годы жил и где в конце концов умер Генри Джеймс. Я разовью перед Нэнси Шафир план моей предполагаемой научной командировки. Париж — Венеция — Лондон. Возможно, она даже захочет

ко мне присоединиться на определенном ее этапе. Скажем, провести несколько дней в Париже или на Сицилии... несколько дней, не больше. Все остальное время я буду один, один или вместе с Банни, я еще не решил.

Я уезжал из родительского дома в хорошем, бодром настроении, в предвкушении нового этапа своей жизни. В самый последний момент, уже усадив Банни на заднее сиденье и заведя мотор, я вышел из машины и сделал несколько шагов по лесистой тропе. Я вынул из кармана шорт колечко с белым прозрачным камушком и шестью кровавыми лепестками — и с громким криком закинул его в самую гущу листвы, перепутанной с хвоей, на противоположный конец мира, в антимир. Я был отныне свободен, и Банни, будто почуяв мое освобождение, приветствовала его громким, залившимся лаем.

Август 2003

Макс

Опять этот взгляд. С утра хочется, чтобы на тебя глядели доброжелательно, весело, а тут... А еще служащий супермаркета! В России, помню, говорили, что они все обязаны улыбаться, иначе выгонят с работы. Этот не улыбается, смотрит исподлобья и как-то очень пристально. Правда, он не кассир, не менеджер, просто рабочий, каких в этом супермаркете много. Правда, он от прочих отличается чем-то. В нем есть какая-то интеллигентность что ли, лицо не тупое, со своим выражением. Маленький, сутулый, с черными волосами, что-то еврейское во внешности, определенно что-то еврейское. А впрочем, что мне до него и его пристального взгляда?! Отхожу от секции, где он копошится, выкладывая что-то из коробок, и подхожу к кассе. Кассир — моя хорошая знакомая, Вайолет. Помню, когда в первый раз я пришла за покупками в этот ближайший от дома супермаркет и оглядывалась, к кому подойти, Вайолет сама пригласила меня к себе. Возможно, увидела, что у меня мало продуктов — а она работала на экспресс-линии, — но, скорее всего, я ей чем-то понравилась. С тех пор я хожу только к ней. Мы с нею очень подружились. Мне иногда и в магазин-то не нужно — дома все есть, — так я специально, чтобы с Вайолет пообщаться, спешу с утра в наш Стоп-маркет. Это, можно сказать, мое единственное общение с американцами на их языке. Я этим общением дорожу. Да и настроение с утра поднимается — очень она по-доброму улыбается и всякие хорошие слова говорит на прощание. Вот и сейчас Вайолет смотрит на меня по-особому, не как на обычного покупателя, и вопрос свой, задаваемый по заведенному

порядку, задает со значением, и ответ мой и встречный вопрос выслушивает внимательно. А потом вынимает откуда-то фотографию и протягивает мне. На фотографии девушка лет семнадцати, веснушчатая, светловолосая, в простеньком спортивном костюме.

— Джессика? — догадываюсь я. Об этой Джессике Вайолет мне все уши прожужжала — из троих детей она ее любимица, спортсменка, бегают на короткие дистанции.

— Хорошенькая, — говорю я. Вайолет ждет еще чего-то, и я добавляю: — Женственная, хоть и спортсменка.

Девушка, на самом деле, как все американки, женственности почти начисто лишена, но мне больше ничего не пришло в голову, да и это-то сказалось с трудом, мой английский сильно скукожился с момента приезда в этот город, где все вокруг меня говорят по-русски. Вайолет уже сложила тем временем мои покупки в две пластиковые сумки, завязала их узлом и протягивает мне. Я возвращаю ей фото Джессики. Мы прощаемся, и Вайолет со значением желает мне хорошего дня. Когда я перед дверью непроизвольно оглядываюсь, ОН стоит возле своей полки разогнувшись во весь свой небольшой рост и смотрит прямо на меня не отрываясь. Мне даже кажется, что он слегка кивает головой...

На следующее утро, идя в Стоп-маркет, я думала о Вайолет. Неделю тому назад она, как и вчера, протянула мне фотографию, даже две. На одной была изображена какая-то святая пещера, из чего я заключила, что Вайолет очень набожна, а на другой — наш сегодняшний президент со своей супругой. Оба гладенькие, розовенькие, со сладчайшими улыбками на разомкнутых устах. Фотография эта выпала у меня из рук — так она была неожиданна. Подняв ее, я протянула обе странные открытки Вайолет. Но оказалось, она мне их дарит, она купила их для меня.

— Для меня? Спасибо. Большое спасибо. Но почему? Зачем?

Она любит открытки с могилами святых и обожает нынешнего президента и его сладкую жену. Неужели я не одобряю ее вкуса?

— О нет, одобряю, конечно, одобряю, — воскликнула я, пожалуй, с излишней горячностью.

Обе эти открытки, прежде чем их выбросить в корзинку с мусором, я показала сыну. Мы с ним долго хохотали. Мы хохотали с ним точно так, как тогда в Италии, много лет назад.

Тогда в Италии, много лет назад, один банкарельщик, мимо которого мы с десятилетним сыном постоянно проходили, так как жили в доме над банкареллой, очень нам радовался. Он махал нам приветственно рукой, и лицо его при этом сияло и лоснилось от счастья. Был он большой, толстый, очень черный, так что даже закрадывалось подозрение, не красит ли он волосы, так как возраст у него должен был быть солидный. Он продавал какую-то ерунду типа шнурков для ботинок и всевозможных лент, так что я даже ни разу не остановилась возле его прилавка. Но однажды он подозвал нас с Олегом и спросил, поедем ли мы в Россию в ближайшее время. Я подивилась тому, что он знает, что мы из России, — мы с ним разговаривали в первый раз. Тогда я как раз собиралась в Россию, может, банкарельщик был телепатом? Он сказал, что хочет иметь русскую икону, он, конечно, знает, что настоящие иконы очень дорогие. Если мы поедем в Россию, хорошо бы мы привезли ему маленькую недорогую иконку — он в долгу не останется. Через какое-то время мы с Олегом вручили банкарельщику прелестный деревянный образок, на котором Спаситель был точно срисован с рублевской иконы. Мне даже хотелось оставить его себе, такой он был теплый да светлый! Банкарельщику, наверное, он тоже понравился, он долго смотрел на лицо изображенного, потом поцеловал образок и спрятал его в карман брюк. Олег потянул меня за рукав — ему, подвижному подростку, не стоялось на месте, тем более что банкарельщик и его товар были ему неинтересны. Но банкарельщик жестом попросил нас остаться, вытащил из другого кармана какой-то клочок и протянул нам. На плохо вырезанном из журнала обрывке бумаги был изображен гроб, в котором кто-то лежал. «Святая Елизавета», — пояснил банкарельщик, указывая на мертвое тело. И он протянул

клочок мне. И снова я была застигнута врасплох, как в случае с карточкой президента. Я отшатнулась, не веря: «Вы...вы это мне?» Олег, как всякий юнец, соображавший лучше взрослого, выхватил бумажонку из рук банкарельщика, и мы с ним быстро завернули за угол. Надо было спешить, потому что нами обоими овладел неудержимый приступ смеха. Боюсь, что банкарельщик успел увидеть наши скорчившиеся от смеха фигуры или мог услышать наш с Олегом пантагрюэлевский хохот из-за угла. Вполне вероятно, так как все последующие дни во время наших проходов вдоль банкареллы банкарельщик нам больше не улыбался и нас не приветствовал, а смотрел куда-то вниз, на свои ботиночные шнурки. Мы с Олегом тоже отводили от него взгляд, так как при виде его нас обоих почему-то разбирал смех.

В Стоп-маркете было даже прохладно. Весна в этом городе — самое приятное время года, но сегодня с утра было довольно жарко, так что под кондиционером можно было отдохнуть и расслабиться. Звучала тихая, ненавязчивая музыка. Взяв сумку для продуктов (коляску я не люблю), я через раскрывшуюся навстречу дверь проследовала в зал. Почти одновременно со мной мне навстречу двинулась какая-то небольшая фигура. Вглядевшись, я убедилась, что это ОН. Он шел мне навстречу и — о чудо — улыбался. Маленький, невзрачный, взъерошенный, с типично еврейским носом-бульбочкой. Когда он был уже в двух шагах, я подняла правую ладонь к лицу — тогда он отшатнулся. Может, он увидел кольцо, которое я сегодня почему-то надела на палец? Оно походило на обручальное и золотое, но не было ни тем, ни другим. Он отшатнулся, и улыбка сползла с его лица, как шкурка змеи. Лицо стало смазанным, словно с него стерли выражение. Он резко повернулся и пошел назад, к своим полкам. Он не оглядывался.

Я спросила Вайолет, как зовут рабочего, который так неумоимо разгружает коробки. Она ответила: «Макс». Еще она сказала, что он одинок и живет вдвоем с матерью.

— Это нетипично для американца, — промямлила я первое, что пришло в голову.

— О да, — подтвердила Вайолет, — но он американец. Впрочем, возможно, в первом поколении.

Сама она тоже была американкой в первом поколении. Ее родители, как она мне рассказала при нашем знакомстве, прибыли в Америку из Польши. Но она была тогда слишком мала, чтобы сохранить язык, так что польского она не знает. А муж у нее стопроцентный американец, он владеет мотелем в штате Мейн, на берегу океана. Вайолет обещала мне принести фотографии этого мотеля, но пока принесла только открытки с гробницей и президентской четой...

Смотрю, как аккуратно складывает Вайолет в пластиковые сумки мои продукты, как вкладывает одну сумку в другую, чтобы, чего доброго, пластик не прорвался. Я не говорила ей, что хожу сюда, в Стоп-маркет, пешком, но, по всей видимости, она сама догадалась, для покупателей на автомобилях такой серьезной упаковки не требуется... На прощание, уже обслуживая нового покупателя, Вайолет шепчет: «У Джессики скоро соревнования, она надеется стать чемпионкой», и я радостно киваю этому известию. Выхожу во влажную жару улицы и почти сталкиваюсь в дверях с сухой, кислого вида менеджершей. Она делает улыбку, то есть разжимает, а потом снова сжимает уголки рта, я отвечаю ей кивком — и настроение сразу падает. Я, признаться, ее не люблю. Иду мимо бензоколонки и боковым зрением автоматически фиксирую быстрый взгляд ее служащего. Ну и надоела же я ему, наверное, за этот год, что здесь живу и хожу по этому маршруту. Однако в нем развито любопытство, возможно, он видит, что сегодня на мне красивая цветная кофточка, а на руке новое кольцо. Мне это приятно. Через двадцать минут я дома и вынимаю продукты, одновременно обдумывая, какую кастрюлю или сковородку нужно вынуть из шкафа. Я ведь по старинке готовлю еду каждый день. Каждый день — свежую еду. Я ужасно избаловала своих мужчин, но так повелось еще с Италии.

В Италии супермаркет назывался «Сидис». Он был намного привлекательнее американского, хотя и меньше по размерам. Такой домашний, уютный, там было так много

вкусных вещей, которые хотелось попробовать или даже просто рассмотреть. А фрукты и овощи не стоит и сравнивать с американскими, в итальянских плодах чувствовалась какая-то первозданность, близость к земле, а не к лаборатории.

И кассиры там были все такие подтянутые, симпатичные, и даже рабочие. Одного звали Сандро, он меня всегда замечал и кивал мне с веселой улыбкой. Потом он куда-то исчез — говорили, что женился, причем сделал хорошую партию. Я видела его, когда он давно уже не работал в «Сидисе», он шел по улице с какой-то довольно полной дамой в нитяных перчатках и шляпке. На нем тоже было что-то торжественное, плохо помню что. Он тянул спутницу за собой, она из-за высоких каблучков шла медленно и переваливалась, как утка. Когда они со мной поравнялись, он незаметно мне подмигнул. Вот она, Италия!

В среду прямо возле дверей Стоп-маркета я увидела большой дисплей. На нем помещались фотографии всех служащих магазина. На самом видном месте красовалась кислая неаппетитная менеджерша. Даже ослепительная улыбка не делала ее приятнее. Фото Вайолет я нашла в самом углу, она тоже улыбалась, но не механически. Макса на дисплее не было.

Он встретился мне в торговом зале — стоял возле полок с соками, рядом громоздилась гора коробок. Я остановилась неподалеку, разглядывая разноцветные пузатые бутылки. И тут до меня донеслось какое-то бормотанье. Макс тихо и словно про себя говорил что-то злое и резкое. Он не смотрел на меня, слов я не понимала, но было ясно, что он ругается. Сердится за вчерашнее? Я поскорее отошла с бьющимся сердцем. Скорее всего, он просто сумасшедший. Разговаривает сам с собой. Еще хорошо, что его, кроме меня, никто не слышал, а не то... Хотя работу в супермаркете он всегда найдет. Подумаешь — самый маленький винтик в механизме огромного магазина. Вайолет я не нашла на ее обычном месте. Пришлось обойти все кассы, прежде чем почти в самом конце я ее обнаружила. Она была чем-то расстроенная, рядом стояла раскрашенная, сухая, как египетская мумия, столетняя старуха, обычно помогавшая кассирам

укладывать продукты. Из-за этой старухи Вайолет не могла ничего объяснить, только поблагодарила, что я ее нашла.

— Да, вы сегодня почему-то не на обычном месте. Я так привыкла, что вы на экспресс-кассе, и, наверное, другие покупатели тоже привыкли. Вы ведь здесь в магазине самый лучший работник.

Я не льстила, она действительно отличалась от всех прочих кассиров-автоматов, у нее с покупателями складывались человеческие отношения. Вайолет смотрела на меня неопределенно и оглядывалась на раскрашенное чудище. Сложив мои покупки, она с особым чувством произнесла обычное «Доброго вам дня!».

На следующее утро я долго решала, идти или нет в Стоп-маркет. Все продукты у меня были. Хорошо было бы запастись солью, которая подходит к концу. Но пугал Макс. Что если он опять станет ругаться? Даже при том, что он на меня не смотрел, я чувствовала, что именно мне он шлет свои отрицательные заряды. Поразмыслив, я решила при встрече сказать ему что-нибудь типа: «Почему вы такой злой?» Это было бы забавно, и я отправилась в магазин в хорошем, даже чуть игривом настроении. Купив соль, я несколько раз специально обошла все отделы. Его не было. У витрины с сосисками я задержалась, там была большая скидка на польскую колбасу, — и как раз в этот момент из стеклянных дверей, ведущих в кладовку, вышел Макс. Вернее, не вышел, а почти выбежал, везя за собой тележку все с теми же коробками. Может, он увидел меня через стеклянную дверь? Он посмотрел на меня как-то особенно пристально, словно хотел о чем-то спросить. Еще минута — и он бы ко мне подошел. Но этого не случилось, мне пришло в голову, что такой взгляд граничит с нахальством, и я быстро отвернулась, а потом почти побежала к кассе, махнув рукой на польскую колбасу.

Вайолет была на своем обычном месте. Кроме меня, возле ее кассы никого не было. Раскрашенная старуха стояла в отдалении и косилась в нашу сторону. Мы обменялись добрыми приветствиями, и в ответ на мой невысказанный вопрос Вайолет зашептала, что Кэролайн (так звали противную менеджершу) точит на нее зуб и всячески

притесняет. Ей, видно, не нравится, что Вайолет любят покупатели, что многие пожилые специально приходят в магазин с ней пообщаться.

— И не только пожилые, — улыбнулась я, показывая на свою банку с солью. — За солью я могла бы прийти в другой раз, но...

Тем временем Раскрашенная начала перемещаться от кассы к кассе и через секунду оказалась рядом с нами. Делать ей здесь было совершенно нечего, Вайолет уже положила мою банку с солью в пластиковую сумку и завязала ее, по своему обыкновению. Закрадывалось подозрение, что Раскрашенная приставлена к Вайолет для слежки. Она величаво улыбалась, не разжимая тонких, густо накрашенных лиловых губ. Искоса на нее поглядывая, Вайолет круто изменила разговор.

— Моя Джессика, — сказала она уже нам обеим, — тренируется до потери сознания, в это воскресенье в нашем городе будет всеамериканский забег, ее включили в список. Раскрашенная пожевала губами и что-то сквозь них процедила. Я пожелала Джессике успехов. Мы с Вайолет душевно простились, и я побрела в обратный путь мимо мчащихся по шоссе автомобилей.

В пятницу я забежала в Стоп-маркет на минутку — мне нужна была поздравительная открытка. Проторчала я там, однако, почти час — открытки продавались на все случаи жизни, ужасно дорогие и чудовищно безвкусные. Пока я добралась до раздела «день рождения сына», миновав разделы «день рождения друга», «подруги», «отца», «матери» и так далее, прошло как минимум полчаса. Все это время Макс в торговом зале не появлялся. Мне почему-то казалось, что он сидит в подсобке и наблюдает за мной из своего укрытия. Я даже прошлась пару раз мимо стеклянных дверей. Но оттуда редко кто выходил — все больше молодые, мощные парни, работавшие на разгрузке овощей. Когда я уже разжилась не очень дорогой и не самой безобразной открыткой и, сжимая ее в руке, шла к кассе, мимо меня с независимым видом продефилировал Макс. Он даже не посмотрел в мою сторону. На нем была белоснежная рубашка и красивые темные брюки, что

очень подходило к его низенькой неказистой фигуре. В таком виде она приобретала даже некоторый шарм. Лица его я не видела, но даже по спине можно было догадаться, что оно выражает презрение. Я догадалась, что презрение предназначалось мне. Значит, он на меня в обиде? Считает гордячкой? Тупой занудой? Но у меня и в мыслях не было его обижать, мне просто не понравился его взгляд. Все же я уже не девочка, есть какие-то приличия... Пожав плечами, я подошла к экспресс-кассе. Но Вайолет опять не было на месте. В этот раз я нашла ее у самой последней кассы. При виде меня она по обыкновению просияла, но потом взгляд ее померк и, беспокойно оглядываясь, она быстро-быстро зашептала, что менеджерша не дает ей нормально работать, изводит придирками и замечаниями. Вайолет даже сказала, что, возможно, ей придется сменить работу, хоть она и дорожит такими покупателями, как я. Раскрашенной рядом не было, но к этой кассе стояла, как всегда, большая очередь, все как один — с огромными тележками, доверху набитыми продуктами. Страшно было видеть маленькую хрупкую Вайолет (мы с нею одного сложения), запикивающую в сумки бесчисленные коробки, банки и бутылки. Я дотронулась до руки Вайолет и вложила в слова все мое сочувствие. Я сказала: «Ничего, все устроится». Но по-американски это прозвучало как-то вяло и совсем неубедительно. На прощание, уже занимаясь следующим покупателем, расставившим на движущейся к ней дорожке целую батарею бутылок с кока-колой, Вайолет повернулась ко мне и сказала: «Мэри, хорошего тебе уик-энда». До сих пор она никогда не показывала, что запомнила и знает мое имя. Мне стало так хорошо и одновременно так грустно, что я, ничего не ответив, поспешила удалиться.

В субботу и воскресенье я в Стоп-маркет не хожу, поэтому дни эти я выпущу из своего рассказа. К понедельнику наш холодильник оказался совершенно пуст, и нужно было идти в Стоп-маркет за Большими покупками. Утро понедельника — совершенно мертвое время для продуктового магазина, можно сказать, что я была в нем одна. Методично обходила все секции, накладывая в свою корзинку всякие коробки и банки, заодно наблюдая за

происходящим. В отсутствие покупателей по залу носилась мегера-менеджерша с недовольной гримасой на сморщенном злом лице. Завидев меня, она сделала привычную улыбку, которая тут же сменилась прежним злым выражением. Ее клеветка Раскрашенная стояла напротив одной из касс и разговаривала о чем-то с пожилой, усталого вида кассиршей. Вайолет на ее обычном месте не было — значит, ее опять запихнули в последнюю кассу. Макс тоже не попадался мне на глаза. Внезапно он вынырнул из-за угла соседней секции. Для нас обоих это было так неожиданно, что мы остолбенели. Взгляды наши встретились. Я пришла в себя первая и с независимым видом продолжила свой обход прилавков. Он тоже отошел, смущенно почесывая переносицу. Сегодня на нем был обычный синий халат рабочего, однако мне почудилось, что даже и в нем он выглядит вполне пристойно, словно на его халат легла тень его недавнего красивого наряда.

С полной корзиной я дотащилась до последней кассы, за которой работала Вайолет. Она стояла сгорбившись, глядя в пространство, и мне показалось, что в глазах у нее слезы. Но, завидев меня, она встрепенулась, глаза ее просияли. Собирая и складывая в сумки мои продукты, Вайолет говорила спокойным, ровным голосом, возможно, чтобы не привлекать внимания менеджерши, сновавшей по всему огромному пространству зала. У Джессики в воскресенье были соревнования. Девочка к ним готовилась весь год, она ужасно способная бегунья на короткие дистанции. И она прибежала первая, первая, хотя соревновались спринтеры из всех американских штатов, — тут Вайолет остановилась и посмотрела на меня. На моем лице она могла прочесть искреннее восхищение достижением Джессики, я уже готовилась произнести надлежащую фразу — «чудная девочка» или что-то в этом роде, но Вайолет продолжила тем же ровным голосом, только чуть запинаясь. Джессике после финиша стало очень плохо, она начала задыхаться, вся посинела и покрылась испариной. Ее срочно отвезли в больницу. Сейчас она в реанимации. Голос Вайолет задрожал, она не могла продолжать. Я стояла возле нее и не знала, что сказать. Покупателей рядом не было, боковым

зрением я заметила Макса, он, выпрямившись, прислонился к полкам неподалеку и глядел в нашу сторону. В следующую минуту я увидела, как он почти вприпрыжку двинулся к кассе Вайолет. Добежав до нас, он состроил уморительную гримасу и три раза прокричал смешным тоненьким детским голосом: «Вайолет, Вайолет, Вайолет». Вайолет, готовая расплакаться, засмеялась. Улыбнулась и я, а Макс тем же манером поскакал к своим полкам. Все произошло очень быстро, и, кажется, менеджерша ничего не заметила, а Раскрашенная, хоть и посматривала в нашу сторону, продолжала свой разговор с усталой кассиршей.

После выходки Макса слезы Вайолет высохли, она глубоко вздохнула и сказала:

— Мэри, я знаю, Господь нам поможет.

И тут меня словно что-то ударило:

— погоди, Вайолет, у меня что-то есть для тебя.

Я полезла в сумку и нащупала в секретном отделении завернутую в бумажку картинку. Это была Божья Матерь Владимирская — мой талисман, вожу ее с собой из страны в страну, и везде она отгоняет от меня темную и злую силу.

— Возьми, — я протянула картинку Вайолет, — она поможет, она женщина, и она мать, поможет обязательно.

Мне показалось, что Вайолет произнесла «Мария». Возможно, она помнила это имя со времен своего польского детства. Она схватила картинку, и моя Мария перешла к ней, чтобы спасти ее Джессику. Я собрала аккуратно уложенные и перевязанные Вайолет сумки, в каждую руку по две, и, попрощавшись, вышла из магазина, слегка пошатываясь. Дул ветерок, и мне казалось, что я песчинка в беспредельности мира, маленькая и незащищенная, открытая всем ветрам.

Во вторник Вайолет не было ни за первой, ни за последней кассой. Усталая кассирша, работавшая на экспресс-линии, на мой вопрос ответила, что Вайолет взяла расчет и больше здесь не работает. Почему? О, она не знает причины. Впрочем, вы можете узнать у Кэролайн, и она указала в сторону менеджерши, криво мне улыбнувшейся из-за соседней кассы. С нею рядом, словно ожившая

египетская мумия, стояла Раскрашенная, закладывавшая в сумки покупателей на пару с патронессой коробки, банки и бутылки. Усталая кассирша протянула мне сумку, я так неловко ее перехватила, что мои покупки — хлеб, колбаса, банка джема — попадали на пол. Вайолет всегда завязывала мои сумки узлом. Но Вайолет больше здесь не работает, я никогда ее больше не увижу.

Я шла со своей пластиковой сумкой мимо несущихся с бешеной скоростью машин по безлюдному городу и думала. Мысли были одна тяжелее другой. Вайолет нет, как скучно теперь будет ходить в Стоп-маркет, каким негостеприимным он станет без нее! Нет там больше ни одного живого человека. Вдруг я встрепенулась. Как нет — а Макс? Я забыла про Макса. Сегодня его почему-то нигде не было видно. Но он на месте, я уверена. Сидит в подсобке и наблюдает за покупателями через стеклянные двери, высматривает меня. Маленький, взъерошенный, что-то бормочущий, немножко сумасшедший Макс. Господи, как хорошо, что он есть! Щупальца, схватившие сердце, разжались, и я продолжила свой путь вдоль автомобильной трассы по безлюдному весеннему городу.

Октябрь 2004

Оправдание

«Здравствуй, я звоню тебе из Рима. Ты не представляешь, как прекрасен Рим в эти рождественские дни. Как блестит и переливается огнями площадь Испании, как замысловато украшена ее знаменитая лестница. А театральные представления на площади Навона, а Пинчо! Ты хочешь сюда, ко мне? Из своей неуютной (или уютной) московской квартиры? От своего одиночества (или от своего мужа и детей). Эх, если бы я мог перенести тебя за многие километры, через поля и леса, а также моря и горы!» Все это я проговариваю мысленно за те несколько минут, пока в телефонной трубке звучит: «Алло, я слушаю! Говорите! Говорите же! Я вас не слышу. Извините, но вам придется перезвонить». Я кладу трубку на рычаг, в ушах еще звучит твой голос, твои недовольно-раздраженные, но такие певучие интонации. Счастлив ли я в этот момент, трудно сказать. Но вот уже двадцать лет я звоню тебе регулярно то из Нью-Йорка, то из Калькутты, а то с Соломоновых островов. Я не знаю о тебе ровно ничего, даже замужем ты или нет. Двадцать лет назад в каком-то занюханном портовом киоске в Калифорнии я случайно купил русскую газету и наткнулся в ней на твою статью. Статья была о каком-то современном художнике, на картинке была изображена гитара. Я сначала увидел только картинку и подумал, что не гитара это, а женщина, а потом углядел под статьей твою фамилию. Я сразу все вспомнил, у меня заныло внутри, и я написал «письмо в редакцию» с просьбой прислать твой телефон. Странно, но они прислали. С тех пор я звоню тебе с регулярностью своих переездов из всех городов мира. Лекции, семинары, коллоквиумы требуют

моего присутствия то на Аляске, а то на Мадагаскаре. Я физик-теоретик, создавший свою «картину мира», во многом опровергающую эйнштейновскую. Я еще молод и достаточно мобилен, мое имя завораживающе действует на интернациональных коллег, и без меня не обходится ни один более или менее значительный теоретический симпозиум. После заседания я обычно брожу по незнакомому (или знакомому) городу, впитываю впечатления, затем покупаю телефонную карточку, ищу уединенный автомат, набираю твой номер и... «Алло, я слушаю. Говорите. Говорите же. Я вас не слышу. Извините, но вам придется позвонить еще раз». В этом месте ты вешаешь трубку. Я кладу свою на рычаг и возвращаюсь в гостиницу.

Я учился в одном классе с твоим братом. После уроков мы шли с ним к вам домой «кормить эту зануду». Он разогревал обед и звал тебя к столу. Ты сидела в углу, на диване, уткнувшись в очередную толстую книжку или тяжелый альбом. К столу шла нехотя, почти ничего не ела, на мое присутствие не реагировала. Меня разбирало любопытство: что там в твоих книжках и альбомах. Однажды я выхватил альбом из твоих рук и взглянул на иллюстрацию. Там была голая женщина, она лежала спиной ко мне, лицом к зеркалу, в котором частично отражалась. Я не ожидал такой картинки, даже присвистнул, а ты, ужасно покраснев, назвала меня «тупоголовым идиотом» и, подхватив альбом, с независимым видом проследовала к своему дивану. С тех пор я больше к вам не приходил, хотя Сережа, твой брат, настойчиво меня звал. Понравилась ли ты мне? Мне было двенадцать, тебе на три года меньше. Наверное, ты была тогда «гадким утенком», но лебедем я тебя так и не увидел. Ты мне понравилась «гадким утенком», понравилась сразу и навсегда. Наверное, я сильно изменился за эти годы — из нелепого подростка превратился в уважаемого джентльмена, с «хорошим» славянским лицом и уверенной походкой. Но, увы, ты была права, назвав меня «тупоголовым идиотом». Я так и не научился понимать живопись, да и в жизни, в личной моей жизни, мне не слишком везло. Был я три раза женат, наплодил детей, живущих со своими мамашами во

всех частях света, но жил и живу с ощущением одинокого странника, лишённого дома и очага. Та единственная, которая могла бы дать и то и другое, осталась где-то там, на просторах детства. И вот я пытаюсь вызвать тебя из твоего небытия, вернее, из незнакомого и враждебного мне московского бытия. Я безмолвно взываю к тебе, я признаюсь тебе в любви и приглашаю в путешествие. «Извините, но я вас не слышу, перезвоните, пожалуйста».

Твой голос за эти двадцать лет почти не изменился. Интонации — пожалуй, да. С годами они стали раздраженнее, нервнее. Правда, сейчас я начинаю замечать, как они становятся все мягче. Ты просишь, даже молишь, чтобы я отозвался, тебе так хочется услышать меня, понять, чего я от тебя хочу. Ты уже научилась распознавать мои звонки, и я не удивлюсь, если ты называешь меня своим подружкам (или мужу) «мой Петрарка». Да, наверное, именно так ты меня называешь. Возможно, я даже помогаю тебе жить. Когда тебе плохо, когда случается беда или размолвка (с мужем? с детьми?), возможно, ты говоришь себе: «Есть человек, который меня любит, но боится в этом признаться», и это дает тебе силы для жизни. Люблю ли я тебя? Я люблю тебя всей силой моих детских мечтаний и грез, люблю, «как сорок тысяч братьев любить не могут», и это чувство — единственное мое оправдание в жизни. Да, единственное. И если детские сказки окажутся правдой и меня призовут на Страшный суд, одно слово, которое смогу я извлечь из себя в свою защиту, будет «любил».

Услышишь ли ты когда-нибудь мой голос? Не знаю. Со временем во мне пробудился страх. Я боюсь, что окажусь не тем, кого ты ждешь, что снова сыграю роль «тупоголового идиота». К тому же муж, дети, не верится, что ты осталась одна. И вот я звоню тебе из Нью-Йорка: «Дорогая, я хочу пройтись с тобой по этому марсианскому городу, показать фантастические планы и ландшафты, погулять по ночному Бродвею. Ау, ты слышишь меня, ты слышишь барабанный стук моего сердца?» И твой такой знакомый голос, идущий навстречу: «Алло. Я слушаю. Говорите! Говорите же!» Ты молчишь и прислушиваешься. Ты ловишь мое дыхание. Ты рисуешь себе мой скрытый

ОПРАВДАНИЕ

от тебя образ. Ты уже почти любишь меня. «Извините, но я вас не слышу». В твоём голосе отчаяние. «Перезвоните, пожалуйста». И ты медленно, очень медленно вешаешь трубку.

Январь 2001

Путешествие к Панаевой

*Чтобы понять человеческую душу...
ее нужно рассматривать в свете
некоего определенного события.
(Жорж Санд. Маркиз де Вильмер)*

Панаева

На этот сайт я вышел случайно. Меня интересовала Панаева, Авдотья Яковлевна, «жена поэта», как назвал ее один известный критик. Но женой Некрасова она не была, а была женой Панаева, некрасовского друга, соредактора по журналу «Современник». В литературе ее называют «гражданской женой» Некрасова. Когда Панаев умер в 1862 году, Некрасов мог бы на ней жениться — место мужа освободилось. Но он не женился. И она, в то время сорокадвухлетняя бездетная вдова, спешно вышла замуж за молодого Аполлона Головачева, журналиста и секретаря «Современника». Успела родить дочку и похоронить мужа. Осталась без средств с малюткой на руках. Для заработка написала свои «Воспоминания», которые случайно попались мне в руки в Н-й библиотеке. С тех пор я слежу за ней. Читаю все что о ней пишут. Размышляю, сверяю, реконструирую. Я бы хотел многое понять из того, что она утаила. А утаила она почти все. Ничего не написала ни о своих отношениях с Панаевым, ни о своих отношениях с Некрасовым. Полностью выпустила все личные моменты. А письма, которые могли бы что-то прояснить, сожгла. И вот мне захотелось не то чтобы восстановить ее жизнь,

а проникнуть в некоторые ее душевные тайны, разгадать их. Уж больно победительно она смотрелась на обложке. Редкая красавица с гладко зачесанными черными волосами, спокойно сложенными руками и открытым пытливым взором. Глаза были одновременно и спокойны и настороженны. Говорят, Достоевский влюбился в нее, хозяйку литературного салона, с первого взгляда и изобразил потом в своей Настасье Филипповне. И это, должно быть правда, я такую и вижу Настасью Филипповну — лицо закрытое, по видимости спокойное, а в глазах, на самом их дне, что-то бушует и рвется наружу. Приходя с работы, я теперь не включаю телевизор, а сажусь за компьютер и искал. Искал какой-нибудь новый или старый, еще не попадавшийся мне материал, который приоткроет завесу, поможет что-то понять про Дуняшу, как стал я про себя называть мою красавицу. И тут я вышел на этот странный сайт.

Но нужно сказать несколько слов о себе. Зовут — Лев Кавинсон, бывший питерец, ныне проживающий в городе Н., штат Массачусетс. По профессии — программист, по жизненным установкам — лентяй и созерцатель жизни. Самое приятное для меня — ничего не делать, думать о вещах никак не связанных с окружающей явью, то есть, используя мою терминологию, «уходить в зазеркалье». В Америке я уже семь лет, в прошлом июне мне стукнуло тридцать четыре. Жизнелюбивые, довольные американским раем старички-родители проживают на субсидированной площади в соседнем Б., женой пока не обзавелся. Вот, пожалуй, и все.

Итак, сайт. На сайте были смешные стихи.

Gospoga Panaeva, where is your friend?
Where is your Masha with her boyfriend?
Why are you in trouble, why are you so sad?
Never more with Masha you can see the sunset.
Lost the way to the cemetery, to the pale ghost,
Did she die in Italy in the terrible August?

Меня поразила беспомощность этих стихов — их явно писал иностранец, плохо владеющий английским.

Я подумал, что их автор — русский. Но сайт, на котором я нашел стишок, принадлежал итальянцу — Франческо Пренатале. Этот итальянец, однако, мог жить в любой части света, и в частности, в той же Америке, у меня под боком. Я посмотрел на часы: 8 вечера. Если он живет в Италии, то там сейчас ночь. Но хотелось написать немедленно, и я написал:

— My name is Lev. I am originally from Russia but live in the U.S. I am interested in Panaeva.

Ответ пришел мгновенно.

— Я живу в Италии, хорошо знаю русский, так что можете сообщать по-русски.

Тогда я написал:

— О каком «друге» Панаевой вы пишете?

— О Марье Львовне, натурально. Была первая жена Огарева. Не знаете?

— Знаю. А что за ее «бойфренд»?

— По-русски сказать — «любовник», но, кажется, у вас это стыдное слово. Так я назвал Сократа Воробьева, с которым МЛ хорошо проводила время за границей. Слышали?

— Слышал. О каких закатах вы говорите? Что-нибудь конкретное?

— Поэтическая метафора для скоротечности жизни. Марья Львовна умерла в 35 лет.

— Почему вы думаете, что МЛ похоронена в Италии и в августе?

— Доказательств совсем нет. Попробуйте опровергнуть.

— Вы плохой поэт. Стихи никуда негодные. Чего стоит одна рифма «ghost» — «August»!

Здесь была пауза в переписке, и я уже решил, что смертельно обидел Франческо и теперь он перестанет мне отвечать. Но через минуту он все же ответил.

— Я другой поэт, из тех, кто не всем по вкусу. А если думаете знать о рифме — она рождалась под влиянием итальянского, где август — Agosto, с ударением на втором слоге. Читайте ваш английский August как Agost — вот вам получится точная рифма «ghost» — «Agost», но — пусть вам

будет известно — в настоящее время поэзия точных рифм не принимает.

— Вы литератор?

— Пытаюсь им стать.

— Где вы живете? Я имею в виду, в какой части Италии?

— А вы знаете Италию? Я живу в А., маленьком городе на Адриатическом берегу. Это Центральная Италия.

— У вас хороший русский.

— Учил много лет. В основном самостоятельно. Во время болезни.

— А интерес к Панаевой?

— Аллора, давайте прервемся. У нас третий час ночи. Предлагаю прийти на связь завтра, но немного раньше.

— Идет.

Так у меня появился друг, разделяющий мой интерес к Дуняше, — итальянец Франческо Пренатале.

Франческо Пренатале

С Франческо мы переписывались до лета. А в июне я взял отпуск — сразу на обе положенные мне недели — и двинул в Италию. Но прежде чем говорить о моем путешествии, нужно немного рассказать, что за человек был Франческо Пренатале.

Про его семью я почти ничего не знаю. Подозреваю, что она в прошлом была достаточно состоятельна, так как Франческо начал учиться в престижном частном университете в Милане — на экономическом факультете. Но проучился он там только до зимы, потом заболел и уже продолжал обучение самостоятельно. О своей болезни Франческо толком так ничего и не сказал. По-видимому, это был род депрессии, сопровождающейся разными маниями и страхами. Франческо вышел из университета и засел дома за книги, благо покинуть квартиру было ему страшно и временами даже не по силам.

Читал он, по его словам, в основном русскую классику, осилил всего Достоевского, из которого особенно запал

ему в душу «Идиот». Мне кажется, что именно Достоевский привел его к Дуняше. Впрочем, когда на следующий вечер после начала нашей переписки, я повторил свой вопрос о Панаевой, Франческо вот что мне ответил:

Панаеву полюбил по портрету, наподобие как средневековый рыцарь Жоффруа де Рюдель принцессу Мелисанду из Триполи.

После этого ответа я почувствовал во Франческо что-то родственное и заподозрил в нем путешественника в зазеркалье.

Мало-помалу я узнал еще некоторые подробности его жизни.

Оказалось, что год назад он покинул свой родной маленький городок П., где жил с матерью и сестрой, и поселился в городе А., столице провинции. Цель этого перемещения была мне не вполне ясна, тем более что для большого Франческо лучше было бы находиться под присмотром семьи. Но я избегал задавать лишние вопросы, так как понял, что имею дело с человеком достаточно гордым и слегка высокомерным, хотя и стремящимся всеми силами к простоте и открытости. В А. Франческо жил в церкви, в квартире привратника. Католический священник Дон Агостино бесплатно приютил у себя «бедного студента», готовящегося стать переводчиком. Франческо перевез в свою каморку под чердаком огромное количество словарей, учебников и справочников, кое-как обустроил жилище и занялся переводом с русского и английского на итальянский. Первая книжка, которую он решил перевести, была ВОСПОМИНАНИЯ Дуняши. Предобрый священник делил с Франческо трапезу, так что тому не приходилось тратить ни на жилье, ни на стол. Единственный расход, который он себе позволял, был ореховый шоколад — нутелла; лакомство это мог он поглощать в невероятном количестве. Впрочем, эту подробность узнал я уже после, когда познакомился с Франческо лично. Но это, как я сказал, случилось в июне, а до июня надо было прожить март, апрель и май.

Март, апрель и май

В России это называлось вегето-сосудистой дистонией. Уже с юношеского возраста ранней весной и осенью чувствовал я головокружение, упадок сил, полную апатию. Физкультурой и спортом никогда не увлекался, обтираний не делал, холодный душ не принимал, трусцой не бегал. Справлялся с этими неприятными состояниями с помощью природы и работы, а также — уходя в свое «зазеркалье», сидя за компьютером и открывая новые и новые миры. С некоторых пор моим спасительным лекарством стала Дуняша — Панаева. Можно сказать, что, благодаря ей, я ускользал от своих неприятных ощущений, от мыслей о жизни, да и от самой жизни.

Но сделать это было не так-то просто. Жизнь обступала. На работе мешали сотрудники, особенно один. Его звали Фрэнк, он приходил из другой комнаты, подходил к моему компьютеру, стучал по нему пальцем и говорил что-то невразумительное, типа: «Завтра в Вустере будет бейсбольный матч». Не знаю почему от его голоса меня передергивало, а фраза, сказанная с глуповатой ухмылкой, раздражала и выводила из себя. Не могу понять, почему выбрал он меня из всех сотрудников нашей небольшой компании, но каждый день подходил именно к моему компьютеру и произносил свою очередную дурацкую фразу. Мне приходилось сдерживать себя, чтобы не выкрикнуть ругательство или не съездить ему по физиономии. Я мило, по-американски, ему улыбался и произносил в ответ что-нибудь нейтральное, например: «Да, хороша нынче погодка для бейсбола». И он уходил, волоча за собой шлейф своей неистребимой тупости и моей слепой, не нашедшей выхода ярости. Никогда не забуду, как два года назад, работая на другую компанию, я позволил себе в ответ на шутку шефа сказать «Иди к черту, ты мешаешь мне сосредоточиться». До сих пор точно не знаю, была ли то единственная моя провинность, или она стала «последней каплей», но в полдень ко мне подошли с известием, что я уволен и должен собрать вещи и катиться на все четыре стороны. До этого я многократно слышал рассказы об «американском увольнении»,

когда над человеком, которому неожиданно объявляют, что он уволен, стоит полисмен, следящий, чтобы несчастный не побежал стрелять в хозяина. На деле пришлось мне это испытать в первый раз. В моем случае полисмена не было и стрелять в хозяина я не побежал. Кстати, был наш босс — свой, российский, вальяжный и улыбчивый, не терпящий ни малейших «выступлений» и требующий абсолютной покорности и рабского подчинения. Вещей на работе у меня не было, в обед питался я гамбургерами из заведения напротив, так что не пришлось уносить с собой посуды. Я взял свой кейс, помахал сотрудникам — было их человек 10 — и отправился восвояси. В тот раз работу я нашел довольно быстро, месяца через два, — компьютерщики моего класса были нужны и меня взяли с распростертыми объятиями. Правда, в качестве «референтов», то есть людей, дающих рекомендацию, я не взял никого из прошлой компании. Вполне возможно, что они сказали бы обо мне, что я «не признаю авторитетов», а также что «груб и несдержан». Вот поэтому сейчас я изо всех сил сдерживаю себя и никак не реагирую на дурацкие подначки Фрэнка.

В эти три весенних месяца ничего особенного не произошло ни на работе, ни дома. Живу я в небольшом городке Н., неподалеку от Бостона. За семь лет в Америке своего дома не приобрел, снимаю квартиру. Правда, квартира мне нравится, и дом расположен в красивом месте — около Хрустального озера. Возвратившись с работы и пообедав, прежде чем взяться за мою Дуняшу, я обычно выхожу прогуляться. Собаки у меня нет, и мои одинокие прогулки, не похожие на бег или оздоровительную ходьбу, при которой идут неестественно быстро, не оглядываясь, сильно размахивая руками, наверное, удивляют встречаемых собачников и бегунов. Я иду неторопливо, вдыхаю свежий, влажноватый воздух, смотрю, как изменились береговые растения с прошлого нашего свидания. В этом смысле весна в здешних местах дает много впечатлений, она почти так же нетороплива, как в России, хотя более роскошна и богата. Как с родными, здороваюсь я с большими круглыми кустами, которые в конце марта покрываются

мелкими, цвета цыплячьего пуха, листьями-лепестками, в апреле эти лепестки превращаются в крупные ярко-желтые цветы, а в мае исчезают как дым. Часто во время моих прогулок вижу я двух парней — своих соседей по дому, пробегающих мимо в любую погоду в одних лишь футболках и шортах. Один, тот что повыше и пошире в плечах, в белой футболке и красных штанах, другой, более субтильный, в белых штанах и красной футболке. Он в этой паре — женщина. По вечерам, когда я и мои соседи почти одновременно приходим с работы и обедаем, я слышу, как за тонкой стеной перегородкой гремят посудой, тихо переговариваются, как залиvisto, по-женски, смеется один из них, как он ведет разговор, с придыханием, высоким мужским фальцетом, имитируя хрипловато-визгливую женскую интонацию. Мужчина-женщина азиатского происхождения, имеет пристрастие к ярким цветам и держится всегда чуть с краю, выдвигая вперед мужчину-мужчину. Я видел однажды, как в супермаркете тот катил коляску с покупками, а мужчина-женщина подбегал к полкам, выхватывал оттуда продукты и бросал на дно тачки. Живут они тихо, никому не мешают, но чем-то мне это соседство неприятно.

Я люблю естественные вещи, пара из двух мужчин, в которой один должен притворяться женщиной, мне представляется ненатуральной. Мало того, она подтачивает мое представление о некоем нравственном императиве, который нас направляет. Ведь получается, что, если можно ТАК, то можно ВСЕ. Но человек на то и человек, чтобы отвести со своего пути все, что делает его нечеловеком — дикое, животное, срамное. Он на то и человек, чтобы, с другой стороны, сохранить баланс между чувством и разумом и не превратиться в человека-машину, вместилище чистого интеллекта, этакую голову профессора Доуэля. Скажут, для чего все это, если все равно умирать и никакого Страшного суда не будет? А вдруг будет? Хотя даже не в этом дело. Пусть не будет Страшного суда и Бог не осудит и не приговорит к наказанию. Даже в этом случае не должен ли ты сам сохранить в себе человека и не дать неким силам сбить тебя с твоей человеческой тропы? А то ведь, чего доброго, или

рога вырастут, или антенна к голове прирастет, и прощай тогда долгий путь выпрямления и очеловечивания, по которому миллионы лет шагали наши предки.

В марте, когда моя дистония, была особенно несносной, я много думал о любви. В России оставил я женщину, которая, по ее словам, меня любила. Любила меня, но была женой другого, человека мало симпатичного, несносного зануды и почти идиота. Он мог, например, в разгар общей беседы удалиться на кухню и принести вынутый из холодильника кусок мяса: «Луизочка, посмотри, какое чудное мясо принесли в заказе». Луизочка покрывалась краской и ужимкой показывала, что не вольна остановить идиотские выходки мужа. При всем при том он ее устраивал — не как муж, а как прикрытое, как человек обеспечивающий своей профессорской зарплатой — безбедное существование, кооперативной квартирой и дачей — нормальные жилищные условия. Телом же, и, возможно, душой она тянулась ко мне — тогда молодому аспиранту, пишущему диссертацию под руководством ее мужа. Чем-то эта ситуация напоминала панаевскую. Когда, оказавшись в Америке, я начал думать о Дуняше, мне пришло в голову, что Луиза, о которой я старался не вспоминать, прокралась ко мне под маской Панаевой-Дуняши и издевательски высывает язык. Тогда я серьезно задумался на эту тему. Кто же такая моя Дуняша? Неверная жена? Изменница, принимающая другого мужчину под крышей своего супруга? Так нет же! Все знали, и она этого не скрывала, что ее настоящий муж — Некрасов, и Панаев вполне добровольно, в духе Чернышевского, принял сложившуюся ситуацию. Вероятно, она — эта ситуация — устраивала всех троих.

В апреле и мае в соседнем доме происходила любовная возня.

Продолжение предыдущей Любовная возня (недописанная глава)

Так я обозначил обычный адюльтер — супружескую измену. В соседнем доме жили трое взрослых — муж с

женой и бэбиситтер, приглядывавшая за двумя крикливыми близнецами, Гошей и Тимошей. Впрочем, мне лень описывать всю историю, и я ее пропускаю. По расстановке сил вы можете догадаться, кто кому изменил. Обманутая жена — редкая мегера, застав пару в своей кровати, — с криками выгнала обоих из дому. Пикантная подробность — в то утро, когда все открылось и оба соучастника преступления были изгнаны, муж еще успел пробежать марафон. По-видимому, марафон был для него важнее, чем его обнаруженная неверность, изгнание из дому, горе женщины-нелегалки, не знающей, где она сегодня будет ночевать... Эту женщину я видел всякий раз как возвращался домой. Возможно, она специально выходила из дому, чтобы попасться мне на глаза. Была она лет сорока, высокая, сильная, в яркой броской одежде. Пару раз, завидев меня, она задавала мне какие-то незначачие вопросы, я ей на них отвечал. Развивать знакомство мне не хотелось — слишком явной была цель моей соотечественницы, и я был совсем не тот человек, который подошел бы ей для этой цели. По той же причине я не хотел дать ей приюта, когда разъяренная мегера Рита выгнала ее на улицу. Рома испарился — как оказалось, отправился на марафон; за близнецами приехали Ритины родители, сама Рита укатила в неизвестном направлении, а бедная нелегалка так и осталась сидеть на своих чемоданах возле дома теперь уже бывших хозяев. Она в голос рыдала, что в Америке было верхом неприличия. Один из соседей, нестарый еще, разбитной американец в яркой рубашке, подойдя к ней, похлопал по спине и что-то прошептал на ухо. Она перестала рыдать и быстро подхватила свои узлы. Сосед уже заводил машину. Куда он ее повез — неизвестно.

Вся эта история, очень далекая от любви, заставила меня определиться. Я решил, что лучше быть плененным Дуняшей-Панаевой и весенними ночами читать ей посвященные статьи, романы и стихи, чем этими же ночами предавать любовь в механической животной возне.

В июне я быстро собрался и отбыл в А.

В А...

Первое, что поразило меня на земле Италии, при выходе из самолета, — был воздух. Совсем не такой, как в России и в Америке, что-то иное в нем благорастворялось — другие запахи, звуки, частицы. Воздух Италии был особый, им хотелось дышать. Прилетел я утром, но на открытом пространстве летного поля было уже жарковато. Зайдя в помещение аэропорта, выделил среди встречающих, толпящихся за решеткой, невысокого черноволосого человека, больше напоминающего испанца, чем итальянца. Такими могли быть ожившие персонажи Эль Греко — с гордой посадкой головы, матовой кожей и грустными, затаившими ужас глазами. Он? Да, оказалось, что это был он, Франческо Пренатале, приехавший меня встречать. С первой минуты, когда он протянул мне руку и сказал на чистом русском языке, без акцента: «Вы — Лев? Вы похожи на русского интеллигента», — я почувствовал, что он мне не чужой. Я ответил: «А вас, Франческо, я представлял именно таким, похожим на Дон Кихота».

По дороге в А. мы мало разговаривали. Мне казалось, что Франческо чувствует себя неважно. Лоб его был в испарине, и он то и дело прикладывал к нему руку, словно для того чтобы вытереть капельки пота. В машине было жарко, кондиционер не работал, после десятичасового полета меня мучило. Франческо остановил свой потертый фиат на узкой улочке возле серого каменного здания старинной постройки. По конфигурации оно напоминало католические храмы, каких в Америке множество. Открыв дверцу, Пренатале грустно на меня посмотрел и медленно проговорил: «Лев, я, кажется, заболел. Извини». Я тоже чувствовал себя средне, но постарался взять себя в руки. Помог Франческо выбраться из машины, вытащил свой чемодан из багажника. Мы стояли прямо против большой деревянной двери, я пару раз дернул за ручку — дверь была заперта. — Ключи у тебя? — обратился я к Пренатале, но тот стоял с закрытыми глазами, прислонившись к дверце машины, и не реагировал. Я нажал на кнопку звонка. Прошло несколько минут, и тут дверь неожиданно открылась. Вышла пожилая

женщина, черноволосая, с проседью, и недоуменно на меня взглянув, спросила что-то типа: «Ке?». Я не знал, что сказать, ибо не понимал и не говорил по-итальянски. Я просто указал рукой на Франческо, который все так же с закрытыми глазами, обхватив руками голову, стоял возле машины. Женщина всплеснула руками — О Мадонна! — широко растворила дверь, и я с чемоданом в одной руке, другой увлекая за собой своего спутника, устремился по лестнице. Идти пришлось по бесконечной лестнице до самого верха. Наверху, у двери, женщина что-то спросила у Франческо, наверное, с собой ли у него ключ, он не ответил. Но ключ не понадобился. Когда я легонько ногой толкнул дверь, она открылась — стало быть, была не заперта. Мы с Франческо и чемоданом вошли. Женщина осталась за дверью. Внутри было темно и очень душно. В малюсенькой прихожей под квадратным зеркалом стоял стул. Усадив на него Франческо и поставив рядом чемодан, я решил осмотреть квартиру. Состояла она из двух комнат: крошечной спальни, с двумя деревянными отделенными друг от друга высокой тумбочкой застеленными кроватями (то ли Франческо ждал меня, то ли вторая кровать у него всегда была наготове), — в этой комнате не было окон, было темно и стояла ужасная духота, — и гостиной, полукруглой, довольно просторной, с большим окном с видом на соседний дом и узкую улочку внизу. В открытое окно врывался воздух, но был он полуденного разлива, перегретый, к тому же, солнце с яростной силой било в окно, не прикрытое даже занавеской. Я стоял в нерешительности. Что делать? Куда скрыться от жары? Похоже, что здесь не было не только кондиционера, но и обыкновенного вентилятора. Я вернулся к Франческо; над ним хлопотала пожилая итальянка, державшая в руках миску с водой и кусок бинта, который, обмакнув в воду, прикладывала к голове Пренатале.

— Синьора, — я сделал круговое движение руками и изобразил языком гудящий звук вентилятора. — Кальдо, си? — понимающе произнесла итальянка.

— Си, си, — я с ходу погрузился в итальянский, интуитивно поняв, что «кальдо» — означает жара, а «си» — что-то вроде русского «да». Синьора повлекла меня за собой в

безоконную спальню, зажгла свет, ловко вскарабкалась на тумбочку и открыла дверцу, запрятавшуюся над кроватями, покрытую той же белой известковой краской, что и стены и потолок. За дверцей просматривалась красная кирпичная кладка, оттуда дохнуло погребной сыростью и холодом. Я вобрал в себя резкий пахнувший склепом воздух и распрямылся. Спрыгнув с тумбочки, итальянка помолодому улыбнулась и сказала «чао». Я ей ответил тем же — это международное приветствие было мне хорошо знакомо. Перетащив Франческо на левую кровать, я раздел его и уложил. После этого разделся, потушил свет и лег сам справа — сил хватило только на то, чтобы на минуту забежать в туалет. И мы оба погрузились в сон.

Сон

Мне снилась Панаева. Почему-то она была голой и с рыбьим хвостом. Она склонилась надо мною, лежащим на песчаном дне, среди какой-то цветной травы, и положила мою голову к себе на колени. Она баюкала меня и что-то шептала, ее дыхание было отраднo как легкий ветерок, слова были непонятны, но ласкали ухо, а я не мог пошевелиться, лежал как труп, и ее шепот достигал только моего слуха, не сознания. Во сне я понимал, что понять ее речи мне не дано, — они из другого мира. Но все равно мне было хорошо, ее волосы приятно щекотали мне лицо, руки ласкали, нежные колени были мягки, эх, мне было хорошо — словно я переселился в царство покоя и света. И еще я забыл сказать — мне казалось, что, закончив шептать, она запела. Но звуков не было слышно, возможно, это пела моя душа.

Я проснулся от странных звуков. Первая мысль была — где я? Что со мной?

Уж не в райских ли куцах? Было темно. С соседней койки доносился какой-то мелодичный звук. Франческо не спал и полусидел на своей кровати.

— Проснулся? — спросил он. — Это я тебя разбудил?

— Нет, здесь кто-то поет.

— Это мое радио. Но я слушаю в наушниках.

— Значит, твои наушники худые. Ты в порядке?

Он помолчал, потом словно нехотя ответил: «Я боялся умереть. Но теперь мне хорошо как никогда».

— Почему?

— Не знаю. Может быть... — он замялся, — может быть, это связано с тобой. Мне с тобой спокойно, я не боюсь.

— Но мы почти не знакомы.

— Разве? У меня есть чувство, что я знаю тебя давно.

— Какую музыку ты слушаешь?

— Обычно — классику, она успокаивает. Моцарта, иногда Баха. Бетховена нет — он меня волнует, а от Чайковского хочется плакать. Шостакович — он такой пронзительный, что я лезу на стену. Его музыка не для моих нервов.

— А что ты слушаешь сейчас?

— Второй квартет Бородина. Мне кажется, эту мелодию должны петь ангелы в раю.

Я прислушался. Пела русалка. Тихо, почти не слышно, словно приложив палец к губам.

— Слышишь?

В это время раздался явственный стук в дверь. Потом зажегся свет и перед нами выросла давешняя итальянка с маленьким подносом в руках. Что-то сказав по-итальянски, она оставила поднос на тумбочке и удалилась. На подносе стояли две тарелки с макаронами и лежали две вилки. Мы с Франческо принялись за обед.

За обедом я узнал, что дона Агостино, священника и Франческиного благодетеля, нет на месте. Он уехал куда-то в горы на медитацию. Франческо сказал, что католическим священникам полагается такая медитативная неделя или даже две, когда они остаются один на один со Всевышним. Я спросил, кто эта женщина, которая принесла нам еду. Как я и предполагал, это была домохозяйка дона Агостино, три раза в неделю приходившая прибраться, принести продукты и приготовить обед. Звали ее Мария Луиза. После обеда, в конце которого Франческо вынул свою заветную банку с орехово-шоколадным кремом и наполовину ее опорожнил, совершив короткую пробежку

в туалет и ванную, мы снова улеглись на своих койках. Лежали и разговаривали. Мы говорили о женщинах.

Разговор о женщинах

— Тебе не странно, Франческо, что мы здесь с тобой два нестарых мужика и не занимаемся любовью? В Америке полным-полно геев.

— Италия отстала от Америки, но и у нас сейчас много геев. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Мне эта тема неинтересна.

— А ты мог бы?

— Добровольно никогда, мне противно. К тому же мне кажется, что у этих людей не все в порядке. Словно вдруг вырос хвост или они обросли шкурой.

— Обижаешь животных. Они этим не занимаются.

— Это пример. Я хочу сказать, что они нарушают... лучше сказать, искажают человеческую природу.

— Здесь мы с тобой не подеремся. Наоборот, ты не просто излагаешь мои мысли ты используешь мои слова. Ну а женщины, женщины тебя занимают?

— Конечно. Когда мне не очень плохо, когда я не один, вот как сейчас. Меня очень занимают женщины. Я о них часто думаю, и даже пишу стихи.

— Ну да, *Gospoga Panaeva, where is your friend?*

— Можно перевести на русский. Госпожа Панаева, где твоя подруга?

— Мне кажется, подруга интересуется тебя больше, чем сама Авдотья Яковлевна.

— Возможно. О ней совсем мало что известно.

— Была той еще стервой.

— Стервой — значит женщиной с нервами?

— Примерно. Тургенев называл ее лысой вакханкой; помнишь Варвару Петровну, жену Лаврецкого из «Дворянского гнезда»? С нее списано, с Марьи Огаревой.

— Это не правда, ее оболгали. Она не была сознательной обманщицей, она не притворялась.

— Но послушай. Вот тебе ее портрет. Молоденькая девочка воспитывается в доме у сановного дяди-губернатора.

Не в столицах, нет, в паршивенькой Пензе. Впрочем, там и Урал и Волга недалеко, места чисто российские. Дядя с грузинской кровью, а девочка — премиленькая, маленькая пери. Не положил ли дядя глаз на Машеньку и не отведала ли она стариковских ласк еще будучи девочкой? Сие нам неизвестно.

Идем дальше. В город прислан бунтовщик — Ника Огарев — под присмотр тамошней полиции. Губернатор за ним самолично наблюдает, у себя принимает, ведь Ника не простой человек, а сын богатейшего помещика, владельца двух тысяч крестьянских душ. Ты про крепостное право читал?

— Читал.

— Тогда дальше идем. Девушка-бесприданница быстро прикинула что к чему. Ника очарован, читает Машеньке стихи, на гитаре наигрывает романсы и поет приятным тенорком. Машенька играет глазками и клянется в любви к повсеместной свободе и к обездоленному человечеству. Да, чуть не забыл — едет в столицы хлопотать о женихе. Чем не Марья Ивановна из «Капитанской дочки»? И тоже с успехом. Ссылного прощают, на радостях играется свадьба — и тут под занавес умирает отец-миллионщик. Машенька из бедной сироты превращается в барыню, жену наследника миллионного состояния, с домом в Москве, со многими деревнями в пензенской губернии. Как тут головушке не закружиться? Да и кровь -то у барышни — по матушке — тоже грузинская, жаркая. А муж... что ж, муж любит, стихи посвящает, но... слишком много говорит о разных абстрактных предметах, слишком непрактичен, временами сильно пьет, гуляет, но чаще вял, депрессивен... и вообще оживляется только в присутствии одного человека. Как ты понимаешь, имя этого человека...

— Герцен?

— Ты не уверен?

— Я уверен, но ты меня подби...забываешь своим напором.

— Идем дальше. Машенька не удовлетворена, муж не удовлетворяет ее женскую чувственность, уже разбуженную стариком-дядюшкой. Это мои домыслы, но, согласись, они лежат в русле русской традиции — тут и Бунин с

Олечкой из «Легкого дыхания», и Пастернак с его Ларой, и даже Шолохов с Аксиньей... Детей у пары нет и как бы не предвидится. Обрати внимание: у Огарева во всех его отношениях с женщинами детей нет. Закрадывается мысль: а были ли отношения?

— Ты имеешь в виду животные физиологические отношения?

— Почему животные? Обычные, человеческие. Как там в Библии — жена да прилепится к мужу, станут единая плоть и прочая. Ты хочешь возразить?

— Хочу, мне противно ВСЕ что делает человека животным. Но сейчас не буду об этом. Выскажи до конца.

— Продолжаю. Оглядываясь вокруг, Машенька замечает, что все, буквально все вокруг мужчины затмевают ее Ника, я имею в виду по этому искомому качеству.

Она готова завести роман с каждым из друзей бедного Ника, но случай представляется не так скоро, во время их совместной поездки в Европу. В Италии она сходитя с другом Огарева, художником Сократом Воробьевым. Кончается тем, что Огарев возвращается в Россию без нее. Неверная жена и ее милый друг живут в Париже на денежки олуха мужа. И вот я подхожу к кульминации — у Марьи Львовны рождается ребенок. Он вскоре умирает, но обрати внимание, если еще не обратил, — Огарев готов дать ему свое имя. Не подтверждает ли это мою мысль о неполноценности их брака?

— Неполноценности?

— Ну да, всякий брак имеет целью рождение потомства. Плодитесь и размножайтесь, так Библия говорит.

— Я не согласен. Вернее, я временами не согласен. Я знаю, что так говорит Библия, и дон Агостино повторяет это в своих проповедях. Но... во мне все протевостает против этого.

— Ты протестуешь против Священного Писания? Но даже я, неверующий, считаю, что ему нужно следовать. Иначе мир свихнется, как предвидел Достоевский.

— Я уважаю верующих, но сам не верю. Впрочем, я не то хочу сказать. Мне не нравится, когда человек уподобляет себя животному. А в этом действии... акте... не знаю,

как сказать, человек становится скотом, скотиной. Какая это любовь? Любовь происходит через душу.

— Считается, что есть две формы любви.

— Это неправда, любовь одна, и форма у нее одна.

— Хорошо. Как ты объяснишь поведение своей любимой Марьи Львовны? Не кажется ли тебе, что ты впадаешь в противоречие? Эта женщина поменяла мужа на любовника — употреблю слово, которого ты испугался. Ей захотелось быть обыкновенной женщиной, чтобы мужчина был мужчиной, чтобы сделал ей ребенка...

— Это не так. Она обманулась, ей показалось, что она любит. Но это был обман, иллюзия, ее нельзя винить. В мире, даже сейчас, мужчина — главный. Мужчина подчиняет себе женщину. Ей приходится уступить. Она идет против своей воли. Она не виновата. Идеал для любой женщины — Пресвятая Дева.

Мы говорили уже довольно долго. Я видел, что Франческо устал, начал путаться. Я сознательно ничего не ответил на его последнюю реплику и через минуту убедился, что он уснул. Тогда я тоже натянул на себя тонкое церковное одеяло, защищающее меня от пронизывающей погребной сырости, ползущей из открытой над кроватью дверцы — скорее всего, за стеной была церковь — и закрыл глаза. Когда я их открыл, за дверью в коридоре лежала темная тень. Я понял, что сейчас ночь. Но спать не хотелось. Наоборот, с невиданной силой мне захотелось вырваться из замкнутого пространства. Я вскочил, быстро, стараясь не шуметь, оделся в полнейшей темноте и выскочил из двери.

Я оказался посреди душной итальянской ночи.

Посреди душной итальянской ночи

Днем я не успел сориентироваться и не знал, в какую сторону идти по узкой маленькой улочке, на которой располагалась наша церковь. Поколебавшись секунду, пошел налево, откуда доносился какой-то равномерный шум, и очень быстро вышел на перекресток. В свете фонаря я

вначале посмотрел на часы — был час ночи, — а потом на табличку с названием улицы — *via Mazzini*. Она была довольно темной и безлюдной. Я понял, что шум доносится не отсюда, и завернул за угол. Улица называлась *via Garibaldi* и, вероятно, была прогулочной магистралью города. По ней, несмотря на поздний час, двигалась толпа людей. Я пригляделся — в основном это была молодежь студенческого возраста. Шли мимо освещенных ярких витрин, радостно глаза по сторонам, болтая, напевая, то и дело слышалось слово «*allora*»; диковатого вида парень, встряхивая лохматыми темными кудрями, пел что-то ритмичное, аккомпанируя себе на гитаре.

Он, окруженный толпой слушателей, оказался в самой середине людского потока; толпа огибала кудрявого гитариста и его приятелей; вокруг стоял невообразимый шум. Веселая студенческая ватага двигалась, смеялась, дымила вонючими сигаретами, от которых мое обоняние уже давно отвыкло. Я застыл в нерешительности. Влиться в толпу итальянских студентов? Пройтись с нею, чтобы ощутить себя ее частицей? Решив так и сделать, я вдруг обнаружил, что ноги сами привели меня на безлюдную и темную *via Mazzini*.

Via Mazzini жила в другом ритме, словно в антимире. Здесь была ночь. Под ногами в свете редких фонарей белела брусчатка. Наверное, днем здесь располагался базар — ноги натывались на недоубранные пластмассовые вешалки, какие-то коробки и бумажки. Улица стала сужаться, справа показалось странное сооружение. Я подошел поближе. Это был фонтан, возможно, старинный. Из головок коней били струйки воды. Меня мучила жажда — макароны Марии Луизы, съеденные мною днем, были политы каким-то жгучим соусом. Я наклонился к маленькой лошадиной головке и перехватил ртом струйку. Вода была теплой.

Налетевший ветер ударил в ноздри чем-то знакомым. Но я не мог вспомнить, откуда знаю этот терпкий солоноватый запах. Узкий проход начал расширяться. И вдруг — открылось море. Так вот чье дыхание принес ветер! Море плескалось почти на уровне моих ног. Кругом горели огни порта. На расстоянии десяти шагов от меня стояли

освещенные корабли. Их названия были написаны на бортах крупными яркими буквами, словно детской рукой. Вокруг не было ни души.

— Не пойду домой, не хочу! — донеслось до моего слуха, и я подумал, что у меня слуховые галлюцинации. В половине второго ночи в незнакомом итальянском городе услышать капризный выкрик ребенка на чистом русском языке!

Но через мгновение из темноты вынырнула маленькая фигурка.

— Боря, погоди! — Вслед за мальчиком показалась женщина. Оба или меня не видели, или не обращали на меня внимания. Мальчик — ему было лет десять-одиннадцать — светловолосый ангел со звонким, дрожащим от обиды голосом, — убежал, женщина пыталась его догнать. Женщина была молодой, как и мальчик — светловолосой, очень тонкой, в длинном, в талию, платье. Она увещевала:

— Боря, уже очень поздно, что скажет Пьетро?

— Пусть он скажет что угодно, я его не боюсь, — мальчик топнул ногой. — Мне дома душно, я не могу спать в такой духоте.

— Боря, мы включим вентилятор.

— Твой Пьетро опять скажет, что нужно экономить. Мальчик отбежал еще на два шага и оказался почти рядом со мной.

Он стоял ко мне спиной, женщина вскрикнула: «Боря, ты чуть не сбил с ног человека!»

— Scusi, signore! — обратилась она ко мне.

— Не беспокойтесь. Я твердо стою на ногах.

Она остановилась.

— Вы русский? из России?

— Не из России, гражданин Америки.

— А, из Америки... — в голосе звучало разочарование.

Сюда приезжают очень смешные американцы, старушки в шортах, старички в кепочках, вы на них не похожи.

— Я не турист. Приехал к другу.

— Друг тоже русский? Извините за любопытство, но здесь так мало бывших соотечественников, все наперечет, потому и спрашиваю.

— Нет, друг итальянец, но хорошо говорит по-русски.

— Случайно не Франческо? Пренатале?

— Он. Вы его знаете?

— Мы с ним хорошо знакомы. Он живет в церкви San Domenico. Вы тоже там поселились?

— Прекрасно, теперь я знаю название церкви, в которую уже пора возвращаться.

Мальчик, вначале отбежавший на значительное расстояние, увидев, что его мать со мной разговаривает, прибежал обратно. Теперь уже он тянул мать за край длинного, переливающегося в свете портовых огней платья:

— Пойдем, я устал, хочу спать. Сколько можно разговаривать?

— Сейчас, Боря, погоди. Вы не против, — обратилась она ко мне, — если мы вас проводим до San Domenico? Мы живем буквально в двух шагах от церкви.

— Нет, конечно, не против, тем более, что я, кажется, заболеваю.

По дороге мальчик пел «Взвейтесь кострами, синие ночи», женщина задавала какие-то вопросы, мне же с каждым шагом становилось все хуже — тошнило и бил озноб. И зачем я пил воду из проклятого фонтана?

3 июня 200...

Лев заболел. Я лежу рядом с ним, на соседней кровати, и мне тоже плохо, хотя по-другому. У Льва высокая температура, он весь горит. Мария Луиза прикладывает ему холодные салфетки к голове. Говорят, в самолетах ходит какая-то инфекция. Сегодня утром до работы забежала Лиза. Интересовалась его здоровьем. Как странно, что он сразу ее нашел. Правда, все говорящие по-русски прилипают друг к другу. Когда я сюда переехал, дон Агостино сразу сказал мне про Лизу, что есть русская женщина, живет рядом, в итальянской семье. Что, может, мне нужно с ней познакомиться и чем-нибудь помочь. Но первая пришла она. Сказала, что услышала обо мне от дона Агостино. Она была такая не итальянка, что хватало дух, я сразу в нее влюбился. Помочь ей я ничем не мог, разве слушал ее русскую речь, ей очень хотелось говорить на своем языке. Она мне помогала. Приносила домашние

пирожки и оладушки. Прогоняла наваждения, которые одолевали меня даже здесь, даже в церкви. Я думал, что, порвав с домом и домашними, порву порочный круг моей болезни. И она, испугавшись моего нового окружения, дона Агостино, временем напоминавшего мне святого, оставит меня, уйдет. Но не ушла. Вначале притаилась, накатывала страхом, когда я оказывался один, не отпускает и сейчас, хотя рядом лежит и дышит Лев. Лежит и дышит. И я лежу и дышу. И как легко прекратить этот простой процесс жизни. Прекратить дышать. Остановиться. Уйти в... Не знаю куда. Говорят, «в мир иной», но если бы знать, чем он настолько иной, в чем его существенное отличие, да и вообще или он существует. А может, так называемая Вечность — есть отсутствие всего — чувств, мыслей, ощущений, дыхания? Вечная спячка без просыпания. Не знаю, как правильно сказать по-русски... Лиза мне помогает бороться с этим наваждением. В ее присутствии я забываю свои страхи, я оживаю для жизни. Если бы Лев был здоров и мы с ним разговаривали, спорили... как бы хорошо было. Мне нравится, что ему нравится Панаева. Когда я впервые прочитал ее записки, я подумал, что она очень скрытная. Она ничего про себя не написала. И ничего не написала про свою подругу Марию. А тому, что написала, я не верю. Она в записках пишет о Марии как-то неприязненно. Словно ее не любит. И все что потом случилось — обвинения в трате огаревских денег, — могло Панаеву заставить разлюбить подругу, уже тогда мертвую. Мария рано умерла. И всю короткую жизнь искала любви. Лев ее обвиняет, что она осталась за границей с этим художником, Сократом Воробьевым. И что жила с ним на деньги Огарева. А на какие еще деньги могла она жить? Она была слабая, беспомощная. Она не работала и не могла сама себя кормить. И вот что с ней случилось — она ошиблась. Сократ ее обманул и бросил, и тогда она начала совсем плохую жизнь, гулящую и пьяную. Я так ясно вижу и чувствую ее слезы, ее рыдания, ее муку. А когда стала умирать, в 35 лет, в завещательном письме написала, чтобы все ее письма и дневники и копейки непропитые передала ему, Огареву. Она много поняла, но

было поздно. Женщины за все платят собой. Они лучше мужчин.

4 июня

Сегодня целый день думаю о Лоренцо, своем племяннике. Сара, моя старшая сестра, родила его, когда жила в больнице для наркоманов. Она убежала из дома и спуталась с наркоманами. А потом попала в больницу. Отец Лоренцо — один из парней, которые вместе с Сарой лечились в той больнице. Лоренцо — вполне нормальный: Сара боялась, что он станет неполноценным. Но он учится в «медии», ему 10 лет, любит читать. После школы приходит в книжный магазин, что открыла Сара на завещательные деньги отца. Они вместе ждут покупателей. Но те не приходят. П. — маленький городок. Зимой люди на работе, а летом на пляже. Книги не нужны никому. А Лоренцо они нужны. Я много раз, когда жил в П., видел Лоренцо за чтением книг. Он любит про путешествия. Когда он читает, я им любуюсь. У него такой красивый овал, такие длинные ресницы. Дети даже лучше женщин. Дети любят не для себя. Они любят вообще, без пользы. Это настоящая любовь, человеческая.

Лев сегодня целый день спал, ничего не ел. Лиза привела к нему доктора Милиотти. Когда доктор присел на его кровать, Лев открыл глаза.

— Come sta? — спросил доктор. Лев понял и ответил: «Хорошо» и снова закрыл глаза.

Доктор спросил меня, почему я тоже лежу. Я ответил: per la compagnia — за компанию. Большинство докторов похожи на зверей. А этот — на ребенка. Мы со Львом его одобрили. Лиза принесла котлеты, я съел две, а Лев не съел ничего. У него температура.

5 июня

Сегодня Лев открыл глаза и улыбнулся. Солнечный луч возле двери показывал, что сейчас утро. И сразу вошла Мария Луиза с термометром и двумя тарелками овсяной каши. Температуры у Льва не было, кашу он съел с аппетитом.

Сегодня мы с ним много разговаривали. И я совсем забыл про свои страхи.

Я укрылся нашим разговором, как одеялом, тем более, что речь шла о приятном мне человеке. Лев спрашивал о Лизе. К сожалению, я мало знаю о ней. Она из Москвы. Работала там в школе, какой предмет вела, мне не известно. Наверное, литературу, она много знает стихов. Но русские все знают наизусть стихи своих поэтов, об итальянцах так не скажешь. Однажды, сразу после нашего первого знакомства, в дождливое апрельское воскресенье, я увидел ее на мессе. Она помахала мне рукой. Мы вышли из церкви вместе. Она предложила пройтись по вьяле Виттория, что вела к морю. На нас оглядывались, я не знал почему, и спросил у Лизы.

— Наверное, потому, что я жена Пьетро и мне не положено гулять с молодым человеком.

— А где ваш муж?

— Он остался дома — смотрит телевизор, сын тоже смотрит — какая-то интересная передача, наверное, футбол.

— У вас есть сын?

— Да, от первого брака, ему 10 лет, он учится в «медицине».

Деревья мокро зеленели на фоне серого низкого неба. В воздухе висела влажность, но дышалось легко. Я старался попасть в такт Лизиному шагу. Мне было хорошо. По обе стороны вьяле желтели кусты, похожие на встрепанного мокрого цыпленка.

— Это джинестра, — сказала Лиза, — я узнавала, эти кусты называются джинестра, они самые первые зацветают.

Я погладил желтые лепестки в капельках дождя.

— В России этот куст называется дрок, — продолжала Лиза, — а в Америке broom.

— Почему в Америке? — спросил я.

— Мой первый муж живет в Америке, отец Бори.

Мы вышли к морю. Облокотились на белый каменный парапет. Море плескало внизу под нами — серое и беспокойное. Где-то вдали подпрыгивал на волнах белый

корабль. — А вечером я люблю смотреть море с другой стороны, — сказала Лиза, — со стороны порта. Ночью там много огней, красиво, и светятся корабли. Там рядом Tredici canelle, прекрасный древний фонтан...

— Я плохо знаю город, я родился и жил не здесь, а в П.

— У вас там семья?

— Мама и сестра с сыном. Отец недавно умер, теперь всем живется и легче, и труднее.

— Как так?

— Он был сильный человек, тиранический, он всеми командовал. Сестра убежала из дому, мама плакала целый день. Но он работал в компании, и он держал семью. А теперь все должны работать.

— И вы?

— Я болен, но пытаюсь работать, переводить...

— Что вы переводите?

— Записки Панаевой.

— Вам нравится Панаева? — Она смотрела с удивлением.

— А вам?

— Я плохо знаю ее жизнь, записки читала, но давно; там много забавных анекдотов. Даже странно, что, живя с таким человеком, как Некрасов, она больше пишет о всех прочих, чем о нем. Впрочем, нужно перечитать.

Мы пошли назад. Я устал писать. Продолжу вечером.

5 июня, вечер

Лев ожил. Завтра день его рожденья. Он хочет пригласить меня и Лизу в ресторан.

Лиза опять с утра забегала нас проведать. Она работает недалеко — помогает старику-инвалиду, кормит и возит гулять на коляске. Лиза еще не знает про ресторан. Лев придумал только сейчас, когда Мария Луиза принесла нам тарелки с пастой. Лев сказал, что всю жизнь не может терпеть макароны. Хорошо, что Мария Луиза не понимает, она кормит нас из душевной доброты. Она сказала, что сегодня вечером наконец приедет дон Агостино.

Лев предлагает мне, когда уйдет солнце, выйти прогуляться. Конечно, я пойду с ним — я радуюсь каждую

минуту нашего разговора. Он спросил, если в этих местах была Панаева. Я точно не знаю. Она была в Италии, но А. располагается далеко от основных путей туризма. А вот Мария, ее подруга, могла побывать в А. Ее должна была привлекать неизвестность. Она могла предложить Сократу Воробьеву или кому-нибудь еще из ее компаньонов поглядеть Италию просто так, без цели туризма. Ведь Италия не только знаменитые города.

Италия еще и каменные селения в горах, оливы на глинистой земле, виноградники, горы, простые, мрачные, из серого камня, церкви... Она, Мария, могла захотеть посмотреть и на людей, не только на скульптуры и фрески. Таких, как дон Агостино. Дон Агостино почти святой. Лиза, как и я, ходит на воскресную мессу, только чтобы его послушать. В общем она не религиозная. Она говорит, что верит в Бога, но не в церковь. А я в Бога — и верю, и не верю. Мне странно думать, что весь этот нелепый, нелогичный и опасный мир — дело божьих рук. И особенно человек, в котором каждую секунду что-то происходит. Неужели Бог может уследить каждого из нас?

Я не дописал утром, что, когда мы при первом знакомстве шли назад от моря, Лиза внезапно расплакалась.

Мы присели на мокрую скамью, и она, будто за ней гнались, быстро-быстро стала говорить, что больше не может, что устала, что Пьетро оказался скупой, жадный и глупый, что у него нет никаких интересов и всему он предпочитает пасту и футбол. Еще она говорила про мальчика, что он отлепился от рук и под влиянием Пьетро сильно поглупел. Она говорила и плакала, лицо было покрасневшее, глаза такие синие, что хотелось зажмуриться. И еще, когда она говорила, с мокрого куста упал желтый маленький комочек — цвет джинестры — прямо в вырез ее платья.

5 июня, поздний вечер

Около восьми вечера мы со Львом вышли из нашей церкви. Солнце еще не ушло, и было жарко, и я подумал, что лучше бы мы не выходили. Но Лев смело шел вперед. Мы дошли до улицы Гарибальди. В этот час по

ней слонялись парами и в разбивку подростки из лицеев и технических училищ. Посреди улицы стоял лохматый горбоносый албанец с гитарой в руках, подростки стайкой его окружали. Я его знал, его звали Пьерин, — он однажды приходил к дону Агостино, тот ему сильно помог. Этот Пьерин провалил экзамены, и в квестуре отказывались продлить его «пермессо ди соджорно», вид на жительство. Это грозило ему выселением из Италии. Но дон Агостино позвонил в квестуру и уладил дело. Парень все это рассказал мне, когда мы вместе спускались с лестницы после его визита к дону Агостино.

Внизу возле самой двери он внезапно спросил:

— Ты — итальянец?

— Да.

— Значит, ты не знаешь, каково жить в такой гадкой стране, как Албания. Это самая гадкая страна в мире, — и он плюнул прямо на последнюю ступеньку и носком ботинка стал растирать плевок. Потом продолжил, пристально в меня вглядываясь:

— Скажи честно — ты против, чтобы я здесь остался и пожил в человеческих условиях?

— Где здесь? — Я не понял, решил, что он просит у меня пристанища.

— Где? В Италии. Мне она подходит. Мне сказали в квестуре, что я должен убираться, раз не сдал паршивый экзамен. Почему они ко мне прицепляются, ты знаешь?

Я не отвечал, и его вопросы висели в воздухе. Мне хотелось, чтобы он оставил меня в покое.

— Сколько студентов учится десятилетиями, никто к ним не прицепляется, почему я стал крайний? Если бы не твой дон Агостино, они бы вышвырнули меня в Албанию.

Глаза у него стали совсем безумные. Мне даже показалось, что он под действием наркотика — такие глаза были у сестры, когда она вечерами возвращалась домой до своего побега. Наконец он открыл массивную дверь, и мы вышли на улицу. Я вздохнул с облегчением.

И вот сейчас этот Пьерин пел посреди толпы своих фанатов.

Его ритмическую песню — ритм он энергично отбивал ногой — легко было перевести на любой язык. Я перевел ее на русский для Льва.

*Свободы! Хочу свободы!
Хочу петь, что хочу петь,
Хочу жить, где хочу жить.
Почему, гов...я Италия, ты не хочешь меня?*

Лев назвал песню Пьерина «анархической», и мы двинулись дальше.

— Эй, парень! — вначале я не понял, что крик относится ко мне. Инстинктивно обернулся — Пьерин перестал играть, опустил гитару и махал мне рукой. Мы со Львом остановились.

— Священник дома? Ты в курсе?

Я пожал плечами:

— Не знаю. Он должен был вечером приехать с гор.

— С гор, почему не с неба? — Пьерин оглядел хохочущую толпу своих приверженцев и тоже захохотал. Я молчал. Не то чтобы я его боялся — просто он был мне неприятен. Я не хотел вступать с ним в разговор.

Мы отошли. Лев глядел с недоумением. — Студент-албанец, — сказал я, будто это и было объяснение. Странно, но Лев его принял. Он предложил свернуть с Гарибальди на соседнюю улицу Мадзини. Мы свернули — улица была тихой и безлюдной. Под ногами валялся неубранный сор от банкареллы. Справа белел древний фонтан *Tredici cannelle*, который так любила Лиза. Из рта 13 небольших худых лошадок били тонкие струйки воды.

— Ты не знаешь, эту воду можно пить? — неожиданно спросил Лев.

— Пить? Воду из фонтана? Это тебе не Америка, я бы не стал. И в России ее тоже не пьют. Там сестра говорила брату: «Не пей, братец, козленочком станешь».

Лев хмыкнул и отошел от фонтана. Мы вышли к морю, к самой пристани. С моря прилетал слабый приятный ветер. В порту стояло несколько океанских кораблей — из Греции и бывшей Югославии. Они были не

освещенные, но вид имели парадный, как военные на балу — белые, с черными буквами по борту. Мы ими любовались.

А потом мы вернулись в нашу церковь.

Да, я забыл сказать, что возле порта мы со Львом увидели женщину. Она стояла к нам спиной, тонкая, в длинном облегающем платье.

Лиза? Мне послышалось, что Лев произнес это имя вслух. Женщина обернулась.

Нет, это была не Лиза. Красивое безразличное лицо, пустые глаза.

Мы поспешили отойти.

В церкви слышались голоса. Приехал дон Агостино. Его заместитель дон Леонардо грохотал из-за двери громким молодым басом. Мария Луиза вставляла одно-два словечка. Голос дона Агостино звучал совсем редко, говорил он так тихо, что на лестнице ничего нельзя было понять. Мне очень хотелось увидеть дону Агостино, но следовало подождать, пока он сам позовет. В церкви были свои правила. Мы со Львом поднялись на наш чердак и вошли в незапертую убогую квартиру, приют одиноких чудаков.

— Лев, признайся ты влюблен!

— Я? С чего ты взял, Франческо?

— Когда ты болел, ты произносил ее имя. И сейчас, в порту.

— Тебе причудилось. Я люблю только одну женщину во веки веков.

— Кого же?

— Панаеву.

— Она не любит мужа.

— Панаева?

— Лиза. Она мне сказала, что не любит мужа.

— Ты его видел?

— Нет, но она мне сказала, что он любит только футбол и пасту.

— Прекрасно. Вся Италия любит футбол и пасту.

— Я не люблю.

— Но ты уникам, ты больше русский, чем итальянец. Ты пишешь ей стихи?

— Ты...видел?

— О нет, но знаю. Ты...любишь ее?

— Я?

Я действительно пишу стихи и посвящаю их ей.

Стихи Франческо Пренатале

Темнота, я боюсь темноты,
Я уйду, провалюсь, я исчезну.
Вижу луч надо мной — это ты.
Заслоняешь разверстую бездну.

Тяжело мне ходить и дышать,
Стонет дух, бесноватый калека,
Лишь лежать я могу и мычать,
Ты даешь мне слова человека.

Подойди, без тебя я убог,
Без угла, без здоровья, без веры.
Бога нет в небесах, ты мой Бог,
Неулыбчивый, в кофточке серой.

Какой ужас, ужас какой!
Ни рукой
Не могу шевельнуть,
Ни ногой.
Цепенею, становлюсь доской.
Все. Обезножил.
Солнце мое,
Не плачь, не молись,
Попробуй-ка — до меня дотянись,
Мизинцем своим
Чурбака коснись.
Мамочки, ожил!

Ни тела, ни души —
Не надо ничего.
Мое — со мной, твоим
Владеешь нераздельно.
Когда придут спросить:
«Была ли ты его?»
Ответишь: «Никогда»,
Обижена смертельно.

Игрушки и слова
В ребячливости дня,
Беспечное житье
На той полянке вешней.
Тобою не владел,
Ты не брала меня,
Как это хорошо,
Что оба мы безгрешны.

И телом и душой
Владею я один.
Не знаю никого,
С кем можно поделиться.
Не знать нам никогда,
Кто раб, кто господин.
Ты — солнце, и на том
Нам стоит примириться.

Прошу садиться.
Не хочу!
Прошу садиться.
Не хочу!
Прошу садиться.
Не хочу!
Не хочу! Не хочу! Не хочу-у-у!

Ты знаешь, чего я боюсь?
Ты знаешь чего я боюсь?
Ты знаешь, кого я боюсь?
Ты знаешь... Ее я боюсь.

Девушки голос дрожал,
Путаясь в соснах,
Ветер на трубах играл
Многоголосных.

Спрятавшись, я постигал,
В девственной чаще
Тайный природы хорал,
Мощно гудящий.

Мне б приоткрылся кусок
Истинной сути,
Если б его я извлек
Из темной мути!

У священника

Франческо привел меня наверх, и только я вытянулся на койке, как в дверь постучали. Вошла Мария Луиза, вся в морщинках счастья, и произнесла что-то очень торжественное. Из всех слов я услышал одно — «чена». Франческо быстро мне объяснил, что «чена» означает «ужин». Дон Агостино звал нас к себе на ужин.

Мы поднялись — Франческо тоже уже успел прилечь — и пошли к священнику. Когда на лестнице я попытался что-то спросить у Франческо, тот ничего не ответил и приложил палец к губам. В таком священном молчании мы достигли двери святого отца и позвонили.

Открыла улыбающаяся Мария Луиза, словно помолодевшая и распрямившаяся. Мы вошли в прихожую, откуда можно было видеть большую, ярко освещенную гостиную.

За столом сидели двое. Один — молодой, с веселым подвижным лицом, с густой гривой черных волос. Скорее всего, это был дон Леонардо, помощник священника, чей энергичный раскатистый бас все эти дни был слышен на лестнице. Другой — молчаливо смотрел в пол, его лоб и руки были как-то слишком бледны. Был он не старым, не седым, не лысым; во всем его существе сквозило что-то, что отделяло его некой чертой от обычных людей. Помню, что первой моей мыслью было — святость или болезнь? Я понял, что бледный и был с нетерпением поджидаемый Франческо дон Агостино. Нас пригласили за стол.

Мария Луиза принесла и поставила на середину стола дымящуюся кастрюлю все тех же макарон. Все стали раскладывать их по тарелкам, лить в тарелку оливковое масло и томатный соус. Все проделывалось с восхитительной серьезностью. Затем наступил момент молитвы. Я взглянул на сидевшего рядом Франческо — он шевелил губами в такт словам дона Агостино. Сказали друг другу «буон апетитто» и приступили к трапезе. Макароны не шли мне в горло и выскальзывали из-под моей вилки. Дон Агостино, который, казалось, на меня не смотрел, внезапно повернул ко мне лицо и сказал по-русски, мягко выговаривая гласные: «Хлеб и сыр, хорошо?» Я не успел удивиться, как он отдал какое-то распоряжение Марии Луизе, и она принесла мне тарелку с разнообразными сырами и поднос с темным итальянским хлебом.

— Вы говорите по-русски?

Священник посмотрел на Франческо, тот что-то прошептал, и дон Агостино покачал головой. Франческо стал переводить.

— Нет, по-русски он знает всего несколько слов. Он бы хотел побывать в России.

— Почему?

— Ему нравится. Говорит, что хотел бы посетить русские храмы, послушать церковное пение.

— Но он же католик!

— Ну и что? Католики не так далеко ушли от братьев-ортодоксов (Франческо так перевел слово «православный»), те и другие — христиане. Он верит, что объединение христианских церквей не за горами.

— А хотел бы он посетить Америку?

Дон Агостино рассмеялся, вслед за ним и Франческо.

— Ни за что! Он говорит, что ему нечего делать в Америке...

— Он что-то еще сказал? Франческо колебался, но потом все-таки выговорил, очень тихо: «Америка — страна Антихриста».

— Он так и сказал?

Мой друг посмотрел на меня немного презрительно. Я знал этот его взгляд, бывший ответом на недоверие и сомнение в честности или точности.

— Скажи ему, что Америка разная, в ней есть Антихрист, но есть и Христос.

Дон Агостино взглянул на меня. У него был живой человеческий взгляд, но меня смутили его глаза — обведенные густой синевой, как у человека плохо спящего или мучимого недомоганием. — Семья? — по-русски сказал священник. Я отрицательно покачал головой. — Женщина? Дети? — Нет, я один. Священник что-то зашептал Франческо на ухо. Он говорит, — начал тот переводить, — что желает тебе создать семью. Его самого родители определили в священники в 12 лет. Сейчас уже такое не практикуется. Мальчики в этом возрасте еще не могут сказать, их эта дорога или нет. Он сейчас считает, что ему не следовало идти в священники. Он завидует тем, у кого есть жена и дети. Я глядел на дону Агостино с возрастающим удивлением. Он, священник, говорит, что выбрал, вернее за него выбрали, не тот путь? Он завидует обычным людям, которым только и достало ума, что иметь детей? Да к тому же, исповедуется в этих крамольных вещах совсем незнакомому чужому человеку, иностранцу?.. Нет, этот человек не нарушит обета, — пришло мне в голову. — Его скорей нарушит тот, кто носит личину святости. А этот будет бороться со своими вполне человеческими страстями во имя... во имя чего? Принадлежности к касте? Давней традиции? Во имя Божьего

сына, остававшегося девственником? Но вот Дэн Браун пытается сие опровергнуть, у него Христос с искушениями не боролся, шел им навстречу...

Тем временем, дон Леонардо, спокойно продолжающий ужинать, завершил трапезу тарелкой зеленого салата — большое его блюдо под занавес было принесено Марией Луизой, — поднялся из-за стола и, выждав паузу, стал весело, с наглядной жестикуляцией, о чем-то рассказывать. По движениям рук, выбрасываемых им вперед, я понял, что речь идет о боксе или чем-то подобном. Во время его громкого эмоционального рассказа дон Агостино сидел прислонив руку к голове и прикрыв глаза, поэтому его помощник адресовался исключительно к нам с Франческо. Мне приходилось, чтобы не быть невежливым, согласно кивать головой и мимикой изображать одобрение. Из кратких пояснений Франческо я понял, что помощник священника отправляется сейчас на соревнование по боксу, которое проводится между детьми прихожан. Франческо называл их «скаутами», и я вспомнил, что «бойскауты» были в советской России предшественниками пионеров.

— Want to go with me? — неожиданно обратился прямо ко мне симпатичный веселый здоровяк. Чего я точно не хотел, так это присутствовать на соревновании по боксу между итальянской малышкой. Я отрицательно покачал головой, и дон Леонардо, не потеряв ни капли от своего веселья и хорошего настроения, помахал нам рукой и как-то по-детски произнес «цао». Дверь за ним с грохотом закрылась, а через некоторое время мы услышали его громкое бодрое пение на лестнице. Кроме пения, оттуда доносилось какое-то громыханье.

— Гармошка, — снова по-русски произнес дон Агостино, он открыл глаза, но рукой по-прежнему подпирал голову, словно спасаясь от головной боли. Наверное, его помощник был для него слишком шумен.

— Гармошка? — я не понял. Франческо пояснил: «Дон Леонардо тащит с собой свою фисгармонику. Бойскауты поют свои песни, он им играет».

— Я слышал, что у католиков и в церкви прихожане поют под гитару или гармошку.

— Поют, — сказал Франческо. — Мне кажется, дон Агостино идет на это не по охоте. Но сейчас такое течение в церкви, чтобы привлечь молодежь. Им, священникам, тоже ведь присылают циркуляры оттуда, — и мой друг показал рукой на потолок.

По моим понятиям, мы слишком засиделись. дон Агостино устал — он только что вернулся из дальней поездки и нуждается в отдыхе. Я встал, но священник, поняв мое намерение, сделал жест рукой — сядь. И я снова сел.

Священник говорил с Франческо, но иногда, когда он взглядывал на меня, мне казалось, что он или говорит обо мне, или имеет ко мне какой-то вопрос, — таким пристальным и глубоким был его взгляд. Дон Агостино поднялся, медленно подошел к книжным полкам и взял с одной из них какой-то предмет. Я разглядел фотографию в рамочке. На фотографии был темноглазый симпатичный малыш.

— Лучано, — произнес священник. Франческо зашептал.

— Ты думаешь, это его? Но католические священники подчиняют жизнь целибату, обету безбрачия, у них нет права на семью, брак, на отношения с женщиной. Лучано — племянник, сын брата. Он утонул, когда ему было всего пять лет.

Я снова взглянул на фотографию — малыш на ней был все такой же симпатичный, но темные широко открытые глаза словно погрустнели. Дон Агостино перехватил мой взгляд, поднес фотографию к лицу и поцеловал.

— Мальчик, — опять сказал он по-русски, — дитя.

Франческо хотел что-то добавить, но тут раздался резкий звонок в дверь. Было слышно, как кто-то громко назвал имя дона Агостино, как Мария Луиза быстро проговорила что-то в ответ. По-видимому, она не хотела впускать гостя, но тот все же вошел. Это был давешний албанец, я сразу его узнал. Все такой же всклокоченный, с лихорадочным блеском в глазах; руки его, в отсутствие привычной гитары, болтались, не находя себе места. Войдя, он быстро осмотрелся и остановил взгляд на доне Агостино. Священник что-то ему сказал, судя по интонации,

не очень приятное. Скорей всего, спросил, зачем тот ворвался к нему, когда он принимает у себя людей...

Албанец стусевался, опустил голову, отвернулся. Так прошла минута. Все молчали. Потом албанец, не поднимая головы, произнес несколько отрывистых фраз. Дон Агостино с трудом поднялся с кресла, подошел к албанцу и что-то ему тихо сказал, указывая на стул возле окна. Тот сел на стул и закрыл лицо руками. Плечи его вздрагивали. Мария Луиза принесла ему стакан воды. Дон Агостино тихо о чем-то спрашивал, албанец отвечал. Все напоминало не то гипнотический сеанс, не то публичную исповедь. Наконец, дон Агостино произнес приговор, я, не понимая языка, понял это, по окончательности и строгости интонации. Голос священника звучал все так же негромко, но в нем проскользнули суровые нотки. Я подумал, что албанец не получил чего хотел. И действительно. Он вскочил на ноги и стал быстро что-то выкрикивать, не сдерживая ярости. Не только я, но и Франческо, и Мария Луиза, невольные свидетели этой сцены, стояли как вкопанные, ожидая ее конца. Дон Агостино все так же медленно прошел назад к креслу, сел и произнес одно слово, понятное даже мне: «Баста». Албанец махнул рукой и не оглядываясь вышел. Оставшиеся перевели дыхание. Дон Агостино очень бледный, вытирал платком потный лоб. Мы с Франческо поспешили на свой чердак.

На чердаке

— Франческо, мне показалось, что дон Агостино болен.

— Не думаю, он всегда такой. Просто он очень устал — жизнь приходского священника не мед. И в горах был не отдых, а молитвы и пост. Он ведет по 2 службы в день, да еще похороны, рождения, венчания... Дон Леонардо больше занят детьми.

— Мне показалось, они не очень стыкуются друг с другом. Этот Леонардо слишком громогласный.

— Да, он громкий, но хорошо, что есть помощник. Они вместе всего несколько месяцев, еще споятся. Лев, дон

Агостино говорил о тебе, он просил сказать тебе о мальчишке, о ребенке.

— Что сие значит?

— Но сначала я должен развить перед тобой одну идею. Ты знаешь, я много посетил проповедей дона Агостино, я много думал над ними. И вот я пришел к одной идее. Хочешь услышать?

— Что за идиотизм! Хочу конечно.

— Тогда слушай. Для чего живет человечество и человек? Вопрос вопросов. Цель их жизни откроется, когда придет некое время, назовем его Временем Второго пришествия, или Временем Страшного суда. Когда ЭТО свершится, люди узнают, для чего они прошли весь этот долгий, неизмеримо долгий и тяжкий путь. Для чего жили и умирали поколения. Пока же тайна скрыта от людей, нужно сделать все, чтобы человечество подошло к этому грандиозному событию в своем собственном облачении, а не в облачении зверя или механической игрушки. Поэтому так важно воспитание, передача нравственных привычек детям ...

Франческо говорил, а я мысленно обмирал. Из Франческиных уст я слышал свою теорию. Именно эти мысли (которые я изложил здесь в своем месте) стали для меня обоснованием необходимости «быть». Ведь не зная цели, невозможно идти вперед. Единственное, чего не было в моих размышлениях, так это Бога. Хотя, я понимал, что без этой конечной точки невозможно внятно обосновать сокрытую цель, ведущую человечество по зигзагам истории.

— Послушай, Франческо, ты так все это излагаешь, словно сам веруешь в Бога и во Второе пришествие.

— Мне хочется верить, я пытаюсь принять слова дона Агостино как истину.

— Ну хорошо, если я тебе скажу, что ничего нового ты мне не открыл? Что все эти мысли приходили мне в голову и даже точно в такой формулировке?

Франческо был явно сконфужен.

— И про мальчика? — робко, словно с последней надеждой, спросил он.

— Про мальчика? Про какого? — тут уже он поставил меня в тупик.

— Главное как раз в этом. Человечество должно сохраниться. Уже сейчас семьи в Западном мире не хотят иметь детей. Возникают однополюые противоестественные союзы, не имеющие потомства. Но это тупик для человечества. Нужно чтобы люди могли и хотели иметь свое продолжение. Чтобы они вступали в брак и рожали детей. И детей воспитывали, клали в них нравственные привычки.

— Погоди. Кто это говорит? Это говорит священник, который дал обет безбрачия и у которого детей не может быть по определению? Ну, хорошо, предположим, он выступает рупором своего небесного патрона, у которого, если не слушать Дэна Брауна, тоже был запрет на это дело. Хотя, согласись, проповедь, не подкреплённая примером, теряет в своей силе. Но мне вдвойне странно, через кого он это говорит. Через Франческо Пренатале, который пропагандирует чистые детские отношения и который считает, что идеал для всех женщин — Дева Мария... Так? Это что — шизофрения? Раздвоение личности? Почему я должен этому следовать, а ты сам нет? И вообще при чем тут мальчик? Ты, кажется, ничего про него не сказал...

Франческо то бледнел, то краснел, наконец он пробормотал:

— Лев, не лови меня на словах. Я пока ни в чем не разобрался. Мне иногда приходит в голову, что правда двуединственна... Физические отношения — это не брак. Брак — священное таинство. В браке людьми руководит Бог, а не похоть. Но давай оставим этот разговор до другого времени. Ты спросил о мальчике. Мальчик — это символ. Мальчик или девочка — нет разницы. Просто у дона Агостино погиб племянник ...мальчик.

В этот самый момент где-то за пределами комнаты раздался отчетливый детский плач. Плакал мальчик.

Я подбежал к окну гостиной. По той стороне узкой улицы шла Лиза, за ней плелся орущий благим матом Боря. По-видимому, у Лизы уже не было сил его успокаивать.

— Я сейчас вернусь, — бросил я Франческо и сбежал по ступенькам на улицу. Подбежал к Боре и схватил его за плечи: «Что случилось? Почему честным людям спать не даешь?» Он вывернулся и укусил меня за палец.

Я отдернул руку, в ранке показалась кровь, палец ныл. У Лизы было отчаянное заплаканное лицо.

— Оставьте его, — сказала она спокойно, — он сейчас ненормальный. Я забегу к вам перед сном, хорошо? И, не дожидаясь ответа, продолжила путь. Я поглядел им вслед: она шла впереди — маленькая, но прямая, твердая, главная в этой паре, он плелся сзади — надрывающийся от плача, длинный, очень худой подросток-детеныш. Почему-то мне припомнилась тургеневская воробыха, которая не испугалась и собаки, защищая своего крошку-воробья. Лиза, скорей всего, из таких же — отчаянных матерей.

— Вот не ожидал от тебя такой прыткости. Что там случилось? — мой товарищ приподнялся на койке.

— Я и сам от себя такой прыткости не ожидал. Лизин сын взбесился, укусил мне палец, — я показал Франческо ранку.

— У меня нет пластыря, — Франческо развел руками, — можно попросить у Марии Луизы.

— Обойдется; надеюсь, он не по-настоящему бешеный. Лиза обещала прийти перед сном.

— Уже скоро одиннадцать. Куда она пойдет — ночью? У нее ревнивый муж.

— Ты можешь спать, и пусть тебе приснится твоя Мелисанда Триполитанская или... Мария Рославлева-Огарева или даже... Авдотья Панаева. А я буду ждать.

— Что ты, Лев, как можно спать? Я тоже буду ждать... Лизу.

До прихода Лизы мы коротали время за чтением стихов — Лермонтова, Тютчева, Блока.

За этим занятием нас и застала Лиза.

Она принесла с собой сверток холодных скользких оладий, за которые мы тотчас принялись, — ужин у донна Агостино был не по-праздничному скуден. Мы с Пренатале ели полулежа на своих койках. Франческо, хотя ему явно было не по себе, достал свою банку с нутеллой, и за время Лизиного рассказа полностью ее опорожнил. Лиза рассказала вот что:

Боря сегодня вечером вместе с группой ровесников участвовал в боксерском матче, организованном доном

Леонардо. Происходил матч возле порта в спортивном зале — «палестре», как сказала Лиза. Борю сопровождал Пьетро, Лиза на бокс не пошла, она не одобряла Бориного увлечения. Но к концу соревнования она пришла, чтобы отвести Борю домой — Пьетро ушел раньше, он хотел успеть на интересную передачу. Когда Лиза дошла до этого места рассказа, я ее перебил.

— Стоп. Дальше все ясно. Твой Боря оказался ничудышным боксером, проиграл и со злости разрыдался. Угадал?

Лиза посмотрела на меня точно так, как смотрел Франческо, когда я ему не верил.

— Как говорил мой бывший муж, угадал с точностью до наоборот (При упоминании мужа мы с Франческо одновременно вздрогнули). Вы, Лев, плохой угадчик. Борька победил в двух матчах, а третий кончился вничью. И тогда Борьку провозгласили абсолютным чемпионом команды. Дон Леонардо повесил ему на шею красивую звенящую медаль и сыграл в его честь на своей фисгармонике мелодию из оперы «Князь Игорь». И мы пошли с Борькой домой, он размахивал медалью, и она звенела. Когда проходили мимо фонтана «Tredici canelle», увидели какого-то человека, он жадно пил воду, льющуюся из лошадиной морды. Борька взмахнул своей медалью — она зазвенела — и крикнул по-итальянски: «Не пей воды, жеребцом станешь!» Наверное, он хотел сказать «жеребенком», но по ошибке или из озорства сказал «жеребцом». Лиза произнесла фразу сначала по-итальянски, и мне послышалось слово «stallone», скорее всего, это и был «жеребец». Дальше было следующее. Пивший из фонтана, видно, расслышал только это слово. Ухватив Борьку за плечи, он закричал:

— Что ты сказал? Повтори, что ты сказал!

Борька, не ожидавший такой реакции, заплакал. Тут на помощь сыну пришла Лиза. — Извините, синьор, мальчик не хотел вас обидеть.

Тот вперился в Лизу.

— Вы не итальянцы? — наверное, он услышал Лизин акцент.

— Нет, мы русские.

Незнакомец выпустил из рук Борькины плечи

— Пойдем! — Лиза тянула Борьку за собой, подальше от греха, но тот не шел.

Внезапно Борька повернулся к незнакомцу и выкрикнул тонким дрожащим голосом: «Вы не смеете на меня кричать! Русский я или итальянец — вы не смеете на меня кричать. И трогать меня вы не смеете».

И они с Лизой побежали прочь что есть мочи.

— Значит, все кончилось благополучно, — заметил я. — Чего же твой Борис ревел благим матом?

— Он испугался, у него был шок. Да и медаль он выбросил.

— Медаль выбросил? Почему?

— Не знаю. Какие-то свои соображения.

— Надо объявить в полицию, — сказал Франческо. — Этот человек хулиган, нельзя ему спускать. Какой он на вид?

— Молодой, лохматый, с бешеными глазами... настоящий сумасшедший.

Мы с Франческо одновременно взглянули друг на друга, и Франческо сказал:

— Я знаю, кто этот человек. Его зовут Пьерин. Он сегодня вечером был у нашего священника. Я еще не рассказал даже Льву, — Франческо повернулся ко мне. — Ты, наверное, не понял, что было у дона Агостино. Пьерин снова пришел просить, чтобы его не высылали из Италии. Он закончил учебу, и его разрешение на жительство тоже закончилось. Дон Агостино спросил, почему он не хочет возвращаться на родину. Тот сначала сказал, что Албания — очень бедная страна и он не найдет там работу. Но дон Агостино повторил свой вопрос. Тогда Пьерин признался, что в Албании его ищет полиция. Почему? Его обвиняют в убийстве.

Франческо посмотрел на Лизу. Наступила пауза. Мы все обдумывали сказанное, каждый со своей стороны. Лично я пытался вставить в немую сцену, виденную мною накануне, обретенный ею смысл. Лиза, наверное, снова прокручивала сцену у фонтана и думала, что ее Борька дешево отделался.

— И что же, — прервал я молчание, — дон Агостино, как я понял, отправил албанца в лапы правосудия?

— Он сказал, что, если это недоразумение, оно должно разъясниться, а если нет, Пьерину нужно понести наказание.

— Правильно, как у нашего Достоевского, коли есть преступление, то должно быть и наказание, — пошутил я.

Никто не засмеялся.

— Вполне возможно, что он не виновен, — сказала Лиза.

— Но он боится суда, — робко вставил Франческо.

— Суда бояться все, — возразила Лиза, — у русских есть поговорка: «Где суд, там и неправда». Я теперь думаю, что он не сумасшедший. Просто он обозлен и ненавидит всех вокруг, особенно итальянцев.

Лиза недолго сидела. Она боялась, что Боря без нее не заснет и что Пьетро начнет ее искать. Когда она поднялась, чтобы уходить, я спросил: «Лиза, Вы знаете здесь какой-нибудь хороший итальянский ресторан?»

— Здесь все итальянские. Итальянцы предпочитают свою кухню.

— Но есть какой-нибудь, куда все стремятся попасть?

Лиза помолчала, потом сказала словно оправдываясь...

— Я не была здесь в ресторанах. Пьетро любит питаться дома, даже в праздники.

— Вот и прекрасно. Нужно, наконец, насладиться сладкой жизнью. Именно Италия придумала это понятие — «la dolce vita». Вы не могли бы составить нам с Франческо компанию? У меня, видите ли, завтра юбилей, по итальянцу Данте, — середина жизненного пути.

Лиза задумалась, потом сказала: «Я не уверена, что должна идти. Пьетро меня не отпустит. Он и сейчас устроил скандал. Мне пришлось сказать, что я иду к своему подопечному Антонио, что он заболел и я несу ему лекарство... Точно не знаю, но скорей всего, вам придется пойти без меня».

И она ушла.

6 июня, утро

Панаева, панаева, панаева... Почему, собственно, она их так интересуется? И Франческо, и этого американского Льва. Женщина как женщина. Пожалуй, слишком красивая. Такие не бывают счастливыми. А какие бывают? Женская судьба, как ни говори, зависит от мужчины. Взять ту же Панаеву. Вначале зависела от Панаева, потом от Некрасова. Мучилась и переживала, что не дали они ей счастья — ни тот, ни другой. Где оно, женское счастье? Ключи от счастья женского заброшены, потеряны у Бога самого. Кто сказал? Да тот же Некрасов и сказал... Нынче другой век, но ключей тех самых нет как нет. Ведь не в равенстве же с мужчиной, в самом деле, спасение. Не в мужской работе, не в выполнении мужских обязанностей. А в чем? Может, тебе по душе женское порабощение? Патриархат? Зачем ты тянешь в прошлое? Не то чтобы я тянула в прошлое... а, пожалуй, что и так. Да, тяну, тяну назад, в прошлое — к изначальному предназначению. Я — за равенство, но при сохранении исконных, данных самой природой ролей. И не развалится ли мир, если будет иначе? Если понятие «семья» уйдет из жизни, женщина перестанет рожать детей, растить их и воспитывать, а мужчина не захочет быть для нее опорой, мужем и отцом ее детей, — не пойдет ли все прахом?

Да и останется ли любовь на земле, не секс, а любовь — как нечто космическое, связующее человека с мирозданием и с Богом?

Вот и Панаева... Помнится, что она, порвав с Некрасовым, вышла замуж за какого-то разночинца и, уже немолодая, родила девочку. Муж, скорей всего, был никакой, но ребенок, ребенок... Как просто, оказалось, создать себе маленькое домашнее счастье...

Получила письмо из Америки, от Виктора. Думаю, что мой адрес он узнал от Светки. Молчал, молчал, три года молчал — и прорвало. Зовет к себе. Пишет, что обосновался, что работа прекрасная, точно по его биолого-генетической специальности, что купил дом. Еще пишет, что от американцев его тошнит, а также от американок, что все попытки найти подругу кончались ничем... Целый параграф посвящен описанию «американских нравов».

Его лаборатория определяет отцовство по показателям крови. Оказывается, в Америке есть телепередача, спонсируемая их компанией. В ней одинокие и замужние женщины приводят возможных отцов своих детей. Одна привела шестерых. Цель, якобы, та, чтобы понять, кто настоящий отец. Тот парень, которого в результате называют отцом, бьется в истерике. Все это даже не смешно и не грустно, а отвратительно... Неужели за этими женщинами и мужчинами будущее?

Сегодня — рождение Пушкина, 6 июня. Угроздило же Льва родиться в один день с Пушкиным! В такой день душа ждет радости. Мне, как Золушке, хочется на свет, к людям. Даже в ресторан — хочется. Почему бы не пойти в ресторан с друзьями?

Но Пьетро, а вслед за ним все синьоры города А., закричат, что я позорю его и свое честное имя. Почему позорю? Пьетро везде мерещится измена. Комплекс собственника, желающего, чтобы женщина принадлежала только ему. Если бы он знал, как мне с ним тяжело, как отвратительна механическая гадкая профанация любви.

А с Виктором?

Спустя три года после того, как он бросил нас с Борькой и уехал в Америку, ему кажется, что у нас с ним «была настоящая любовь». Была ли?

Надо начинать день, пора уже к Антонио — он небось заждался. Пьетро уже давно на своей почте — отправляет бандероли и посылки. Борька ушел в поход со скаутами, вернется завтра утром... Ах, как хочется, чтобы 6 июня был не похож на другие дни...

Интересно, что на письме от Виктора значится адрес — 12 Broom street. Брум — это же по-английски тот самый куст, который первым весной зацветает, — желтые цыплячьи цветы.

Антонио на удивление неприхотлив. Вот он сидит в своей каталке под деревом — глаза полузакрыты — то ли собирается заснуть, то ли грезит. Просидит так целый час, потом повезу его обедать. Общение у нас минимальное, возможно, он уже слишком стар, чтобы воспринимать звуки, исходящие от мира. Мать Пьетро, Синьора Лидия, с

которой я сидела до Антонио, была совсем не такая благодатная. Синьора Лидия была хоть и стара, но в полном разуме. От меня требовалось сходить в магазин, приготовить обед, вывести Синьору на прогулку.

Работа кончалась после ужина, и в 9 часов я становилась «собственностью» Борьки, которому в течение дня, после его возвращения из школы, не могла уделять внимания... Синьора замечаний мне не делала, возможно, понимая, что я все равно не знаю итальянского, но поджимала губы и строила недовольную гримасу. Конечно же, главным образом, из-за переваренной пасты — итальянцы едят ее «аль денте», в твердой кондиции, пробуя макарони-ну «на зуб» в процессе варки. Мне поначалу ничего этого не было известно, и Синьора несколько раз отказывалась есть мою пасту. Поздним вечером с половины «сына» до нас с Борькой долетали голоса: Пьетро с матерью обсуждали «русскую». Мать наступала, сын увещевал. Вообще Пьетро вел себя поначалу очень хорошо. Полностью доверив мне дом и мать, в конце каждого месяца он аккуратно выписывал чек — деньги, правда, были совсем небольшие, но и нам не так много требовалось — мы жили у него на всем готовом. Договорился он и с квестурой, как обещал. Уставала я предельно — у меня не было выходных, Синьора всю неделю требовала ухода. Язык я учила по Светкиному самоучителю глубокой ночью, когда Борька уже спал. С половины Пьетро в это время доносился звук работающего телевизора — он был любителем ночных программ. Пьетро ко мне не приставал, но когда меня видел, мгновенно светлел лицом и начинал улыбаться. Он находился «в процессе развода», который длится у итальянцев три-четыре года. После развода в церковный брак вступать уже нельзя... Синьора Лидия умерла через три месяца после моего прихода в их дом...

Сию в тени, рядышком со старичком, ловлю петли, вспоминаю.

Когда Виктор уехал в Америку — я ехать туда отказалась наотрез — и оставил нас с Борькой «выживать», я стала искать пути ко спасению. Это время в России было таким тяжелым и горьким, что не хочется его вспоминать.

Для нас с Борькой оно еще было голодным. Учительской зарплаты едва-едва хватало на хлеб и крупу. И вот пришло письмо из Италии от Светки, бывшей сокурсницы. Она вышла замуж за итальянца, нашла место официантки в ресторане и приглашала меня приехать с Борькой в А. — погостить. Я продала мамино кольцо с брильянтом, купила туристическую путевку, и мы с Борькой — первый раз в жизни — отправились за границу. На месте оказалось, что Светка живет одна со своей Катькой и работает, хотя и в ресторане, но вовсе не официанткой, а «танцовщицей» и «моделью». Возвращаться домой она не хотела. Посвятила меня в свой план — если я соглашусь работать вместе с ней «танцовщицей» или «моделью» в одном «приличном» месте, — вид на жительство будет мне обеспечен. «Ты хорошо сложена и легко двигаешься — этого вполне достаточно. Итальянцы любят русских женщин».

Наш с Борькой туристический автобус уходил на следующий день. Я должна была принять решение.

Италия — страна моей мечты. Даже те несколько дней, что мы здесь провели, были небесным подарком. Главное, поражал контраст — хмурость нашего неба, наших лиц, наших домов — и яркость их домов, их неба и их лиц.

Было похоже на то, что мы приехали из страны мертвых в страну живых. Уезжать не хотелось, очень не хотелось, тем более, что в России никто нас особенно не ждал... но оставаться на условиях, обозначенных Светкой... Нет, на такое я не могла пойти. Поражалась Светке, ее смелости, бесшабашности, способности легко и цинично заниматься тем, что было для меня катастрофой и гибелью.

В последний перед отъездом день мы со Светкой пошли на почту. С открыткой, изображающей Колизей, в руках я подошла к служащему, стоящему за барьером. Это был немолодой полноватый итальянец, с уже знакомым мне живым взглядом черных глаз. Я протянула открытку, он что-то спросил, Светка ответила. Он слушал Светку, но глядел на меня. На почте, кроме нас, никого не было. Я торопилась, так как мы оставили Борьку с Катькой, которая его задирала и доводила до слез, и он просил

возвращаться быстрее. Да и вещи нужно было собрать. Но разговор Светки с почтовым служащим никак не кончался. По пристальному взгляду итальянца, устремленному на меня, я могла понять, что речь идет о чем-то связанном со мной. Наконец, Светка подошла ко мне и быстро зашептала:

— Он предлагает тебе остаться — у него большая мать, будешь с ней сидеть, пока он на работе. У них есть комнатка для вас с Борькой. А вид на жительство он тебе выправит, у него родственник в квестуре работает.

Тем временем, итальянец наклеил марку на мою открытку, поставил на нее штамп и бросил в картонный ящик. Он нажал на кнопку, и машина, похожая на компьютер, выдала квитанцию, которую он протянул мне. — Грацие, — произнесла я известное мне итальянское слово и передала ему бумажку в тысячу лир. Он стал отсчитывать сдачу, в перерывах кидая на меня быстрые взгляды. — *Д'аккордо?* — он протянул мне мелочь.

Светка, стоящая сбоку, прокричала мне прямо в ухо, как глухой:

— Он спрашивает: «Согласна?»

Наступила пауза.

Оба — итальянец и Светка — смотрели на меня. Прошла минута. За эту минуту я представила себе нашу хрущобу в Медведкове; свою железобетонную школу во главе со свинцовым директором — место моих ежедневных мучений; Борькины истерики после уроков, его сумасшедшую классную руководительницу; длинную очередь за хлебом в булочной, заплыванный подъезд и мусорные баки под окнами...

Сама не знаю, как произнеслось это «си», оно вылетело незаметно для меня самой.

Опомнилась я лишь тогда, когда увидела, как улыбка расплывается по лицу итальянца.

Тут-то до меня дошло, что я ответила положительно, что наша с Борькой жизнь отныне преломилась надвое, и вот здесь, на этой почте, начинается отсчет ее второй половины...

6 июня, 5 часов вечера

Я закончила работу, теперь свободна. Борька вернется из своего похода только завтра утром. Пьетро... он придет через час, сделает себе «панино» с ветчиной и сыром и усядется у телевизора. Около восьми начнет варить себе пасту... Я, по его мнению, так и не научилась ее готовить, его мать была права. А я, что я буду делать вечером? Читать учебник итальянского? Вязать? Но вяжу я только для того, чтобы ни о чем не думать, чтобы успокоить нервы. Как хорошо творческим людям — как, должно быть, спасает рисование, музицирование, писание. Я думаю, что рисование было бы для меня лучше всего. Душа так окаменела, что никакие слова, никакие звуки мне не подвластны. Да и каждый звук, особенно родной, сказанный на родном языке или вызывающий знакомую картину, может породить боль, страдание, слезы. Краски не так страшны, как звуки. Мне ужасно, просто до судорог, хочется вырваться из дому. Уйти — хоть на час, провести его с моими друзьями — Франческо и Львом.

Франческо смотрит такими кроткими преданными глазами. А Лев... мы с ним совсем не общались. Он мог бы рассказать об Америке. Об Америке? Почему об Америке? Мы бы с ним говорили о России. Мне сейчас хочется говорить о России — о пыльных кустиках под окном, о грохочущих грузовиках, об отпуске на Клязьме, о базарных громких бабах в магазинах и на рынках, о печеной картошке и запахе потухшего костра. О этот запах потухшего костра — как хорошо вспомнить его со Львом! Почему бы не пойти с друзьями в ресторан? Сегодня 6 июня — день рождения Пушкина. Сегодня день рождения Льва. Середина жизни — это сколько же? Да, скорее всего, 35 — древние не жили дольше 70.

Господи, как хочется жить!

Как хочется испытать сладость этой жизни... путешествия, комфорт, отсутствие мелких забот... Ты установилась? Ты хотела бы еще чего-то? Конечно, хотела бы. Душа жаждет любви. Хочется окунуться в любовь с головой, как в водоем, ощутить полноту жизни, гармонию мироздания, космичность и нераздельность бытия.

Возможно ли это? Вот даже Панаевой это не удалось. Опять Панаева. Откуда? Почему? Зачем?

Панаева, панаева, панаева...

Мой день рождения, утро и день

С утра вместе с Франческо гуляли по городу. Небо жалилось, ночью прошел дождь, и утром трава еще не высохла и воздух не успел раскалиться. Но и потом, когда утро миновало, день не казался слишком жарким, был светлым и даже каким-то лучезарным.

Город меня поразил. Я не ожидал, что Италия — такая. Но Франческо сказал, что она не такая, что этот город не похож на другие, он более азиатский, недаром стоит на Адриатическом, читай Средиземном море. Действительно, он расположен на холмах и море огибает его с нескольких сторон. Огромный каменный Дуомо высится на самом высоком холме. В этой нелепой непропорциональной громадине есть что-то языческое. Франческо сказал, что больше тысячи лет назад его соорудили из тех самых серых камней, что составляли капище Афродиты. Своеобразный символ победы христианства над язычеством. Правда, какие же греки язычники? Язычники — папуасы. А греки... Язык не поворачивается так их называть! Божественные эллины, эстеты, философы, виноградари, зрители и участники великих трагедий, строители Парфенона... Представляю, каким прекрасным было это «капище» Афродиты, взамен которого воздвигли этот уродливый храм. Христианство уродливо, оно, в сравнении с греческой красотой и гармонией, бедно и дико. У него страдальчески искаженное лицо. Неспортивное вытянутое тело... Оно ближе к человеку, чем к богам, это точно. Я уже из этой — христианской цивилизации. Какая следующая?

Чей храм воздвигнут на месте этого уродливого Дуомо?

Шли по узеньким улочкам, выложенным булыжником, заходили во внутренние дворы, где растут фруктовые деревья и бегают голые детишки. И все время, из всех

подворотен, арок, каменных лестниц и балюстрад — выныривало море.

Оно было великолепно. Оно нас приветствовало. Оно говорило, что и я останусь в вечности, хотя бы как мгновенная тень, промелькнувшая на его бессмертных берегах.

Снова стали подниматься в гору, где на самой макушке белели какие-то развалины.

— Лев (это Франческо меня окликает), послушай, почему ты такой печальный? Мне это не нравится. Но я не знаю, как тебя повеселить. Немножко знаю, но это не в моих руках.

— Перестань, Франческо. Нам вдвоем хорошо. А третьим у нас — город. Не ожидал, что он такой... странный.

— Хочешь, поговорим о... Панаевой?

— Об Авдотье Яковлевне? С удовольствием! Спрашивается, чего она, поссорившись с Некрасовым, по границам одна металась, слезы лила, что бог ребеночка не дал, завидовала «пристроенным подругам»? Дурочка, не понимала, что ей больше других повезло.

— Повезло? Куда ты уклоняешься?

— Да в истории она осталась. Считаю, в вечности. Теперь кто бы о Некрасове, о Достоевском, о Панаеве ни писал, — все о ней помянут. Муза, вдохновительница, спутница, прообраз, героиня стихов... В 20-м веке с ней может сравниться только одна Лиля Брик. Слышал, наверное, в связи с Маяковским? (Франческо кивнул).

Но только я вот о чем подумал. В истории-то она осталась, да история осталась ли?

Я имею в виду, сколько ей еще быть, нашей европейской истории? Дело, похоже, идет к развязке, цивилизация наша скоро прахом пойдет, и тогда все мы, ее представители, будем в одной связке. Кому из «новеньких» будет до нас дело?

— «Новенькие» — это кто?

— А бог весть. Азиаты или арабы — нам уже будет все равно. Кто из нас помнит шумеров, хеттов, финикийцев, скифов? Что сохранилось в нашем сознании от предшествующих цивилизаций? Ноль. Практически ничего. Так будет и у них.

Возможно, с течением времени к ним, что-то просочится, что-то они присвоят из культуры предшественников. Но не Авдотью же Панаеву!

Франческо повернул ко мне грустное лицо, его губы шевельнулись.

— Что, что ты сказал?

— Разве я что-то сказал?

— Мне показалось, ты прошептал какое-то имя, типа Мелисанда...

— Наверное, бессознательно.

— Но в этом что-то есть.

— В чем?

— В том, что ты прошептал именно это имя. Все же она, Мелисанда Триполитанская, в которую по портрету влюбился рыцарь-француз, — родом из Триполи. А Триполи... Триполи... кажется, это где-то в Ливии, а?

Франческо неопределенно дернул плечом, наверное, он не знал точно, где находится этот город из средневековой легенды и есть ли вообще у него определенные пространственные координаты.

— Ты спишь, Франческо? Ты задумался о вечности?

— Да, кроме шуток, я задумался о вечности. Мы не знаем, когда придет наша очередь, и так хочется жить — в любом виде, в любой форме, только не уходить навсегда.

Мы остановились. Место, куда привел меня Франческо, называлось Цитаделью, по-итальянски, — Читаделла. Это были развалины старинной средневековой крепости на самой оконечности еще одного холма, что высился неподалеку от Дуомо. За древними полуразрушенными стенами крепости располагался парк. То ли потому, что место было связано со Средневековьем, то ли в силу других причин, парк казался таинственным, грустным, даже мрачноватым; от торчащих кое-где остатков стен веяло причудливой готикой. Мы стояли возле кустистого растения с длинными темно-зелеными стрелами-листьями.

Франческо провел рукой по темноватой листве и вдруг заулыбался.

— Это джинестра, — сказал он, — я не сразу ее узнал. Весной она вся в желтых цветах. А сейчас — цветы умерли,

но листья продолжают жить. В следующем марте-апреле цветы появятся снова.

— Это будут другие цветы, Франческо. Старые к тому времени уже сгниют.

Франческо опустил голову, мгновенно потух, снова задумался. Я похолодел: неужели я прав, и мы все, вместе с этими желтыми цветами, должны скатиться в темную бездну без начала и конца?

Франческо поднял голову и медленно произнес: «Лев, ты не додумал, цветы будут новые, но корень и стебель останутся прежними. Понимаешь? Корень и стебель — прежние. Новые цветы будут детьми тех же родителей, то есть они будут нашими братьями и сестрами, у нас должно быть много общего...». В речи Франческо был незаметен переход от цветов к нам. Словно цветы были не символом, не метафорой, а такими же жаждущими бессмертия существами, как мы.

Я не стал его опровергать, хотя мог бы. В молчании мы спускались по крутым каменным ступеням с высокого холма на людную улицу. Было уже около шести часов. День вечерел, но продолжал быть лучезарным. Когда мы поднимались на свой чердак, из двери квартиры священника выглянула Мария Луиза, она что-то негромко сказала Франческо.

В нашей комнатенке было темно и прохладно. Мы с Франческо блаженно растянулись на койках, вытянули уставшие ноги. Франческо произнес безразличным голосом: «Она придет, Лев. Ты зря волновался».

— Ты думаешь я волновался? С чего бы это? Мы прекрасно могли бы провести вечер вдвоем! — мой голос звучал вполне нейтрально, в тон Франческо, и лишь в самом-самом конце мне не удалось сдержать дрожащей ликующей ноты.

Мой день рождения, вечер

Лиза пришла к 7 часам, тихая, внутренне напряженная. Сказала, что Мария Луиза сделала ей замечание по поводу «двух мужчин, к которым она ходит». — Это церковь,

а не дом свиданий, — выговорила ей служительница дона Агостино.

В А. косятся на нее уже за то, что она живет с Пьетро вне брака — его бракоразводный процесс тянется уже несколько лет, она называет себя его женой, но формально это не так, — да и с Виктором она пока не развелась... И вот теперь ей ставят в вину ее посещения двух одиноких мужчин... Лиза тяжело вздохнула, но, поглядев на «двух одиноких мужчин» и увидев, что они смущены и испуганы еще больше, чем она, неожиданно рассмеялась. Мы с Франческо одновременно боязливо взглянули на дверь и поспешили скорее выйти на улицу.

— Куда мы едем? — спросил внизу Франческо. Вопрос повис в воздухе. Я не знал, куда вести честную компанию.

— В Порто Реканати, — скомандовала Лиза. — Там нас наверняка никто не встретит из моих соседей — мне сейчас только этого не хватало. Я сказала Пьетро, что Антонио попросил меня у него подежурить до прихода сиделки. В десять должна быть дома. А пока — гуляй Вася.

Мы сели в машину, и Франческо повез нас в какое-то незнакомое мне Порто Реканати. Странно, но он без поддержки довез нас до города. Зеленый щит на дороге оповещал: «**Benvenuti a Porto Recanati!**»

— Куда дальше?

Лиза опять скомандовала: «Франческо, узнай, есть ли здесь заведение под названием «Il Giardino»*. Франческо высунулся из машины, и тут же к нему подбежал шустрый черноглазый парнишка с ближайшей автозаправки.

— Он говорит, что «Il Giardino» здесь нет, зато есть, и совсем рядом, «Il Bosco»**.

— Едем туда, — без раздумий решила Лиза.

Машина остановилась у небольшого деревянного домика, декорированного под деревенскую избушку. С двух сторон избушки под тентами-грибками располагались столики. Но мы, возглавляемые Лизой, вошли внутрь.

* Сад (итал.)

** Лес (итал.)

Внутри, по периметру, в окружении разнообразной зелени, стояли столы. От них вели дорожки к центру, где в круглой низине, похожей на цирковую арену, помещалась эстрада. Улыбчивая дебилая блондинка провела нас к крайнему столику, стоящему вплотную к эстраде, на которой в этот час никого не было. Подбежала светловолосая официантка с таким вздернутым носом, что я невольно спросил по-русски: «Вы часом не русская?» — на что она с готовностью ответила: «Русская, а как же, из Перова. У нас хозяйка русская, только блюда готовим итальянские. Сегодня, кстати, отличные «фрутти ди маре», можете заказать».

— Вас не Галей зовут? — тихо спросила Лиза.

— Галей? — удивленно взглянула на нее та, — точно Галей. Угадали.

— Мне про вас... Светлана рассказывала, — с запинкой продолжала Лиза.

— Светлана? — Так она скоро выступать будет, ее номер с девяти. На нее специально ходят. Так берете «фрутти ди маре»?

— Обязательно, — подхватил я, — подайте нам эти самые фрутти, а все остальное — на ваше усмотрение — закуски, фрукты, мороженое. И, пожалуйста, бутылку самого лучшего вина.

Галя ушла. Мы с Франческо смотрели на Лизу, ожидая пояснений. Но она молчала. Наконец, Франческо произнес: «Где расположено Перово? Это город или деревня?». Лиза рассмеялась: «Перово — район Москвы, я там родилась. Эта девочка произнесла «Перово» так, будто там находится королевская резиденция, а район так себе, заводской».

— Кто такая Светлана? — спросил я.

— Светлана? Мы вместе учились, потом встретились в Италии, потом...наши дороги разошлись. Боюсь, ее номер мне не понравится.

Зал постепенно наполнялся. Приходили пары, но много было и одиночек, в основном мужчин, молодых, среднего возраста и весьма преклонных лет. Не номер ли Светланы их привлекал? Галя принесла соленые палочки и крекеры — для возбуждения аппетита; для нас с Франческо, не евших с утра, они были излишни. Потом, по отработанному

итальянцами сценарию ужина, последовала паста. В этот раз, одобренная каким-то необыкновенным соусом с морскими креветками и горошком, она мне даже понравилась. Вино — красное сухое *Lacrima di Morro d'alba* — оказалось превосходным. Я разлил «лакриму» по бокалам и произнес небольшой спич:

«Друзья, мне стукнуло 35. Закрыв глаза, я вспоминаю пробежку с флажком, организованную воспитательницей в яслях, выпускной бал в школе, защиту диплома, защиту диссертации, прием на работу, отъезд в Америку... Я как все, как многие — жил, структурируя время, заполняя его вполне бессмысленными и бесполезными вещами. Я заполнял пустоту условными действиями и движениями, принятыми в человеческом обществе, — иначе размагниченное, бесформенное время растеклось бы по углам.

И вот я в Италии, на родине моей души. Мне 35 — я ничегошеньки не сделал не только для бессмертия, но даже для своей собственной жизни. У меня ни своего дома, ни состояния, ни жены, ни детей. Здоровье — что о нем говорить? И если вы меня спросите, зачем ты живешь, я отвечу — не знаю. Я ничего не жду от своей жизни и, возможно, поэтому прилепился к чужой. Эта женщина из другого века, и ей ничего от меня не нужно, впрочем, как и мне от нее. Хотя... вру...мне от нее многое нужно... но не хочу уклоняться в эту сторону. Давайте выпьем за нашу встречу. Тебя, Франческо, и вас, Лиза, я считаю друзьями моей души».

Мы выпили. Лиза по-прежнему молчала. Франческо заерзал на стуле, потом ни на кого не глядя начал: «Я хочу говорить. Лев, мы с тобой почти близнецы. У нас даже мысли одинаковые. Я мог бы повторить за тобой слово за слово все что ты сказал о себе. Я такой как ты. И тоже прилепился к чужой уже пережитой жизни. Я пытаюсь спрятаться за нее от настоящей. Но я хочу говорить о другом. Ты живешь в Америке, я в Италии, но мы нашли друг для друга. Мне с тобой трудно разойтись, я в ужасе ожидаю твоего отъезда... А больше я не хочу ничего говорить».

На лице Пренатале застыло странное выражение смущения и муки, он очень походил в этот момент на рыцаря

печального образа. После того как он произнес свое ответное слово, мы с ним оба искоса взглянули на Лизу. Она вертела рюмку в руке, что-то ее тревожило.

— Лиза, — не выдержал я, — у вас что-то случилось?

Она словно очнулась, заговорила:

— Я перед уходом зашла в комнату, где Пьетро смотрел телевизор. Передавали новости. И я увидела, как два полицейских ведут того человека, которого мы встретили с Борькой возле фонтана. Мне почему-то стало не по себе. А вообще сегодня я хочу быть веселой, — она попыталась улыбнуться. — Лев, я поздравляю вас с днем рожденья! 6 июня — не только ваш праздник. Это пушкинский день, вам очень повезло родиться... Если бы я знала, для чего человек рождается, я бы вам сказала. Но не знаю... Сама живу только Борькой. Давайте выпьем за детей, у них нет этих вопросов в голове, они просто живут, и им хорошо.

На столе появились жареные креветки и каракатицы — «фрукты ди маре». Вкуснее ничего нельзя было придумать.

Вино ударило мне в голову, мне захотелось что-то сделать, вскочить, прокричать, выплеснуть на поверхность все темное и тяжелое, что скопилось в душе. Я встал из-за столика и вышел в коридор. Миловидная полная блондинка, стоящая у входа, была занята прибывающими посетителями — у входа в ресторан выстроилась очередь.

Холл, как и зал ресторана, был декорирован деревьями, образующими довольно густые заросли. Я стал обходить эти тропические кущи. В самом дальнем уголке, скрытая деревьями, на маленькой скамеечке сидела девочка лет одиннадцати. Она что-то писала карандашом в тетради, держа ее на коленях. Волосы ее были собраны в две светлые косички, разделенные прямым пробором. Мне показалось, что девочка русская. Подняв голову от своей тетрадки и увидев меня, она вскрикнула: «Ой». Я наклонился и спросил шепотом по-русски: «Ты что здесь делаешь?» Девочка, в искреннем удивлении вскинув на меня узкие, цвета полевого василька глаза, показала на тетрадку и ответила: «Как что? Уроки». — В ресторане? — Я всегда учу уроки в ресторане. У меня мама здесь работает.

— Как зовут твою маму?

— Мама Света.

— А кем она работает?

Девочка слегка замялась, но ответила все так же уверенно:

— Балериной.

— И ты всегда ее здесь ждешь?

— Ну, не всегда, это я так сказала. Сегодня суор Энрика заболела, и мама взяла меня с собой.

— Ты видела мамин номер?

— Видела, она дома репетирует. А здесь мне Ангелина запрещает смотреть — она кивнула в сторону блондинки.

Та, между тем, впустила в зал последнего из очереди посетителя, юношу с худой цеплячьею шеей, и негромко скомандовала кому-то в зале: Гриша, начинай. И почти сразу раздались тягучие звуки какого-то восточного инструмента.

— Иди, — с беспокойством в голосе сказала девочка, — ты номер пропустишь.

— Но я еще не задал тебе самого главного вопроса.

— Катя, — по-взрослому догадалась девочка, — а еще можно звать Катерина. Вот сейчас она выйдет — беги.

И она нетерпеливо махнула тетрадкой.

Я поспешил в зал. Свое место нашел с трудом, так как приходилось обходить деревья, а свет был притушен. Люди за столиками прекратили разговоры — все в ожидании смотрели на освещенный круг посреди сцены. Пока он был пуст; сбоку сцены в полутьме, скрестив ноги, сидел человек в чалме и в халате и играл на чем-то похожем на флейту. Звуки получались странно гортанные, с придыханием — как арабская речь. Неожиданно и очень быстро по сцене пробежала какая-то тень, я даже подумал — кошка. Словно нитяной клубочек прокатился от одного края до другого. Оказалось — женщина. Вся закутанная в черное лоскутное покрывало, из-под которого выглядывали один мерцающий глаз и одна тонкая белая рука.

Музыка набирала темп, и женщина металась по сцене, в перекрещивающихся метущихся лучах света, ведя борьбу с душащей ее материей. Она с остервенением

рвала ее на куски и бросала себе под ноги. Вся сцена была усеяна черными клочками, имеющими форму каких-то ископаемых существ. Из-под кусков упавшей материи высвобождалось ослепительно белое тело. И вот последний клочок упал на пол — публика ахнула, ожидая, что женщина останется голой.

Вначале мне так и показалось — настолько близко к фактуре и цвету кожи был подобран верх и низ ее мини-наряда. Музыка остановилась на мгновение — застыла и женщина, оглядывая и ощупывая себя — новую, без сковывающей паутины одежды.

Музыкант снова приложил дудку к губам, и женщина начала делать странные движения, словно проверяя, как функционируют разные части ее тела. За столиками раздался смех, подвыпившие мужчины гоготали, а я представил себе Катерину, сидящую в своем тропическом закутке и прислушивающуюся к этому гоготу. Действительно, движения танцовщицы были до дикости нелепые и смешные. Она крутила грудью, животом, бедрами, будто проверяла, как нужно ими пользоваться. Я подумал, что некоторые из этих движений могли быть заимствованы из арсенала первобытных танцоров, исполняющих, скажем, «танец живота».

Музыканта, игравшего на дудочке, сменил ударник, огромный веселый негр, отбивающий ритм на своем там-тате. Чем натуралистичнее становился танец, тем горячее и шумнее реагировала публика за столиками. Кричала «brava», хлопала, стучала вилками по бокалам.

Танцовщица скрылась и через мгновение появилась вновь в наряде восточной одалиски. Теперь оба музыканта играли вместе и в полную силу. Движения плясуньи уже нельзя было назвать смешными или нелепыми. В этой части танца она была властительницей своего тела, овладела им и стала его рабой. Это был пластический рассказ о женских желаниях, об их необузданной и грозной силе. Своеобразный венок сладострастию.

Я взглянул на Лизу. Она смотрела на плясунью не отрываясь. — Нравится?

— Никогда не думала, что в Светке живет Клеопатра.

Звуки там-тама били по нервам, танцовщица извивалась. Неожиданно из-за соседнего столика поднялась длинная нескладная фигура. Я узнал юношу с цыплячьей шеей. Он нетвердой походкой сомнамбулы приблизился к эстраде, прыгнул на нее и через секунду уже извивался рядом с танцовщицей. Публика ревела. К нашему столику неслышно подошла Галя.

— Счас передали по телевизору, террористы захватили автобус с детьми. Требовали, чтобы их жожака выпустили.

Лиза вскрикнула, но ее крик потонул в общем шуме. Хрипло спросила:

— Куда шел автобус, Галя?

— Кажется, сказали, что в А. Дети возвращались с экскурсии. С ними был прэте, священник.

— Они ...живы? — голос Лизы дрожал, она встала, но тут же села — видно, ноги ее не держали.

— Живы... были живы... но ...

— Галя, — сказал я как можно спокойнее, — принесите, пожалуйста, счет. И, приблизившись к ее уху, прокричал, стараясь перекрыть шум, гогот и грохот там-тама: «Дура, у нее там ребенок в этом автобусе, молчи!»

А в голове пронеслось: «Зачем ты допустил это, Господи? И почему именно в мой день рожденья?»

7 июня

Не знаю, как записать про все, что случилось. Когда мы вчера вышли из ресторана, к нам подбежала девочка. С двумя светлыми косичками, с синими-синими глазами. Я подумал, что такая была сестрица Аленушка из русской сказки... Девочка бросилась к Лизе, но та не реагировала. Тогда девочка бросилась ко Льву: «Ты ее муж? Я ее знаю, ее зовут Лиза. Почему она меня не помнит?» Лиза вошла в себя и сказала:

— Я помню, помню. Ты Катюша. Только сейчас мы очень спешим. Извини, пожалуйста.

Девочка кивнула не понимая и крикнула нам в спину: «Привет Борьке!».

Мы очень долго ехали. Кругом была полиция и сирены. Я включил радио. Передали, что террористы удерживают

автобус на въезде в А., и въезд в город заблокирован. Нам приходилось ехать другой, дальней дорогой. Сообщения были такие: трое террористов-албанцев захватили автобус с 30 детьми, шофером и священником. По телефону они связались с полицией и объявили, что взорвут автобус, или член их банды Пьерин Али отправится в третью страну, где получит политическое убежище. Куда он отправится, не говорилось, но, понятно, что к мусульманам. Террористы объявили, что ровно через 24 часа совершат убийство детей, если не получат удостоверения, что их условие выполнено, и еще они желали получить удостоверение своей безопасности.

Я чувствовал, что Лиза впитывает слова известий. Она не плакала, сидела наклонившись вперед и слушала радио. Лев пытался что-то говорить, он ничего не понимал и спрашивал, но у нас не было времени ему разъяснить, и Лиза просила, чтобы он замолчал. Когда подъехали к San Domenico, было уже 11 часов. Возле церкви стояли люди, в основном женщины. Многие плакали. Ко мне бросилась какая-то женщина с длинными путаными волосами, закрывшими лицо. Она громко кричала: «Lorenzo, il mio tesoro!»* Я узнал Сару, мою сестру.

Потеряв всякое самообладание, она обхватила меня и все повторяла: «Скажи, где мой Лоренцо, где мой Лоренцо?». Больше она ничего не могла сказать, но я и без того понял, что мой племянник Лоренцо тоже в том автобусе, вместе с 29 другими детьми.

Никто не расходился, наоборот, люди все приходили и приходили. Раздался слух, что сейчас выйдет дон Агостино. В переулке возле церкви остановилась машина с надписью RAI UNO,** из нее вывалились люди с камерами и софитами. Они, как я думал, ждали выхода дона Агостино, а тем временем снимали женщин, их плач и стоны. Дверь церкви открылась, — и все на секунду замертвели. Вышла Мария Луиза. Она сказала, что дон Агостино сейчас молится, что он приглашает всех, кто пожелает, войти

* Лоренцо, мое сокровище! (*итал.*)

** Первый канал итальянского телевидения

в церковь — там на втором этаже, в библиотеке, есть большой телевизор, есть стулья и диваны, а также умывальная и туалет. Сам он, как только окончит молитву, сейчас же выйдет к людям.

Мария Луиза ушла, но никто за ней не пошел. Снова все зашумели и задвигались. Лиза сказала, что она пойдет домой, чтобы Пьетро не волновался, и сразу вернется. Мы со Львом остались ее ждать. Разговаривать не хотелось, и мы стояли молча, прислонившись к холодной шершавой стене. Совсем незаметно из дверей церкви вышел дон Агостино. Он был в черном костюме священника. Лицо — еще бледнее, чем всегда, но очень красивое и воодушевленное. В нем словно изнутри загорелась лампада.

Сразу все к нему потянулись и образовали круг. Дон Агостино оказался в центре, он стоял среди гудящей толпы и молчал, а потом заговорил — и все сразу замолчали. Лев попросил, чтобы я ему переводил, и я тихо говорил ему главные слова:

Дети — самое важное. Их нужно спасти. Надежда на Господа. Он хочет поехать к террористам. Просит соблюдать спокойствие. Церковь открыта, там можно молиться. В спортивном зале наверху можно спать.

Дон Агостино давал пример присутствия духа, женщины, слушая его, перестали плакать и выкрикивать. Закончив короткие слова, дон Агостино, всех благословил и повернулся к двери, но к нему подбежало сразу несколько человек с камерами и фотоаппаратами. Репортер с микрофоном забарабанил:

— Как вы оцениваете ситуацию?

— Как драматическую.

— Чем она кончится?

— Все в руках Всевышнего.

— Что вы скажете о своем помощнике доне Леонардо.

— Сочувствую ему всей душой. Господь послал ему и детям тяжелое испытание.

— Что вы намерены делать?

— Хочу быть рядом с детьми.

В этот момент завывла сирена, и в середину толпы въехала полицейская машина. Дон Агостино пошел к машине, толпа расступилась. Возле машины он как-то беспомощно, как ребенок, оглянул всех. Может, он ждал, что Мария Луиза вынесет ему что-нибудь из церкви — у него ничего не было с собой — ни портфеля, ни сумки — ничего. Когда он уже сел в машину, подбежала какая-то женщина, попыталась открыть дверцу. Она кричала: «Хочу быть там, вместе с моим ребенком, с моим Лоренцо». Это была Сара, опять я ее не сразу узнал. Молчаливая толпа ее обступила. Многие женщины, как и Сара, желали быть со своими детьми, но они хорошо понимали, что это невозможно.

Полицейский захлопнул дверцу, машина со священником поехала...

Сара, закрыв лицо руками, встала у стены. Из церкви, с чемоданом, выбежала Мария Луиза, но было уже поздно догонять священника, и она встала рядом с Сарой.

Подошла Лиза.

— Пьетро спит, он, видно, устал и рано лег. По телевизору показывают автобус — на окнах опущенные занавески. Можно представить, как там внутри ужасно и темно.

Она закрыла глаза, но должно быть, видение было такое страшное, что она их сразу открыла. — Лев, Франческо, скажите что-нибудь! Я не могу терпеть, у меня мысли, мне хочется отключить сознание. Ведь я дала с собой Борьке всего одно панино. Всего одно — с сыром! И одну бутылочку воды.

Лев усмехнулся:

— Лиза, при чем здесь еда и вода? Не в них дело, детям сейчас не до еды. Важно, чтобы этого вашего Пьерина скорее отправили по назначению. И еще — чтобы бандиты не испугались какого-нибудь обмана (он сказал другое слово, но я его не запомнил). Дон Агостино, как я понял, будет у них заложником, когда детей начнут выпускать.

Я про себя очень удивился — Лев разбирался в ситуации, хотя никто ему не объяснил. Наверное, люди уже привыкли к ситуациям терроризма.

Мария Луиза широко открыла дверь церкви и вкатила в нее чемодан. Следом за ней с криком: «Лоренцо, я иду за тебя молиться!» — вбежала моя сестра Сара. А уж за ней повалилась вся толпа. Мы трое тоже вошли в церковь. При входе толпа разлилась на два потока: вниз по лестнице — там был вход в саму церковь, и вверх — там на втором этаже были библиотека и спортивный зал. Лиза немного заколебалась при входе — куда идти? Пошла вниз, мы за ней.

Внутри церковь ничем не поражает. Потолок впереди расписан аль фреско. Христос сидит на троне, и от него идут желтые лучи во все стороны. Лицо у Христа такое суровое, что приходит в голову, что он всех вокруг хочет этими лучами уничтожить. Фреску, я думаю, писал современный и не очень способный художник. Перспектива нарушена, лицо — неживое, цвета — неясные и холодные. Такому Христу не хочется молиться. Я слышал однажды, как дон Агостино говорил кому-то, что рад, что не видит фреску, когда ведет службу. Наверное, она ему тоже не нравилась. А вот по стенам церкви развешаны совсем другие небольшие черно-белые картинки, изображающие страдания Христа. Их шесть, по три с каждой стороны. Их развесил сам дон Агостино вместе со своим другом хромым Сальваторе. Сальваторе — учитель рисования в элементарной школе, и еще — художник. Он настоящий мастер. Его Христос неказистый, худой, с бледным и хилым телом. Лицом и фигурой он очень напоминает самого Сальваторе. Такого легко было мучить и замучить — особенно большеголовым толстым римским солдатам, похожим на чиновников из квестуры. Они мучили его выдумчиво, но замучить не могли — на каждой новой картинке он был все тот же — худой и бледный, но живой. И даже в самой последней сцене Голгофы кажется, что вот сейчас он встанет с креста и пойдет — продолжать свой путь.

Вокруг него на картинках всегда люди, толпа, небольшая — всего 3-4 человека. И они делятся на «здоровых», тупых и любопытных к зрелищу, и «хилых», смотрящих с жалостью на страдателя. У одного из «хилых» — лицо дона Агостино.

Не знаю, если заметил это Лев. Наверное, нет — ему было не до картинок.

Он хоть и смотрел в церкви по сторонам, но как-то дико — не тот был момент.

Было темно и очень холодно; люди садились на стоящие в ряд лавки, многие становились на колени и тихо молились. Лиза тоже стала на колени, закрыла лицо руками, губы ее шевелились.

Мне и Льву было неудобно сидеть просто так. Лев тронул мое плечо, и мы по-тихому встали и пошли гулять по церкви. Прямо перед нами был помост, на котором обычно вел службу дон Агостино с помощником. Сейчас по этому помосту ходил еще один священник, с микрофоном и бумажкой в руках. Священника этого я знал. По совпадению случая, его тоже звали Агостино. Он заменял нашего дона Агостино в моменты его отсутствия. Я про себя звал его «фальшивым» доном Агостино. Он имел сладкий голос, сладкие интонации и сладкое выражение. Ему нельзя было верить.

Мы обошли помост слева. Здесь в углу, у стены, стояла статуя Девы Марии. Возле нее было много женщин. Среди них я сразу узнал Сару. Она лежала на полу перед Белой Девой, ее волосы занимали много места, она громко, как заклинание, повторяла: «О Мадонна, сохрани моего Лоренцо!».

Почему ей не приходило в ум просить за всех детей? Ведь если все погибнут, погибнет и мальчик, наш чудесный, умный Лоренцо. Господи, сохрани его жизнь!

Неожиданно в церкви зажегся свет. Люди, в страхе, вскочили, кое-кто вскрикнул. Не сразу поняли, что фальшивый дон Агостино, дон Агостино №2, хочет сказать речь. Наверное, его направил весков*, чтобы он в момент отсутствия настоящего дона Агостино успокоил пасущихся. Откашлявшись в микрофон, что в другой момент вызвало бы смех, фальшивый дон Агостино начал проповедь. Проповедь не проповедь, но что-то в этом жанре. Он говорил почти то же самое, что и настоящий дон Агостино.

* vescovo (*итал.*) — епископ

Дети в опасности. Террористы — звери. Будем молиться вместе со святейшим Папой и досточтимым вescовом и просить Господа, чтобы дети не были истреблены порождением Ехидны.

При последних словах одна женщина в голос зарыдала, еще другая забилась в истерике. Фальшивый дон Агостино сошел с помоста, свет потушили.

Мы со Львом ощупью, в темноте, пошли к нашей скамье, где была Лиза.

Увидев нас, она поднялась с колен и оперлась о наши со Львом плечи.

— Мальчики, куда вы делись? Мне без вас стало совсем плохо. Пойдемте в библиотеку.

Я, признаюсь, чувствовал себя неважно, голова раскалывалась, наверное, от вина. Лиза почти тащила меня за собой по ступеням. За нами, тяжело дыша и сопя, поднимался Лев. Поднялись на второй этаж. Гостиная, перед входом в библиотеку, где обычно коротали вечера старушки-прихожанки, была сейчас забита людьми.

Там стоял большой телевизор с огромным экраном — гордость дона Леонардо, делавшего в церкви «культурную работу». Все заколдованно смотрели на экран, на котором показывали туристский автобус с темными окнами; его окружали ярко светящиеся полицейские машины. Голос за кадром объявил, что ситуация близка к решению и скоро дети выйдут на свободу. Правительство все для этого делает — на экране возникло заседание кабинета министров, они что-то горячась обсуждали. Я подумал, что министры обсуждали, если принимать условия террористов; в следующем кадре был показан трап самолета, на который взбирался наш знакомый Пьерин. Значит, его решили отпустить с миром в какую-нибудь открытую для террористов страну. Появление Пьерина на экране люди встретили молчанием, не произносили ни угроз, ни проклятий, боялись спугнуть надежду. Мы сели на полу, на коврик, где еще оставалось место. Взглянув на Льва, я увидел, что он сидит с закрытыми глазами и слегка покачивается. Конечно, он спал. Мне тоже нетерпимо хотелось

спать, я прикрыл глаза, но тут же открыл — из-за громкого вскрика сидящих возле телевизора.

Там показали, как к автобусу приближается полицейская машина. Открылась дверца — и из нее вышел наш дон Агостино. Шаткой походкой, один, он пошел к автобусу. На миг приподнялась и опустилась темная занавеска. Условный знак? Дон Агостино стал у двери. Прошла минута, вторая. Некоторые женщины у экрана не выдержали и стали кричать.

Прошла еще минута. Дверь автобуса медленно раскрылась и оттуда нетвердыми ногами вышли один за другим три ребенка. Не успели все перевести дыхание, как дон Агостино был заглотан той же дверью. Обмен состоялся.

Камера показала три измученные детские мордочки. Мальчики или девочки — трудно было определить. Не дети, а звереныши, заполненные страхом.

И снова все вздрогнули от дикого ужасного крика. «Лоренцо!» — это кричала Сара, стоящая у самой двери. Она только вошла, увидела экран — и в одном из зверенышей узнала своего Лоренцо, нашего бесценного прекрасного Лоренцо!

La fine — это конец

Не было сил не спать. Не открывая глаз, я последовал за Франческо и Лизой.

На минуту разлепил веки, когда понял, что мы вошли в просторное помещение.

Оказалось — спортивный зал, огромный, со стеклянной стеной, слабо освещенный уличными фонарями. Вдоль всего зала — разложены маты. На некоторых уже лежали. Я не совсем понимал, почему мы с Франческо и Лизой должны ночевать здесь, в спортивном зале, вместо того чтобы расположиться в своей постели. Вернее, я сознавал, что люди, чьи дети оказались в автобусе, не хотят уходить на ночь из церкви. Вместе им не так страшно. Но наше с Франческо обиталище находилось здесь же, в церкви, тремя этажами

выше. Могли бы растянуться на своих койках. Правда, куда тогда денется Лиза? Она-то уж точно не захочет идти ночевать к своему любезному Пьетро. Франческо подвинул ко мне мат. Бедный, заботится обо мне. Но думать долго я не мог, отключился, ушел в сон.

Мне опять снилась Панаева. Она была в красном и металась по арене, а несколько франтовато одетых мужчин, стоя по краям арены, кидали в нее пернатые стрелы. Это напоминало корриду. Под бешено гремящую музыку женщина металась, стараясь увернуться от стрел. Недолет, перелет, опять недолет.

Одна из стрел запуталась у нее в волосах. Другая застряла в складках платья. Мужчины играли, они хотели развлечься — не больше. А женщина обезумела. Она странно дернулась — и упала. Музыка замолкла. Наступила тишина. Она лежала посреди арены, в вырезе платья светилось тело. Белизна слепила глаза. Откуда-то сверху зазвучал хорал. Хоронят, — подумал я, — и заплакал.

— Не плачь, — на мое плечо легла рука. Я открыл глаза. Надо мной склонилась Лиза.

— Не плачь, скоро все кончится (она постучала по деревянному полу).

Сейчас показали, как этот ужасный Пьерин вышел из самолета. Его доставили к месту назначения, куда он хотел. Теперь должны отпустить (она перешла на тишайший шепот) остальных детей, шофера и священников (она снова постучала по деревяшке). Скорей бы, Господи! Так нестерпимо ждать.

Она поглядела на меня, потом перевела взгляд на Франческо — он тихо посапывал на соседнем мате, на лице его застыла улыбка блаженного.

— Лиза, — зашептал я, — поспи и ты. Ничего ведь не изменится, если ты отдохнешь хоть полчаса. Посмотри — я указал на людей, разместившихся рядом, — у них та же беда, и они все же прилегли.

— Не могу, Лева, не получится. У меня сердце бешено колотится — как тут спать? Да и кошмары приснятся.

Она вздохнула. Вид у нее был предельно замученный, однако не подавленный, наоборот, возбужденный;

воспаленные глаза горели, ей действительно не до сна было. Она еще раз окинула нас с Франческо взглядом, будто мы были оставляемая ею семья, и пошла к выходу.

Я закрыл глаза. Снова зазвучал хорал. И вдруг я вспомнил. Вернее, увидел перед собой ее лицо. Лицо женщины, которую забыл, вернее, велел себе забыть и не вспоминать. Все семь лет эмиграции я жил вдали от этого лица, от этой узенькой хитровой улыбки, картавости, ломкого голоса. Я забыл так называемый «будуар» с огромной двуспальной кроватью, зеленый диван в гостиной и восточный ковер на полу... Забыл ее тонкое змеиное тело, крики и стоны, поцелуи, отнимавшие разум. С кем все это было? Когда? Могло ли это происходить в действительности? В той покрытой снегами стране, в те поры, когда время словно остановилось или даже двинулось вспять... Все это было давно и неправда. Катя? Зоя? Матрена? Как звали ее? Забыл.

Не хитри сам с собой. Ничего и никогда ты не забывал. Она была с тобой все это время. Влезла в твой чемодан и перелетела через Атлантику. Ты привез ее вместе со своими вещами, чемоданом, сумкой, книгами — невидимую. Ты не взял в дорогу ни одной ее фотографии, ни письма, ни записки, но все женщины, что попадались тебе на пути, несли ее черты, говорили похожим голосом, так же дышали и смеялись. И не потому ли прилепился ты к Панаевой, что увидел в ней «прототип», зерно твоей грешной и царственной, пустой и заразительно веселой, взбалмошной и прекрасной возлюбленной?!

Снежной зимой 198...года... я увидел ее впервые.

Мой научный руководитель, назову его Антон Антоныч, предложил мне вместе съездить в автобусную экскурсию в Павловск. Сказал, что будут он, а также его жена и племянница. Я понял, что предназначаюсь в кавалеры племяннице. На раздумье было отпущено мало времени, я согласился. Старый неприглядный автобус подъехал, когда собравшиеся на экскурсию научные сотрудники и прибившийся к ним народ уже изрядно промерзли. Я опоздал на сбор и не без злорадства отметил покрасневшие от холода носы, притаптывающие снег сапожки и

похлопывающие одна о другую рукавицы. Антон Антоныч помахал мне рукой и представил дам — Луиза, Света. Та, кого назвал он Луизой, медленно подняла глаза и протянула руку в перчатке. Света, юное и невинное существо, с выбивающимися из-под меховой шапки белокурыми кудряшками, покрылась румянцем и отвернулась. В автобусе я сидел рядом со Светой; впереди же, прямо против кабины водителя и лицом к нам, — Антон Антоныч с Луизой.

Поневоле я всматривался в ее лицо. Оно было очень подвижно и изменчиво. И словно уже знакомо, хотя, признаться, в первый раз я видел настоящую красавицу. Но красавицу не по чертам лица, а по властной, притягивающей повадке. Черты были слишком изломаны и вызывающе броски, чтобы назвать их красивыми. Но ни оторвать глаз от этого лица, ни пропустить звуки ломкого голоса, ни противостоять подспудному вызову нельзя было. Рок, фатум, судьба.

Чей подспудный вызов я ощущал? Плоти? Не уверен. Она влекла меня как то, что изначально предназначалось мне, но по какому-то просчету попало в другие — неправильные — руки.

Этот морозный день остался в памяти. Белый под сугробами снега нарядный дымчатый Павловск и она, легкая, в сапожках на каблуках, ах, поскользнулась, ах, набрала снегу в сапожок, Луиза, ты доиграешься до болезни! А и вправду, у меня жар — и взгляд снизу, разящий — в мою сторону.

Всю зиму я ею бредил.

А весной, в мае, Антон Антоныч пригласил меня на дачу, жена говорит: одним на даче скучно, пригласи Леву, пусть землю в огороде вскопает...

Громадный участок на заливе, поросший высокими сонами. Запах хвои и моря, и профессорский сон после скромного, с собой привезенного обеда. А мы с Луизой — гуляем. Соленое солнце, жаркий ветер, не знаю, кто кого коснулся первым. Помню, что было не страшно, что кто-то увидит, подсмотрит, и совсем не стыдно, хотя спрятаться практически было негде — кругом песчаное пространство, воздух, свет, редкие деревья. Случилось неизбежное, как смена дня

и ночи. А потом повторялось уже в профессорской квартире, и сладить с этим было нельзя, как с водопадом.

Помню, она запела там, на заливе. Я на руках донес ее до качелей, она качалась и пела — и я знал и не знал эту простую песню, мелодию без слов. Я уже где-то слышал ее. И потом всегда узнавал. Узнал и сейчас в этом глухо звучащем хорале.

Звучание нарушилось громким воем сирен. Открыв глаза, я был ослеплен перекрестными цветными огнями, шарящими по стеклу. Все вскочили, стали шуметь, началась паника. Женщины с криком бежали к дверям. Один Франческо спал как убитый с застывшей на лице блаженной улыбкой. Я подошел к стеклянной стене и взгляделся. Поверх разноцветных огней полицейских машин где-то на границе города и горизонта полыхало пламя, и дым заволакивал светлеющее небо.

7 июня, ночь

Уложив Льва и Франческо, я оставила их в зале, а сама ушла. Сердце колотилось так бешено и мысли рождались такие страшные, что было не до сна.

Смотреть последние известия по телевизору, слушать трескотню оживленных репортеров, видеть «место событий» со стоящим в центре автобусом, — неважно.

Перед глазами всплыл дон Агостино, его растерянный, остановившийся на мне взгляд, перед тем как он сел в машину. Что хотел он мне сказать? Что унес с собой в этот страшный темный автобус?

Вышла из церкви и пошла по неосвященной, с редкими прохожими улице. Ноги сами привели к фонтану. Из лошадиных морд тоненькими струйками сочится вода. Вот там этот ужасный человек утолял жажду. Здесь стояли мы с Борькой. Сюда упала Борькина медаль, жалобно звякнув.

Этот человек пил воду из фонтана, и ничего — не отравился, хотя кругом висят объявления, что вода не питьевая. Говори не говори — кто-нибудь обязательно нарушит запрет. И что? Похоже, для него все обошлось благополучно. Так что для кого-то эта вода живая, а для

кого-то — мертвая. Мысленно произнесла последнее слово и похолодела. Пошатнулась и схватилась рукой за холодный мраморный постамент. Чем себе помочь? За кого зацепиться, когда так тяжело, что думаешь, что сердце не выдержит и разорвется? Господи, если бы я росла в вере! Поставила на камень сумку и вынула из тайного отделения завернутую в платок бумажку. Досталась она мне от давно умершей няни Маши, мордовки, плохо говорящей по-русски, неграмотной, истово верующей. Было мне лет 10, когда Маша, придя к нам в гости, перед уходом сунула мне в руки эту картинку и перекрестила, словно на прощание. Она вскоре умерла, а картинку я сохранила. Развернула, разгладила, взгляделась.

Грустно ты сидишь, склонившись над ребенком. Смотришь не на него, а в себя, словно готовишься к чему-то ужасному в будущем. Да неужели нельзя без того, чтобы дети страдали и гибли? Ведь это — аномалия. Согласись! Нельзя жить в перевернутом мире, где погибают — дети. Помоги мне, прошу тебя, помоги.

Он один у меня, больше нет никого, сохрани его, пожалуйста. Ведь ребенок не виноват, что какие-то дяди чего-то там не поделили с другими. Ему жить хочется, играть в бокс, задирать девчонок, смеяться и прыгать. Ему только одиннадцать,

Он прошел лишь треть пути твоего сына. Подумай, только треть такого короткого пути! Помоги, ты ведь так меня понимаешь!

Бумажка промокла, и я поскорее завернула ее в платок и сунула в сумку. А потом... потом я услышала сирену и поспешила к церкви.

Эпилог

Приходится заканчивать эту историю мне, ее автору. Ни один из моих героев не захотел рассказывать о том, что было в конце. Но и мне не хочется говорить про горящий автобус и про ужасную участь тех, кто в нем находился.

Коротко скажу, что случилось с моими героями.

Лев Кавинсон через неделю после трагедии улетел назад в Америку. Они договорились с Франческо, что будут продолжать переписку и обязательно снова встретятся. Как встретятся и где — этот вопрос не поднимался. Франческо при прощании горько, как младенец, плакал.

В церкви в квартире дона Агостино поселился дон Агостино № 2, которому вешков поручил паству церкви Святого Доменико, лишившуюся священника. Дон Агостино № 2 все делает как надо, никогда не повышает голоса, мелодичного и певучего, слегка переходящего в фальцет; только иногда посреди проповеди ему случается заглянуть в бумажку, так как память, бывает, его подводит.

Мария Луиза продолжает исполнять свои обязанности экономки при священнике, она постарела, и, когда улыбается, уже не кажется такой привлекательной, как прежде. В ее вдовьей квартирке на столике под висящим на стене распятием — две фотографии: старый священник и его молодой помощник. В конце дня перед сном она молится им как святым-мученикам.

Лиза... К Лизе из Америки приехал бывший муж. В кадрах хроники, показанной по телевизору, среди несчастных обезумевших родителей он узнал Лизу — и помчался в Италию. Его приезд совпал с отъездом Льва Кавинсона, они разминулись и так и не встретились. Возможно, Лиза уйдет от Пьетро и уедет в Америку...

Недавно от безнадежной болезни, на горе всему А., умер доктор Милиотти.

В могилу с собой он унес тайну о точно таком же, как у него, диагнозе дона Агостино. Два праведника должны встретиться в райских кущах.

Вот что еще: двенадцатилетняя Катюша начала за поем читать книжки, совсем под стать ее другу и тайному воздыхателю Лоренцо, также большому любителю чтения.

После уроков они встречаются в книжном магазине, где теперь работает дядя Лоренцо — Франческо. Катюша часто видит в руках у Франческо русскую книгу с красивой женщиной на обложке. Ей очень хочется ее почитать, но мешает незнание русских букв. Когда-нибудь она непременно им выучится.

В широкой ложине между горами и морем располагается кладбище. Весной от земли поднимается влажный растительный запах, весной здесь привольно.

Катюша и Лоренцо бегают друг за дружкой, прячутся за склепами. Матери никак не могут их дозваться. Кому захочется вместе с понурыми взрослыми стоять у высокого, засыпанного цветами белого памятника! Гораздо приятнее бегать, смеяться, рассматривать окрестности. Если стать спиной к морю, то вон там, на той высокой горе, виден огромный серый Дуомо, сложенный из мощных еще античных плит. А на соседней вершине белеют остатки средневековой крепости — Читаделлы. А если оглянешься, то прямо в тебя — в непереносимых глазом солнечных бликах — ударит синь бесконечного моря. Катюша и Лоренцо бегают между склепами и не слышат зова надоедливых матерей.

2006–2007

Дело о деньгах

(из тайных записок Авдотьи Панаевой)*

*Такого сердечного смеха,
И песни, и пляски такой
За деньги не купишь...*
Николай Некрасов

1

Эти записки я сожгу, равно как и письма Н-а, толстую, перевязанную алой лентой пачку. И пусть потомки удивляются. Как это в своих опубликованных воспоминаниях она ничего не пишет ни о своих чувствах, ни о своих отношениях с П-м, ни о своих отношениях с Н-м. Верно, не пишу — и делаю это сознательно. Чтобы не питать ваше большое скверное воображение, уважаемые. Слишком много сплетен вылили вы на мою бедную голову. Слышу ваши негодующие крики: «Письма Н-а, нашего национального гения, как у нее поднялась рука их сжечь!» А вот поднялась. И жаль, что вы, уважаемые, не прочтете ни этих любовных писем, ни этих моих записок. Очень, очень было бы для вас любопытно. Но не прочтете! Сожгу — и то, и другое.

А для чего пишу записки — сама не знаю, наверное, чтобы разобраться в себе самой. Не буду соблюдать ни хронологии, ни сюжета. Пишу для себя — что вспомнится, то и хорошо.

* Первая часть повести

Отца до десяти лет я обожала и боялась. Он был очень надменный человек. Мог быть злым и саркастическим. Однажды при мне так высмеял одного актера, который пришел к нему на занятия и невнятно произносил текст, что актер зашатался и повалился на пол. Его откачивали водой. Злым отца сделал Пушкин. Это я поняла, когда еще училась в театральной школе. Нас, воспитанников, там ничему путному не учили, но при школе была библиотека, и я до дыр зачитала отысканные в ней романы Лажечникова, повести Марлинского и пьесы Озерова. Книг Пушкина там не было. Но один мой хороший приятель М., в будущем прекрасный актер, принес мне переписанные от руки сочинения нашего великого поэта. Я прочла их в один день и попросила еще. У М. больше ничего из Пушкина не было, разве что одна его рецензия на игру театральных актеров, написанная еще в 20-х годах. Екатерина Семеновна Семенова получила эту статью в подарок из рук самого поэта, тогда полумальчика, и разрешила снять с нее копию. М. мне эту копию принес, я прочла. Когда дошла до фамилии Брянский, подумала сначала, что это отцов однофамилец. Но тут же поняла, что это сам отец.

Ух, как Пушкин его раскурочил. Как над ним поиздевался! Как все в этом Брянском, ну почти все, ему не нравилось — и деревянный, и неживой, и стихи плохо декламирует. А мне-то все-все в отце-актере нравилось. Был он на сцене всегда очень красивый, статный и высокий, голос его долетал до последних рядов, и, хотя низкого тембра, приятен был для слуха. В Озеровском «Эдипе в Афинах» отец всегда вызывал восторг зрителей, дамы в публике рыдали, и отца вызывали на сцену несчетно, а тут такая язвительная рецензия! Я представила, как больно было отцу это читать, как хотелось расправиться с этим мальчишкой, возмнившим себя критиком.

Какой-то молокосос из Пушкиных охаивал актера Императорских театров Брянского, самого Брянского, партнера великой Екатерины Семеновны Семеновой. О Семеновой молокосос писал с восхищением, давний соперник отца — Яковлев — ему также нравился. Можно

представить, как тогда взъярился отец, как после этой статьи не знал, на кого излить ярость и негодование, как кричал на мамашу и ее постных сестер, как досталось от отцовского арапника ни в чем не повинному Алмазке.

Видно, отец не легко пережил позор этой оценки, ведь если поначалу он мог не придать большого значения высказываниям молокососа, едва вышедшего из школьных пелен, то с годами вес каждого пушкинского слова непропорционально возрастал, молокосос превратился вначале в политического изгнанника и автора известных в копиях противогосударственных стихов, потом во всеми любимого национального поэта.

Сейчас я понимаю, откуда у отца эта патологическая ненависть к стихотворцам, «виршеплетам», как он их называл. Н. он не переносил, у себя не принимал, при упоминании имени — хмурился. Вообще отец был строгих понятий.

Я знаю, что в глубине души он не хотел, чтобы я стала «актеркой», одной из тех, кто живет на содержании у богатенького покровителя. Как-то случайно я услышала возбужденный разговор в спальне родителей, то и дело звучало мое имя, я насторожилась. Мамаша визгливым шепотом докладывала отцу, что Тит..., наш балетмейстер, ей на меня жалуется, что я плохо посещаю класс, не слушаю его указаний и притворяюсь неумехой. Все в самом деле так и было. Я не хотела становиться балериной, не хотела и все. В классе хромоногого жилистого Тит... стояла на нетвердых дрожащих ногах, сбивалась с такта, видела, что он едва сдерживается, чтобы не огреть меня палкой. Сдерживался он из-за моего отца — Брянского боялись. Однажды в перерыве Тит... неожиданно явился в класс. В тот момент я передразнивала француженку Тальони, гастролировавшую в Петербурге, делала пируэты и фуэте под громкое одобрение и аплодисменты товарок. Тит... видел мои прыжки из-за двери. Среди возникшей тишины он проковылял ко мне, на середину залы, громко стуча палкой по паркету. Запомнился его яростный зрачок, он бешено глядел мне в лицо: «У нее стальной носок, а она притворялась расслабленной!»

Тит... обмана мне не простил, нажаловался матери, а та передала отцу. Отец, как было тогда положено, за провинность меня наказал. Бил не сильно, ремнем, не арапником, как обыкновенно бивал Алмазку. Во время этой экзекуции я надрывалась от крика, орала не столько от боли, сколько от негодования. Как он смеет меня бить! И почему? Ведь я своими ушами слышала его раздраженный шепот в ответ на слова матери: «Дунька не хочет в балеринь». — Правильно не хочет, б...и они все. Продажные твари. Не балет, а великокняжеский... последнее слово он проглотил — в этом месте, мать, наверное, закрыла ему рот, ибо боялась чужих ушей, жили мы на казенной квартире, и любой из соседей мог донести; шепот прекратился, и я прошмыгнула в детскую. Уже тогда, в 10 лет, я знала, что такое «б...и» и примерно представляла, что имел в виду отец.

Со времени экзекуции я разочаровалась в отце, поняла, что он такой же «раб», как все вокруг. Тогда же мне впервые открылось противоречие между мыслями и поступками взрослых. Я затаила мечту поскорее вырваться из этих застенчатых стен, где можно побить девочку, почти барышню, только за то, что она не захотела пойти в «б...и».

Привлекала ли меня сцена? Нет. Может, еще и поэтому я с такой силой противилась уготованной мне судьбе. Девочкой я участвовала в живых картинах, устроенных на Масляной на императорской сцене. Меня нарядили маленькой цыганкой, дали в руки красный цветок. Когда открыли занавес, по залу прокатился гул удивления. Видимо, публику поразила красота картины. Меня не отпускали минут десять. Опустили занавес и повторили картину еще раз. Тронули ли меня аплодисменты? Ничуть. Я ощутила странное чувство, что сидящие в зале хотят ко мне присосаться, выпить как пиявки мою красоту и юность, а потом выбросить остатки как сношенную негодную вещь. Мне не хотелось нравиться публике, подчиняться ее требованиям, идти к ней в услужение. Слишком сильны во мне были гордость и самолюбие. Главное чувство, которое владело мною на сцене, было желание поскорее убежать; допускаю, что я могла высунуть язык почтеннейшей публике. «Испытание сценой» прибавило мне уверенности, что эта дорога не моя.

Я была горда и одинока. Вокруг, возле материнного карточного стола, — в свободные от спектаклей вечера у ней собиралась большая компания за картами — дымом клубились сплетни. Обсуждалось, кто из актрис обзавелся новым обожателем, какие подарки каждая из них получила и какова их стоимость, передавались закулисные новости — «провалившая» роль Дюриха, забывший реплику пьяный Каратыжка, делились сведениями, с кого из опоздавших на вечерний спектакль артисток взял штраф Гедеонов, какую примадонну поклонники собираются оштрафовать в угоду другой... Я вертелась тут же, возле играющих, но их мир был мне «чужой». Мать недобрым оком глядела в мою сторону и притворно тихим голосом гнала в детскую или к скучным теткам, целыми днями сидевшим у окошек за пальцами. Мне были неинтересны и детские игры, и блеклые bestолковые тетки. Здесь за карточными разговорами было гораздо интереснее, но все равно это была чужая стихия. Я это хорошо понимала уже девочкой. Думаю, что и мать это понимала. Она меня не любила, что, впрочем, было взаимно. Я надоела ей своим диким упрямством, своеволием, нежеланием следовать ее наставлениям. Возможно, она ощущала мое презрение к миру интриги и сплетни, царицей которого она была. Я отказывалась посещать уроки декламации, Тит... изгнал меня из балетного класса. Следственно, ставить на меня как на актрису семья не могла. Единственным моим козырем, по мнению матери, оставалась красота. Ее-то она и предполагала выгодно продать первому подвернувшемуся покупщику.

Красота досталась мне от отца, я была в него. Еще девочкой-подростком я ощущала на себе несытые плотоядные взгляды мужчин. Мне это не нравилось. Я, как мне казалась, была больше, чем просто «красивая барышня». Сколько я прочитала книг, как много думала над ними, какое бесчисленное количество историй сочинила в своем воображении! Но им, этим прыщавым юнцам и плотоядным старикам, что на меня заглядывались, все это было не нужно, они видели во мне только свежее красивое личико, стройное тело, белую кожу, контрастирующую с темными — цвета воронова крыла — волосами. К тому же,

мое актерское происхождение давало им право считать меня доступной.

Возле театра всегда крутятся мужчины, лакомые до нестрогих и соблазнительных «актрисок». У родителей за долгие годы службы на театре образовалось довольно много знакомств среди богатых и чиновных жителей Петербурга. Один из таковых, важный и надменный сановник Б. (сама не знаю, почему я скрываю фамилии тех, о ком пишу, может, боюсь, что в последний момент не смогу уничтожить эти записки?!) зачастил к нам. Ему было под семьдесят, седой, с плешью на затылке, узколицый и сухой, он всегда привозил мамаше огромные коробки с конфетами и пирожными, а мне — букеты оранжерейных орхидей. Б. недавно лишился молоденькой жены. Он взял ее из низов за красоту. Говорят, была она отменно хороша и быстро вошла в роль светской дамы. Умерла она родами, причем отцом ребенка молва называла сына Б. от первого брака, импозантного и солидного государственного чиновника, давно женатого. Б. был мне противен до судорог. Мамаша заставляла меня его принимать, я подозреваю, что его подарки ей не ограничивались конфетами. Было нестерпимо ощущать себя объектом его ухаживаний, слушать его несусветный вздор, пересыпанный комплиментами, на которые нужно было отвечать улыбкой. Я с ужасом ждала, чем могут завершиться его визиты. Однажды мамаша с таинственным видом поманила меня за собой в гостиную. Закрыв дверь, она торжественным, медовым, невыносимо фальшивым голосом оповестила меня, что Б. ко мне сватается и что сегодня он приезжал к ней (отец как обычно отсутствовал) делать официальное предложение.

— Предложение? И что вы ему сказали?— спросила я дрожащим голосом.

— Сказала, что конечно мы согласны. Кого ты еще ждешь — принца?

Я всегда поражалась грубости и вульгарности ее интонаций и выговора. Возможно, играя в водевилях и комедиях, она переняла у своих хамоватых простонародных героинь их хватки и манеры. Но мне приходит в голову, что она наделяла их тем, чем была доверху наполнена

сама. В жизни я два раза падала в обморок, первый раз был после этих мамашиних слов. Второй, когда много лет спустился у меня на руках умер П.

Меня отнесли в нашу общую с сестрой комнату. Мне тогда только исполнилось семнадцать, и я решила не жить, если мамаша будет принуждать меня к браку с Б. Дальнейшее можно обозначить русской поговоркой: нашла коса на камень. Мамаша настаивала, я упорствовала, отец сохранял нейтралитет. Странно, что его положение на театре, его бильярд с приятелями, псовая охота, до которой был он охотник, ссудная касса для актеров, которую держали они с матерью, — все, казалось, было ему дороже, чем судьба собственной дочери. Ни разу за все это время он ко мне не приблизился, со мной не поговорил.

Как тяжело вспоминать то постылое время! Наверное, именно тогда, лежа лицом к стене на своей постеле, я пережила самые мучительные дни своей жизни. Много чего было в ней потом — страдания, душевные муки, горькая неутоленная любовь, пережила я и то, чего не пожелаю ни одной женщине, — смерть новорожденных детей, жизнь моя была отравлена клеветой и порочащими слухами, приготовила мне судьба и предательство человека, который когда-то клялся мне в вечной любви, — и все же самый тяжелый груз лег на мою юность, когда дело шло о том, жить мне или нет. Именно из-за тяжести этих воспоминаний, из-за того, что по сию пору ранят они мою душу, я не поместила их в мою предназначенную для чтения книжку. Между мною и читателем там начертана незримая черта: дальше, за эту черту, хода нет. Здесь же я пишу для себя, не боясь обнажить раненую душу.

Однажды, когда я вот так лежала на постеле в состоянии почти прострации, ко мне подошла сестра. Мать запрещала близким со мною общаться, я находилась на положении арестантки, которой 2 раза в день приносят хлеб и воду, а остальное время, заключенная в четырех стенах, она предоставлена самой себе.

Сестра однако нарушила запрет и быстро-быстро зашептала мне на ухо, что я должна быстро одеться и выйти в гостиную, где меня ждет один человек. Я не хотела. Мне

казалось, что сестра говорит это нарочно, чтобы вывести меня из моей летаргии. Но она настаивала, беспрестанно оглядываясь на дверь. Было часов 8 вечера, мамаша, судя по всему, была в театре, но сестра все равно боялась и вздрагивала при каждом звуке. Она заставила меня надеть платье и кое-как причесаться. Я прошла в гостиную. Не успела я войти, как ко мне бросился Жан П-в., который последнее время довольно часто к нам заглядывал. Мне он нравился, но молва окрестила его легкомысленным и пустым малым. Очень белокурый, веселый, всегда с иголки одетый, он казался мне похожим на королевича из сказки.

Почти каждый вечер бывал он в театре, знал всех актеров и актрис, состоял в курсе всех театральных дел и сплетен. Бросившись мне навстречу, Жан быстрой скороговоркой стал говорить, что до него дошли слухи о моем предполагаемом браке с Б. и о нежелании соединять с ним судьбу. Казалось, он был в нерешительности, стоит ли продолжать. Сестра сторожила у входа в гостиную, нас никто не слышал и не видел.

Жан приблизился и схватил мою руку. «Евдокси... Дуня, — сказал он, неотрывно глядя мне в глаза, — если я вам не противен... я мог бы... просить вашей руки у ваших матушки и батюшки». — Вы, вы хотите спасти меня? — Нет, вы мне давно нравитесь, я подумал, что больше подойду вам, чем этот распутный старикашка Б, как вы полагаете?

И мы с ним одновременно улыбнулись, я — сквозь слезы.

2

Вскоре после публикации моих записок я получила несколько писем от читателей. Среди них одно анонимное, очень злое. Корреспондент, скорей всего, женщина, ядовитым тоном осведомлялся, почему я так мало и с таким снисхождением пишу о своем «законном муже». «Не думайте, — писала она далее, — что я хочу вас пристыдить в связи с тем, что «законному мужу» П-у вы предпочли незаконного Н-а. Наш век смотрит на эти вещи гораздо

снисходительнее предыдущего. Мало того, я полагаю, что с вашей стороны было бы глупо упустить счастливую фортуна и не ответить на чувства нашего несравненного поэта Н-а. Я удивляюсь только тому, что вы не позаботитесь обелить себя перед лицом современников и потомков. Я, например, близко зная господина П-а и наблюдая за его жизнью в течение нескольких десятилетий, могу засвидетельствовать, что был он человеком весьма низких нравов, прямо сказать, стрекозлом и сводником. Известно к тому же, что женился он на вас, хотя не из корысти, но на пари со своими приятелями, раструбив среди них, что возьмет за себя первую красавицу Санкт-Петербурга. Всем в его окружении был ведом его образ жизни — как до, так и после брака с вами, — весьма предосудительный, так что с вашей стороны было очень глупо не довести хотя части из этих фактов до сведения читателей».

Читала я это письмо стараясь не растравлять себя, спокойно. Ведь для этой женщины, автора анонимного письма, главное излить свою злость, нанести удар, сбить с дыхания, заставить зашататься и, может, упасть. Это первое. А второе, что написала-то она почти что правду. Ту правду, которая в виде слухов и сплетен, всегда над нами клубилась. Это так называемая видимая правда. Все видели, что П. легкомысленный, неосновательный, неверный, что пребыванию в домашнем кругу он предпочитал — клуб или обед в мужской компании, а ночи в семейной спальне — будуар какой-нибудь актриски или, того чаще, бордель. Но никто не видел его глаз, когда он пришел спасти меня от смертельного замужества. Никто из целого выводка его друзей даже не посмел подумать, что совершил он тогда благороднейший и чистейший поступок. Ухватились за первое, что витало в воздухе: заключил пари, увлекся красоткой. Очень часто он сам на себя наговаривал, не желая выглядеть «слишком добродетельным». Рад был прослыть «своим малым», простым, услужливым, не заносчивым. Мог что угодно сделать ради друзей, пойти на любые жертвы и самоущемления. Грешным делом, я иногда думаю, уж не из дружеских ли чувств «уступил» он меня своему ближайшему другу Н.?

Но, если разобраться, здесь все было сложнее.

Часто, когда не спится и перед глазами в ночной темноте беззвучно перелистывается роман моей жизни, я думаю: а что если бы у нас с П. были дети? Дети сделали бы дом домом, семью семьей. С детьми мне не везло — они рождались, но не жили. А если бы хоть один ребеночек выжил! Может быть, тогда Ваня не бросал бы меня вечерами ради своего клуба или заезжей актриски? Не просиживал бы ночи напролет за картами, словно и не было дома молодой жены-красавицы, не находящей себе места от тоски и отчаяния.

Помню, когда первый раз не приехал он домой ночевать, я глаз не сомкнула, чуть не помешалась от страшных мыслей: споткнулся и упал на скользкой нечистой мостовой, попал под извозчика, под нож грабителя... Утром из подкатившего под окна экипажа наш Григорий извлек ослабленное пьяное тело барина и доставил его в спальню. Проспавшись, барин попросил рассолу. Взяв у Григория кружку, я сама понесла ее к постеле. Бледный, нечесанный Жан сидел среди пуховиков и глядел вокруг себя хмурым и диким взглядом. Взял кружку и выпил рассол. Взгляд его прояснился, стал осмысленным, он поглядел на меня синими невинными глазами и сказал: «Спасибо тебе, Дуня, ты меня воскресила». Приказал Григорию одеваться, быстро позавтракал и ускакал. Куда — бог весть, мне не докладывал. И осталась я снова одна, разве что запали в душу ласковые, милые слова: «Спасибо тебе, Дуня, ты меня воскресила».

Было ли с его стороны предательством добровольная уступка своей жены ближайшему другу? Я первая скажу: нет! В этом треугольнике решала я. И выбор был за мной, а не за П-м. И П. с этим сделанным мною выбором смирился; более того, он его устраивал. Не был мой Ваня по самому своему складу человеком семейным. Вечно хотел летать мотыльком, модно и со вкусом одеваться, радовать дамский взор приятной галантностью и молодцеватостью. Не заладилось у нас с ним с самого начала. Тянулся он к легким развратным бабенкам, неразвитым и невзыскательным. С ними было гораздо проще, чем с самолюбивой и гордой

женой, зачитывающейся романами Жорж Занда. Я молчала и терпела, так как жизнь в родительском гнезде была для меня не в пример ужаснее. Держала свои чувства в себе, слезы проливала тайно, бабушки и тетюшки, петербургская мужнина родня, видели меня только улыбающейся, только счастливой. Нет, П. меня не предал, как не предала его я, в свой час перебравшись на половину Н. Но если спросите меня: положи руку на сердце, ответь, удержишь ли обиду на П., отвечу: держу. И только за одно держу обиду, что не поговорил со мною в то утро, не объяснился. Молча взглянул на меня, выходящую из чужой спальни, — и отвел глаза. Удалился и ни о чем не спросил. Вот это-то до сих пор меня гложет и ранит. Не по-людски мы с ним расстались. А ведь любила я его, любила. Был он моей первой и единственной любовью, королевич мой синеглазый. Да и он меня любил, по-своему, но любил. Иначе с чего бы затеял незадолго до своей смерти разговор о переезде в деревню? Поедем, — говорит, — Дуня с тобою в деревню, хочет душа покою. Сил моих нет оставаться в этом свинячем городе. Не с Клашей и не с Маней разговор затеял — со мной, давно уже перебравшейся на другую половину, к ближайшему его другу, ставшей этому другу неофициальной женой. Но венчаны-то мы были — с ним, с Ваней. Священник перед святым алтарем соединил нас на супружество. Всю жизнь носила я его фамилию и не была с ним в разводе. И что бы там ни случилось, была ему законной женой и верным другом. Ближе меня не было у него человека. И перед смертью Ваня воззвал ко мне как к своей жене и подруге.

Что до Н., то скажу, что он меня дважды по-настоящему предал. Ничего не поделаешь, такой имел характер, никуда не денешься. Был он человеком не то чтобы неверным, но вечно сомневающимся, мнительным, колеблющимся. Когда П. умер, все вокруг ждали, и я грешным делом, тоже ждала, что Н. на мне женится. Но этого не случилось. Н. чего-то испугался. Сидел в мужчинах того времени, особенно в тех, кто дворянских кровей, страх перед женитьбой. Н.Г. и Д-в хорошо это видели и высмеяли в своих писаниях. Н. недаром дружил с Т., еще одним вечным холостяком, греющимся у чужого костра. Я думаю, основной страх у Н. был

связан с определенностью положения женатого мужчины. Этой определенности он боялся, желал оставаться свободным в своих холостых привычках: девки, клуб, крупная игра. Что ж, как говорится, Бог ему судья. Когда умирающий он встал под венец с этой своей Феклой, взятой им из дома терпимости, ничего уже этот шаг не решал, ни к чему его не обязывал. А Фекле — Зине как он ее называл — ни полупушки от того не перепало, все до копейки поделили его родственнички. Н. был человеком небедным, деньги к нему шли. И вот деньги эти проклятые, сдается мне, сильно его испортили.

То, что Н. не женился на мне, к лучшему. Руки мне развязал — я вышла за Аполлона Г-а, молодого, по-новому мыслящего, решительного, родила доченьку. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Я уж считала себя заговоренной: не жили мои дети — ни от П., ни от Н. И вдруг... Так что хорошо, что Н. на мне не женился, охотно прощаю ему это предательство. А вот чего никогда не прощу, так это Мари. Что по всему свету пустил слух, что я ее обобрала и обманула, что нет за ним вины. А между тем, не будь Н., никогда бы я не ввязалась в это проклятое дело. Он был в нем моим поводырем и советчиком, я следовала его указаниям как слепой котенок. Сама я в этих вещах никогда ничего не смыслила. Дело-то шло о деньгах.

Тратить деньги я любила и умела. Живучи у родителей, отказывалась надевать смешные уродливые обноски, доставшиеся от старших сестер. Сама придумывала фасоны и шила на живую нитку из блестящих портьерных тканей, сваленных в чулане, платья для «принцессь». Выйдя за П., узнала вкус и запах модных французских лавок. П. не был богат, службу оставил, жил доходами с имения и журнальными гонорарами. Распорядиться достоянием как следует не умел, приказчики вечно его обворовывали. То небольшое, что посылалось барину, тратил на кутежи и прихоти. Одет был вечно с иголки, «хлыщом» — недаром писал о них свои нескончаемые заметки для журнала. Меня тоже одевал как картинку, на показ. Если мы выезжали вместе, был недоволен, коли на мне не новая шляпка, не тонкие перчатки. Но подарков дорогих — золотых колец, бриллиантовых

подвесок, жемчужных ожерелий — не дарил, видно, считал, что жене их дарить не пристало, берег для смазливых актрисок и хищных дебелых вдовушек. Когда позднее Н. взял моду дарить мне дорогие украшения, брильянты, мне было это внове и вначале даже нравилось.

Но с Н. я познакомилась года через три после замужества. Вскоре после нашего венчания П. повез меня для знакомства к своей московской родне и друзьям. Брак наш уже тогда, в самом начале, являл печальную картину. П. тяготился всяческими узами и рвался прочь от домашнего очага и его олицетворения — жены. Я, хоть и была тогда молодой, застенчивой и мало что понимавшей, одно знала твердо: никто не должен услышать от меня ни слова жалобы. Я равно улыбалась и старым теткам, и п-м друзьям, и их женам. Друзья же были прелюбопытные.

Жан был знаком с самыми впоследствии знаменитыми деятелями московского кружка, встречался с ними запросто, за столом. На семейные обеды к Щ. и Г. он брал и меня. Я сидела в застолье тихо, как мышка, и старалась вместить в себя все услышанное и увиденное. В сущности эти встречи, с громкими криками, с затяжными спорами, с энергическим обсуждением литературных и философских вопросов, часто с пением, чтением стихов и дружескими, хотя порой едкими шутками, — были моей школой и даже университетом. Сидя рядом с этими людьми, я ощущала себя малограмотной малознайкой — ведь за плечами у меня была одна куца театральная школа, да театральные пьесы, знаемые мною наизусть, да русские и французские романы, которыми я продолжала зачитываться. Французский дался мне легко, это был единственный урок, который я посещала с охотой, потому что учительницей была настоящая француженка, из Парижа. Кроме мадемуазель Лекор, ни знавшей ни слова по-русски и щебетавшей на ставшем вкоре понятном языке, в школе никто ничему путному не учил, если не говорить о танцах и драматическом искусстве. Не было даже первоначального обучения грамоте, так что писать и читать я выучилась сама по книжкам из мамашиного шкафа, а после — из театральной библиотеки.

Мне кажется, не только я, но и П., слегка ежился в компании высоких университетских умов. Он тогда уже был начинающим литератором, пописывал для журналов, переводил с французского пьески (отсюда и его знакомство с отцом: П. привез отцу свой перевод *Отелло*), но большой ученостью не обладал. Правду сказать, ученые головы из московского кружка не слишком кичились своей образованностью. Не было здесь высокомерного Т., презрительной ухмылкой встречающего каждого нового собеседника. Все должны были падать ниц перед его умом и знаниями! С Т. я познакомилась уже в Петербурге, хотя был он задушевым приятелем всей здешней честной компании. Странно, что Т. сделался впоследствии интимнейшим другом Н., недоучившегося гимназиста, не говорившего ни на одном иностранном языке, в то время как Т. владел как минимум четырьмя. Но связано это было, скорее всего, с тем, что Н. был человеком практическим, с жизненным опытом, с выдержкой и умением вести дело, чего так не хватало Т. Объединяла их и совместная работа в журнале. К тому же, оба были заядлыми охотниками и любителями поговорить с мужиком.

На обеде у Щ., куда привез меня Жан, я особенно заинтересовалась одной особой. Это была дама моих лет, очень изящная и живая. Что-то восточное было в ее чертах и особенно во взгляде темных искрящихся глаз. Вела она себя чрезвычайно непосредственно, словно балованное дитя. Рядом с нею сидел светловолосый господин, с нежным и выразительным лицом, на котором после каждой реплики жены появлялась страдальческая гримаса. Я сидела молча, наблюдая за происходящим. В ту пору мне едва исполнилось 18, я была дикая и молчаливая, к тому же предмет разговора был для меня нов. Говорили о назначении человека. Коренастый большелобый господин, сидевший рядом со светловолосым, поднял бокал за великое дело человека сеять вокруг себя семена свободы и разума. С другого конца стола некто артистического вида, с черными до плеч кудрями, бросил реплику, что еще Пушкин показал несостоятельность этой попытки. Завязался спор. Коренастый, вкупе со светловолосым, отстаивали необходимость борьбы

за свое предназначение. Артистичный с присоединившимся к нему рыжим вихрастым немцем — постепенный эволюционный приход человечества к самопознанию. Дамы, сидевшие тут же, в споре не участвовали. Жена коренастого, по типу — точь в точь идеальная романтическая героиня, хотя несколько нескладная, тихим голосом повторяла: «Успокойся, Александр, тебе вредно волноваться».

И вот тут-то и вылезла жена светловолосого. Она прервала говорящих громким звоном хрусталя, несколько раз ударив ножом по бокалу.

— Господа, дайте слово женщине! — и когда все замолчали, провозгласила:

— Предназначение человека, равно мужчины или женщины, — в любви.

Все снова загалдели, светловолосый попытался удерживать жену от дальнейших высказываний, но она продолжала: «Любовь есть главная цель человека в этой жизни, ее смысл и содержание». Все опять начали говорить, перебивая друг друга. Слышался недовольный голос коренастого: «Любовь не может быть целью, цель — борьба!» Светловолосый опять попытался заткнуть жене рот, но она все же досказала: «Господа, давайте выпьем за мужчин, которые любят женщин, и за женщин, которые любят мужчин». Мне показалось, что она слегка покачнулась, когда садилась. Светловолосый, выведенный из терпения, весь красный, поднялся из-за стола со словами: «Мари, ты несносна, господа, она выпила слишком много вина». Застолье расстроилось, все разбрелись по углам, продолжая спорить.

Я примостилась у входа в гостиную на крохотном диванчике, полузагороженном огромным фикусом в кадке. Здесь — мне казалось — я никому не видна, и смогу спокойно отсидеться. Но не тут-то было. К диванчику приближалась тоненькая грациозная фигурка. Я узнала жену светловолосого. Она извинилась, что не запомнила моего имени.

— Авдотья, — я нарочно назвала себя по-русски. — Авдотья? Как интересно! Вам это имя идет, — проговорила она, мило улыбаясь. — Вы настоящая русская красавица.

Наверное, я покраснела, потому что она стала меня ободрять: «Не смущайтесь, я буду звать вас Евдокси, хорошо? Мне хочется с вами подружиться». Говорила она очень тихо, почти шепотом и все время оглядывалась, но наш диванчик стоял на отшибе, до нас доносились невнятные голоса спорящих и долетал сигарный дым — почти все мужчины курили.

Я заметила, что Мари — как называл ее муж — действительно была слегка пьяна — щеки ее рдели, глаза блестели лихорадочно.

— Как вам это сборище? Для вас, наверное, многое внове — эти разглагольствования, речи, призывы... А мне, признаться, надоело. Сколько можно? Пора жить начинать.

Я не поняла и переспросила: «Что? Что вы сказали пора начинать?»

— Жить. Мне хочется нормальной жизни, чтобы меня любили, любили не как подругу по борьбе, а просто, как женщину.

Я едва нашлась, чтобы слабо возразить: «Но ваш муж... ваш муж, он показался мне таким достойным, красивым».

— Что ж, он в самом деле очень достойный человек, но мне этого мало... Она не dokonчила и остановилась, в упор глядя на меня своими черными, блестящими глазами.

Я поехала, мне представилось, что, возможно, ее проблемы в чем-то схожи с моими. Только я не стану рассказывать о своих личных бедах никому, тем более первой встречной. Наверное, она прочла что-то на моем лице.

— Вы думаете, что я пьяна — потому разговорилась с вами, да? Но вы на самом деле мне понравились, вы не похожи на этих надутых строгих квочек, которые или безмолствуют, или квоччат в один голос со своими муженьками.

— Ну да, да, — она перехватила мой взгляд и нетерпеливо продолжила, — вы тоже сидели молча, но от застенчивости, а не от того, что вам нечего сказать.

Мне польстила такая оценка. Вообще моя новая знакомица начинала мне нравиться. Главное, что эта изящная тоненькая барыня приняла меня как свою и, мало того, добивалась моей дружбы и доверенности. В первое

время после замужества я очень тяготилась своим актерским происхождением, порой не знала, как себя вести в обществе светских людей, аристократов; позднее мне было стыдно своих первоначальных ощущений и аристократам я стала предпочитать «пролетариев», вышедших из низших сословий или из духовенства, таких как Н.Г. или Д-в.

3

Мари стала моей ближайшей подругой, а я ее confidentкой. Тягу к исповедальным признаниям имела именно она. Я, как правило, о своих переживаниях и заботах молчала. Встречались мы с Мари каждое утро все 6 недель нашего с П. московского проживания. Свидания наши проходили в кофейной на Кузнецком, что было совсем недалеко от горделивого особняка на Никитской, родового владения ее мужа. Мари приезжала в кофейную в роскошном экипаже с фореитором, в вуали, накинутой на лицо. В кофейной она откидывала вуаль, и могу засвидетельствовать: взоры всех посетителей — барышень, щебечущих за чашкою шоколада, юнцов, забежавших поглазеть на девиц и выпить чаю с ликером, престарелых господ, сосредоточенно изучавших «Биржевые Ведомости», — взоры всех без исключения были устремлены на нее, так победительно она держалась, так приковывали к себе ее живое, с ежесекундно меняющимся выражением лицо, ее изящная фигура в складках парижского наряда. Мы тихо беседовали, но мне всегда было слегка не по себе, от быстрых взглядов, которые бросали на нас входившие в кофейную, особенно мужчины. Взгляды были оценивающие и сравнивающие. Сравнение, как мне казалось, всегда было в пользу Мари, и не потому, что я была менее красива. Просто было в Мари в то время (а время цветения женщины связано отнюдь не с возрастом) что-то такое, что привлекало мужчин, вселяло в них надежду, подстегивало их ухаживания. Несколько раз возле нашего столика останавливались как пораженные громом, раза два подходили

с предложением своих услуг в прогулке по городу. Но эти неожиданные происшествия только веселили нас, мы не собирались менять место своих встреч из-за назойливости нескольких мужланов.

После кофейной мы обе садились в экипаж Мари и ехали на прогулку. Четверка красавцев-коней под управлением долговязого немца-форейтера везла нас на Покровку, к маленькому пруду, вдоль которого был разбит премилый бульвар для гуляний. Форейтер высаживал сначала меня, потом Мари, путавшуюся в складках чересчур длинной модной юбки, затем снимал с лысой головы круглую черную шляпу с кисточкой и, обеими руками держась за ее края, пристраивался позади нас с видом благоговейно-сосредоточенным.

Иван Карлыч — так звали форейтора — был нашим стражем, в те баснословные времена (пишу сие полвека спустя, в 1889 году) без провожатого могли гулять только работницы да женщины известного сорта. Во время наших прогулок по безлюдному утреннему бульвару вдоль тихого пруда, по глади которого важно проплывали лебеди, Мари рассказала мне много такого, о чем я не решусь упомянуть даже в своих тайных записках. Была она существом необыкновенным, с пылким, легко зажигающимся характером, с сильными страстями, не находящими утоления в обычной жизни.

Мари была настоящей героиней романа, как-то она проговорила, что мать ее происходила из древнего грузинского рода. Она показала мне старинное кольцо, доставшееся ей в наследство от умершей матери: очень простое, серебряное, потемневшее от времени; на тыльной его стороне были выгравированы какие-то буквы, напомнившие мне восточную вязь. Мари сказала, что грузинский алфавит гораздо древнее русского, а надпись на кольце — строчки из поэмы древнего грузинского поэта, жившего в эпоху Крестовых походов. Кольцо это она носила — хранила в специальном кованом сундучке как большую реликвию. В другой раз она повторила мне слова своей покойной матушки, говорившей, что истинный мужчина, должен обладать семью достоинствами; если память

мне не изменяет, назвала она следующие: прекрасная наружность, мудрость и красноречие, сила и великодушие, богатство и пылкость чувств. Я была удивлена.

— Мари, ты жалуешься на мужа, но в твоём Ники воплотились все перечисленные добродетели. Даже красота и богатство, хотя лично для меня идеальный мужчина не обязательно должен быть красив и богат.

Помню, она засмеялась и, прищурившись, спросила: «А сила? Ты считаешь, в Ники есть сила?» — и она снова засмеялась, на этот раз громче, даже с каким-то надрывом. Отношения с мужем — были постоянной темой ее разговора. Она возвращалась к ним снова и снова.

Но сейчас мне хочется вспомнить один эпизод из времени наших прогулок по московскому бульвару, вполне характеризующий Мари.

Был чудесный день середины лета, солнечный и безмятежный. На Мари было какое-то особенно легкое белое платье, казалось, подует ветерок — и она улетит. Мы шли своим обычным путем вдоль берега пруда, Мари оживленно рассказывала об их с Ники поездке на минеральные воды, где, по ее словам, не было ни одного молодого офицера, лечившего раны на курорте, не признавшегося ей в любви. Особенно ей запомнился некий Керим, сын именитого горского князя, служивший в российских войсках. Слушая рассказ, я непроизвольно взглянула направо — и увидела молодого человека в бараньей шапке, напряженно глядящего на нас из-за густых деревьев по другую сторону бульвара. Я оглянулась — молодой человек медленно, но неуклонно шел за нами, чуть в стороне от добрейшего Ивана Карловича. Я приостановилась, что заставило остановиться и Мари, недоуменно на меня взглянувшую. — Уж не тот ли это Керим крадется сейчас за нами? — спросила я шепотом, кивая в сторону незнакомца. Говорила я шутливым тоном, но на самом деле сердце мое ушло в пятки. Время от времени в обществе всплывали рассказы о бесчинствах горцев в покоренных русским оружием областях и об их жажде отомстить кровавым гяурам. Мари оглянулась, увидела юношу и отрицательно покачала головой: «Нет, не он, этот гораздо

моложе, да и не военный». Тем временем Иван Карлович с поклоном к нам приблизился.

— Мадам утомился?

Мари наклонилась над ухом старичка, так как был он глуховат, и прокричала: «Иван Карлович, ступайте на Покровку и купите нам зельтерской воды, а себе пива, и ждите нас в экипаже. Мы скоро будем».

— Мадам не боился одни?— старичок вскинул на Мари свои детские голубые глаза.

При этом вопросе я невольно взглянула на незнакомца в бараньей шапке, застывшего в нескольких шагах от нас. Как ни тщедушен был Иван Карлович, все же он служил какой-никакой защитой для нас. Неужели Мари по собственной воле хочет подвергнуть наши жизни непонятной, но очевидной опасности?

— Чего бояться? — Мари засмеялась, — мы с Евдокси дамы отважные, да и опасности тут никакой нет», и она поверх головы простодушного немца посмотрела на незнакомца, не сводящего с нее глаз.

Иван Карлович, так и не заметивший молодого азиата и не понявший, отчего барыне срочно захотелось зельтерской, с поклоном надел на лысую голову свою шляпу с кисточкой и медленным шагом направился к белеющим впереди воротам, возле которых располагался киоск с напитками. Дождавшись пока он удалится на безопасное расстояние, Мари взяла меня под руку и приблизилась к незнакомцу, замершему в тени плакучей ивы. Тот снял с головы шапку, и стало понятно, что это юноша, почти мальчик, возраста Керубино. Скорей всего, был он татарин, пожалуй, сыном какого-нибудь торговца, приехавшего торговать коврами либо овчинами откуда-нибудь из Казани. Я немного успокоилась. Голова его была коротко острижена, что не служит к украшению, но тонкие черты лица и яркие выразительные глаза делали его весьма привлекательным. Он стоял опустив голову, словно лишился дара речи.

Мари обратилась к нему первая: «Вы так настойчиво шли за нами, что я подумала — у вас есть до нас какое-то дело». Юноша молчал и не поднимал глаз. — Так вы немцы? — Мари, раздосадованная, повернулась уходить.

Мы сделали несколько шагов к воротам, как вдруг юноша в два прыжка догнал нас, бросился к ногам Мари и поцеловал край ее ажурной юбки.

Мари повернулась к юноше, взгляд ее зажегся. «Загороди меня», — бросила она мне, словно мы не находились на просматриваемом с обеих сторон бульваре, подошла к юноше и, притянув его голову, поцеловала в лоб. «Пусть помнит!» — с этими словами, она повернулась ко мне, крепко схватила за руку, и мы пустились бежать по бульвару, на наше счастье, безлюдному в этот час. Возле ворот остановились отдышаться. Мальчика-азиата уже и след простыл, видно, он убежал в противоположную сторону, ива, возле которой он стоял, потонула в строю таких же деревьев.

Меня переполняло негодование: «Мари, ты сошла с ума! Что за сцена? Если бы кто-нибудь застал нас! Ты рискуешь своей, да и моей репутацией».

Она рассмеялась: «Но, благодарение Богу, нас никто не застал. Зато какое романтическое приключение!»

— Неужели ты не понимаешь, что мальчишка мог на тебя наброситься?

— Да полно, Евдокси, я же видела его глаза — не разбойника, а влюбленного.

— Это безрассудство, Мари. Безрассудство и сумасшествие.

— Согласна, но иначе я не умею.

Спустя минуту мы уже сидели в экипаже, и добрейший Иван Карлович, чье настроение сильно приподняла кружка силезского пива, вез нас к особняку у Никитских ворот.

4

Сейчас, через пятьдесят лет анализируя это маленькое происшествие, я не перестаю удивляться бесшабашности своей подруги. Тогда мне было 19, ей тремя годами больше, но в то время как я старалась видеть жизнь в ее реальном свете, без розового флера, ей всюду чудились романтические приключения, необыкновенные чувства, проявления

страсти. Она электризовала окружающих, излучая какие-то особые флюиды, и жизнь порой, хотя и нехотно, откликнулась на ее призывы и посылала ей нечто невиданное. Случай с околдованным ею татарским мальчиком тому подтверждение. Была Мари чрезвычайно чувствительна и чувственна. Сказывалась ее кавказская порода. К тому же, в доме ее дяди, бывшего губернатором П-ы, получила она некоторые жизненные опыты, не вполне соответствующие юному девическому возрасту. Если мое детство дало мне уроки борьбы, упорства и сопротивления семейному тиранству, то отрочество Мари протекало в тягучей атмосфере богатого сановного дома, куда девочка была допущена на правах бедной родственницы, почти приживалки; впоследствии дядюшка-губернатор, являвший собой тип щедринского градоначальника и не пропускавший ни одной юбки, стал оказывать племяннице особые знаки внимания. Не буду открывать некоторые подробности, которыми со мной делилась Мари. Дядюшка, на словах — борец за нравственность, на деле — человек растленный и распущенный, что, увы, свойственно многим чиновникам высокого ранга, все делал, чтобы удержать «маленькую пери», как он ее называл, в своей власти.

Она же, после короткого периода отчаяния, рвалась на волю и озиралась вокруг в поисках освободителя. Освободитель явился в лице сосланного за политические воззрения в П-ю губернию молодого, красивого, знатного — в будущем наследника богатейшего в России имения — Ники О-ва. Чувство было мгновенным и взаимным. Они словно родились друг для друга. Она — любительница всего изящного, тонкого, и он — поэт, музыкант. Оба рано лишились матери, у обоих обстоятельства жизни были нехороши и требовали изменения. Мари искренне веровала, что его идеалы, которыми он грезил с ранней юности — свобода, равенство и братство, — начертанные на знаменах французской революции, это и ее идеалы. Поначалу он не казался ей фанатиком идеи, человеком сухим и скучным.

Наоборот, как поэтично он говорил о своих чувствах, как вдохновенно играл на гитаре, откидывая вьющуюся светлую прядь с благородного лба, как просто объяснял,

что быть богатым в такой нищей стране, как Россия, — это преступление. И в ней, в своей подруге, нашел он не только изящество и грацию, но и желание идти с ним вместе и помогать ему, такому нерасчетливому, слабому, по мере своих сил. Мари рассказывала, как будучи невестой Ники, отбывающего политическую ссылку, ездила хлопотать о нем в обе столицы, обращалась с прошениями в секретный отдел Департамента полиции, что возымело успех: О-ва освободили. Он с молодой женой вернулся в Москву, в отчий дом на Никитской. И здесь... рассказывая о последующем, Мари делала долгие паузы, повторялась, не находила слов. Ясно было, что она сама еще не полностью осознает, чего ей не хватает в муже, почему пришло к ней разочарование и охлаждение. Он, — она искала слово, — ребенок, я чувствую себя старше, а ведь ему уже 26. Он играет в большого и многознающего, на самом же деле, не разбирается в жизни, не знает людей, не умеет вести дела. В нем нет ничего практического, основательного, он может только говорить, говорить, бесконечно говорить... о свободе.

Я узнавала в портрете, нарисованном Мари, своего собственного мужа, непрактичного, безвольного, легкомысленного. Правда, стихов П-в не писал и о свободе не говорил... Да и, несмотря на все его слабости, я его любила и все время ждала, что в нашей с ним жизни что-то переменится. А Мари? Что испытывала она к мужу? Любила ли? Сравнивала — постоянно. Перебирала всех его друзей, и все оказывались лучше, значительнее, мужественнее.

Несколько историй мне запомнились. Одна — о встрече, которая произошла за два года до нашего с Мари знакомства, на кавказских водах, куда, якобы для лечения, за большую сумму, отваленную пронырливому губернатору, был отпущен ссыльный со своей молодой женой. Мари тогда очень не терпелось увидеть мир, у Ники же на уме было что-то другое. Во всяком случае, я не уверена, что встреча, о которой говорила Мари, произошла случайно. А встретились они с человеком примечательным — Александром О-м, сосланным на Кавказ участником декабрьского бунта 1825 года. Мари рассказывала, что повстречали они его в Пятигорске, у кислого источника, — большого, сильного,

державшегося с достоинством, несмотря на солдатскую шинель на плечах. — Ники ведь на десять лет его моложе, и не прошел через сибирскую каторгу, и не был сослан рядовым под чеченские пули,— говорила Мари. Но он такой вялый в сравнении с тем, такой ни на что не способный... Александр рассказал нам, как в Сибири на поселении собственными руками срубил себе дом. А можно ли представить Ники с топором в руках?

— Ты бы хотела, чтобы твой Ники взял в руки топор?

— Евдокси, не иронизируй, ты понимаешь, о чем я говорю. Этот почти сорокалетний рядовой, бывший князь, так на меня смотрел, таким взглядом, что я, право, не знала, что подумать, у Ники никогда не будет такого взгляда... он головной человек, словно его вывели в пробирке... знаешь, есть легенда о гомункулусе...

— Ты так говоришь, Мари, словно твой Ники никогда не имел дела с женщинами.

— Вот прелестно, имел он дело с женщинами! Но с какими! У него все женщины делятся на идеальных и материальных. Мне посчастливилось попасть в идеальные.

Как я уже сказала, все друзья мужа казались Мари намного его интереснее и предпочтительнее, кроме одного. Его она ненавидела всей силой своей изменчивой, но сильной натуры. Это был самый близкий друг О-ва, с которым познакомился тот еще в отрочестве и привязанность к которому превосходила все мыслимые пределы. Мари всерьез считала, что Г., обладающий сильной волей и несокрушимым напором, околдовал Нику, подчинил своему влиянию и управляет им как марионеткой. Она рассказывала, что никогда не испытывала такого панического страха, как в момент, когда предстала перед Г-м в первый раз. Было это, кажется, во Владимире, где Г. пребывал в последний год своей ссылки. Подъезжая с Никой к деревянному флигельку, где проживал Г., она тряслась как в лихорадке, но усилием воли заставила себя собраться и «всю сцену» провела как по маслу. Самое главное — говорила она — было найти верную интонацию и не сбиваться с нее. Интонация должна была быть, по словам Мари, тупая и линейная, голос должен был дрожать, что получилось у нее вполне

естественно, так как ее действительно пробирала дрожь. Ей было забавно вспоминать, как перед лицом главного человека в Никиной жизни давала она обеты «быть верной подругой», «служить общим идеалам», «разделить судьбу» мужа и проч. Мари была убеждена, что провела зоркого и подозрительного Г-а., что он ей поверил и на первых порах одобрил выбор своего товарища. Но у самой Мари эта сцена отняла слишком много сил, она возненавидела «экзекутора», или даже «инквизитора», — словечки, применяемые ею для характеристики Г-а.

Долговязый Иван Карлович вез нас на Никитскую. Я обедала вместе с Мари — в светлой круглой столовой, за столом с безупречной крахмальной скатертью, кушанья подавал лакей в белых перчатках, — а потом на извозчике возвращалась в гостиницу, где занималась попеременно то чтением, то вышиванием. П-а никогда не было на месте, он ездил с визитами, встречался с друзьями, навещался в редакции, в общем вел жизнь вольного человека. Впрочем, и муж Мари вечно был в разъездах, за обедом я ни разу его не встретила. Обычно после обеда Мари предлагала мне остаться, но мне претила роскошь барского дома, я предпочитала скромные гостиничные апартаменты. Родовой особняк О-а, выстроенный еще Никиным дедом, обветшал, и Мари планировала провести его грандиозный ремонт. Думала обновить дерево окон и дверей, заменить всю мебель новейшими парижскими образцами, заново настелить узорный паркет. Когда я спросила, в какую сумму это может обойтись, Мари беспечно ответила: «Какая разница! Ники достаточно богат, чтобы оплатить расходы!». После смерти отца, почти сразу по прекращении ссылки, О-в получил огромное, почти миллионное наследство. Одних крестьян — более двух тысяч душ. Но к своему состоянию относился он крайне легкомысленно и с первого дня начал его проматывать, в чем помогала ему моя подруга. Основания у обоих, впрочем, были различные. О-в повсюду кричал, что хочет развязаться с собственностью, чтобы стать пролетарием и не эксплуатировать крестьян. Кстати сказать, большое их число отпустил он на свободу за мизерный выкуп. Мари же по характеру своему была мотовка,

полученное мужем наследство развязало ей руки, она как дитя радовалась возможности делать дорогие покупки.

Такое отношение к деньгам было мне внове.

Рожденная в мещанском сословии и живя в среде актеров, трудом зарабатывающих себе на жизнь, я была поражена тем, с какой легкостью аристократы тратят не ими заработанные деньги. Тогда мне и в голову не приходило, что деньги О-а тяжким грузом лягут на мою судьбу.

5

Судьба послала мне долгую жизнь. Сейчас, в 1889, мне почти семьдесят. Бог даст, проживу еще несколько лет, хотелось бы увидеть начало нового столетия, но не увижу, нет. И так всех пережила. Видно, неспроста именно я пишу эти записки, ибо никого из тех, о ком в них рассказываю, нет уже в живых. Н-в и О-в, муж Мари, умерли в 1877, в один год. Оба на руках у падших женщин, проявивших ангельское терпение к несчастным больным старикам. Фекла-Зина, сидела у постели умирающего день и ночь. Мне передавали, что был он так слаб, что даже рубашку на нем просил разрезать, — и рубашка давила его своей тяжестью. А О-в, вконец опустившийся, живший на подачки Г-а и его семьи, так как от его собственного огромного состояния не осталось и гроша, нашел свой последний приют в каморке лондонской потаскушки. Это «погибшее, но милое созданье», в полном соответствии с Пушкиным, звали Мери. Слышала, что был у нее сын-подросток, значит, ютились втроем: она, сын и О-в, под конец жизни прикованный к коляске.

Вот они люди 40-х годов, как они сами себя величали, вот их прекрасное начало и жалкий конец. Знала бы Мари, что стало с ее Ники! Впрочем, хватило ей и своих горестей. Так рано она умерла, в 35 лет, дошла лишь до середины жизненной дороги. Неожиданно пришло из Парижа сообщение: умерла жена О-а. Н-в первый узнал, пришел ко мне. Я не поверила, хоть и знала, что с Сократушкой они давно расстались, что ведет она жизнь кочевую и разгульную, но умерла? Этого быть не могло, это Н-в сочинил!

А потом получила письмо от Сократушки. Он писал по-деловому, без сантиментов.

Вы, наверное, знаете, что Мари умерла. В последние годы я с ней мало общался, так как вернулся в Россию. Последний раз встретил в Неаполе в обществе какого-то лысого господина, говорящего только по-французски. Она сказала: знакомьтесь, это мой врач. — Вы нуждаетесь в услугах врача? — О да, с тех пор как вы меня бросили, у меня чахотка. И она рассмеялась. Больше я ее не видел. Посылаю вам ее локон, она дала его мне перед тем, как мы расстались. У вас он будет на месте — вы ведь были и остались ее подругой, а я для умершей — чужой человек.

В письмо была вложена темно-рыжая прядь. Я положила ее в маленький кованный сундучок, подаренный мне Мари во время нашей последней встречи в Париже, за три года до ее кончины. Прядь волос, пачка писем да потемневшее серебряное кольцо с непонятной надписью — вот все что осталось у меня от моей подруги. Да еще процесс, который затеял против меня О-в после ее смерти. Да еще слухи, которые роились вокруг меня и Н-а. Ну, с Н-а взятки гладки: не он был доверенным лицом Мари. Доверенным ее лицом была я, я посылала ей в Париж деньги, взысканные с О-ва. И вот мне в лицо О-в швырнул: воровка! И мне нужно было это снести! Ведь действительно посылала я в Париж не все деньги. Но я не думала обманывать Мари, это неправда. Я должна рассказать, как все было на самом деле. Только нужно собраться с мыслями, собраться с мыслями...

6

Любила ли я Н-а?. После очень долгой и изнурительной осады сдалась, приняла его условия, согласилась быть с ним, все делала для его комфорта, вела хозяйство, ведала редакцией, кормила сотрудников, устраивала банкеты для цензоров и сановных покровителей журнала, но любила ли?

Кажется, не создан он был, чтобы женщина его любила, чтобы желала; жалела — да, особенно в те годы, когда он только входил в литературу, бледный, нескладный, говоривший с натугой из-за вечно больного горла, с мелкими невыразительными чертами лица, запавшими глазами, рано облысевший. Только и было в этом сером лице — белые ровные зубы.

Казалось странным, что они такие белые и ровные, словно одолжены у другого человека. «Но и зубами своими не удержал я тебя». Да, не удержал. Хотел ли удержать? Если бы хотел, вел бы себя по-другому. Воли и упорства было ему не занимать.

Сказать по правде, первое время, когда он начал появляться на нашей с П-м петербургской квартире, я никак его не выделяла. Был он для меня один из приятелей П-а, менее громкий, не столь веселый и блестящий, как остальные. Года два приезжал он с П-м в перерывах между вечерним посещением театра, где бывало шел его очередной водевиль. П-в уходил к себе, менял сорочку, спрыскивался одеколоном, а Н-в шел на мою половину. Я откладывала книгу или рукоделие, поила его чаем, и мы тихо беседовали; иногда он заводил разговор о своем недавнем голодном и холодном прошлом. Я его жалела, порой до слез. Особенно, когда говорил он о матери, единственном существе, согревшем его тяжелое детство и юность.

Мать Н-а, жительница Варшавы, в очень юном возрасте была увезена его отцом, армейским офицером в его вотчину и обвенчалась с ним без согласия родителей. Отец Н-а, грубый солдафон и семейный деспот, не показывал ни ей, ни своим детям, коих было в семье 14, ни тепла, ни заботы — только тиранство, дикие выходки да гульбу с дворовыми и деревенскими девками, составлявшими крепостной сераль. Даже на учебу сына в гимназии отец не желал раскошелиться, и тот вышел из гимназии недоучившись.

Про университет нельзя было и заикаться, хотя мать втайне мечтала, что любимый ею Николаша поступит на словесное отделение — с детских лет чуял он в себе призвание писателя. В 17 лет оказавшись в Петербурге и не желая поступать в военное училище, Н. полностью

лишился денежной поддержки своего родителя и ужасно бедствовал. Обычно не словоохотливый, на эту тему говорил он с каким-то непонятным сладострастием, фиксируя тяжелые и унижительные детали. Так однажды, когда я потчевала его и еще нескольких литераторов чаем с домашним пирогом, он рассказал, как бывало после долгой «голодовки» заходил в трактир на Морской и, прикрывшись газетой, брал с тарелки хлеб, предназначенный для обедающих.

В другой раз, когда за окном шел противный осенний дождь и погода была по-петербургски мерзкой, вдруг сказал, что однажды в такую вот ночь был выгнан из нанимаемой квартиры стариком-хозяином за неуплату денег.

Нет, не зря именно Н. позднее задумал выпускать сборники о непарадном голодном Петербурге, с его ночлежками, убогими нищими углами и темными притонами. Вызвали эти сборники фурор — читатели никогда о подобном не слыхивали. А вот издатель, сам Н., прошел через все и все испытал на собственной своей шкуре. Когда стал он появляться у нас, время это было уже позади. Но неизбежно отложило оно на нем свой отпечаток. Внешне и без того неказистый, был он сильно потрепан в борениях с жизнью, не имел ни обходительности, ни приятных манер, да и сюртук сидел на нем всегда как-то криво, совсем не так, как на щеголе П-е. Многим «аристократам» не понятно было, как П-в, вида весьма respectable и всегда одетый с иголки, мог появляться в компании с этим чаще всего мрачным и насупленным плебеем. Тяжелые жизненные обстоятельства укрепили его волю, воспитали практические свойства ума и привычку находить выход из всех положений, но они же взрастили характер сумрачный, закрытый, неврастенический, с лежащими на дне души темными иступленными страстями. Как тяжело было находиться в его обществе, как порой сам он был себе в тягость! Думаю, и его дружба с П-м порождена была тягой к человеку легкому, остроумному и в то же время с добрым отзывчивым сердцем. Страшные образы прошлого, призраки нищеты, голода требовали вытеснения, отсюда его азартная игра, огромные проигрыши — за игрой он

забывался. Если бы не играл, точно бы начал пить. Скажу еще два слова о его стихах, которые он посвящал мне. Не то чтобы они мне не нравились, но я не любила себя в них, была в ужасе от того, что наши с ним ссоры выставляются на всеобщее обозрение и дают пищу злословию. Какой-нибудь Ф., поэт много жиже Н-а, писал о любимой женщине в картинах поэтических и изысканных. Н. же зачем-то говорил в своих стихах о моих слезах, моей иронии и наших с ним горячих объяснениях. Разве *такие* стихи хочет получать женщина?

Но я сильно отвлеклась от рассказа о первых годах моего знакомства с Н-м. Уже тогда в начале 40-х годов, отличался он практической коммерческой хваткой, петербургские сборники, о которых я упоминала, продал он с невиданным барышом.

Говорил ли он мне тогда о своей любви? Нет, никогда. Да и странно было бы в той ситуации — начинающий литератор, журналист, едва выбившийся из нищеты и полного ничтожества, работник библиографического отдела журнала Краевского, к тому же ближайший приятель П-а, его компаньон по посещениям театра и значных мест Петербурга... на что мог он надеяться?

Взгляды? О, взгляды его я замечала, косвенные, быстрые. Взгляды человека словно ослепленного, взглянет — и отвернется, будто дольше не в состоянии смотреть. Или бывало смотрит, смотрит, пристально, без слов, не может оторваться. Это когда думает, что я не вижу, что занята другими. Но какая женщина не видит, *кто* и *как* на нее смотрит! И какой это не приятно! Но я не кокетка, заглядывались на меня многие, так что большого значения взглядам этим я не придавала. До одного случая. Было это однако уже года через три после нашего первого знакомства.

Помню, в гостиную вбежал П-в, радостно-возбужденный, из его отрывистых слов я поняла, что Б., до того с похвалой отзывавшийся о прозаических опытах Н-а и его критических разборах, в этот раз, прочитав стихотворение «В дороге», отметил его поэтический талант. При всей редакции «Отечественных записок» Б. назвал Н-а «истинным поэтом». Следом за П-м медленно подошел Н. Было

похоже, что он еще не пришел в себя после похвалы Б-го. Тот — первостепенный критик и человек безошибочного нравственного и поэтического чутья — никогда не ошибался в своих литературных прогнозах. Из современников, по крайней мере, Д-у и Г-у напроорочил он долгую литературную судьбу. Его приговор дорогого стоил. Н. казался бледен, на виске его нервно вздрагивала жилка. П. приказал слуге принести шампанское. Мы выпили за «молодого поэта» (Н-у было тогда 24 года, но его настоящие стихи только начинались). П., взбодренный шампанским, решился читать вслух стихотворение «В дороге». С книжкой журнала в руке встал перед нами, стал читать по-актерски, голосом передавая интонации барина и мужика. Я смотрела на Н-а. С ним что-то делалось. Он на меня не глядел, но я чувствовала, что мое присутствие на него действует. Он перебил П-ва: «Довольно, Иван, дай я прочту». Удивленный и раздосадованный П-в протянул ему книжку журнала. Н. книжку отклонил.

— Нет, не это, я недавно другое написал. Хочу прочитать для Авдотьи Яковлевны.

И он впервые за все время на меня посмотрел. Теперь он был уже не бледен, а красен. И глядел прямо на меня, не отрываясь. И потом тихо и как-то очень просто спросил: «Что ты жадно глядишь на дорогу?» Помню, я даже хотела что-то ему ответить. Но он продолжал: *В стороне от веселых подруг. Знать, забило сердечко тревогу — все лицо твоё вспыхнуло вдруг.*

В этот момент мое лицо точно вспыхнуло. А он, не отворачиваясь и глядя в упор, продолжал уже чуть громче — голосом, в котором жила страсть.

На тебя заглядеться не диво, полюбить тебя всякий не прочь. Вьется алая лента игриво в волосах твоих, черных как ночь.

Помню, я как загнипнотизированная, дотронулась до волос, на которые часто повязывала алую ленту, в этот раз ленты не было. Я отдернула руку и оглянулась — П-в смотрел то на меня, то на Н-ва, рот его был полуоткрыт, он словно силился что-то произнести. А царапающий душу, хрипловатый голос опять обращался прямо ко мне.

Сквозь румянец щеки твоей смуглой пробивается легкий пушок. Из-под брови твоей полукруглой смотрит бойко лукавый глазок.

Взгляд один чернобровой дикарки, полный чар, зажигающих кровь, старика разорит на подарки, в сердце юноши кинет любовь.

Голова моя кружилась то ли от шампанского, то ли от чего-то еще, я схватилась за спинку стула и перевела дыхание.

Поживешь и поприрадуешь вволю, будет жизнь и полна и легка.

Внезапно чтение оборвалось. Н-в замолчал. Смущенный П-в обратился к нему:

— Что же ты, Николай? Читай дальше!

— Дальше не стоит. Конец мне не удался.

Он вынул из кармана сморщенный несвежий платок и стал вытирать красное вспотевшее лицо. Он не смотрел ни на меня, ни на П-ва.

Через четверть часа оба они уехали по своим делам. П-в как всегда вернулся за полночь, когда я уже спала. Утром за чаем, просматривая газету, он небрежно бросил: «Н-в вчера был странен, не правда ли? Мне даже подумалось, уж не влюблен ли он в тебя, душенька!» И он снова уткнулся в свою газету.

7

Было еще одно сильное впечатление — наша совместная — втроем — поездка в Казанское имение братьев Т., накануне начала издания «Современника». Т. много времени проводили за границей, знали там со всеми видными поборниками свободы, и жизнь в их имении была заведена на европейский лад. Сейчас уже трудно представить, что крестьяне в то время были крепостными и помещики типа матери Т-а, известной мучительницы крестьян, порол и истязали крепостных, продавали как скот, разлучали детей с родителями, чему я сама была непосредственной свидетельницей в год нашей с П-м свадьбы при дележе

между его родственниками доставшегося им наследства. Иное дело братья Т., слывшие в Казанской губернии красными. Крестьяне у них жили вольготно, о барщине не было помину.

Приезд к Т-м был связан с денежными делами. Давно уже у П-а. и Н-а зародилась мысль издавать свой журнал. Т-е обещали им помочь деньгами. В деле издания Н. рассчитывал на помощь Б-го, объединившего вокруг себя все лучшие тогдашние литературные силы. Б. мечтал о своем журнале, где был бы он не поденщиком, а издателем и работником в одном лице. Мечта его так и не осуществилась.

День наш у Т-х проходил очень приятно. Хозяева работали, мы же наслаждались летом и отдыхом. Утром после чаю все разбрелись кто куда. П-в гулял, оглядывая окрестности, чего был большим любителем, Н. спозаранку уходил на охоту с Толубеем, а я шла к небольшой речушке, одному из волжских притоков, купалась и пробовала удить рыбу. Но то ли удочка моя была плоха, то ли рыба у берега не водилась, улова у меня никакого не было. Однажды за завтраком я рассказала о своей неудаче с рыбной ловлей и Н. вызвался мне помочь — вывезти на лодке к тихой речной заводи возле небольшого островка, где, по рассказам, во множестве водились пескари.

Было раннее июньское утро. Мы подошли к отлогому берегу. Н. отвязал от колышка лодку, мы сели. На мне был шерстяной жакет, спасающий от утренней прохлады, в руках целых две удочки наших хозяев, для меня и для Н-а. Вышло солнце и вода под веслами стала переливаться всеми цветами радуги. Я сбросила жакет, вдыхая полной грудью речную свежесть, смешанную с запахом прибрежных трав. Достигнув середины реки, мы попали на крутящуюся быстрину, но Н-в умело справлялся с лодкой, греб невозмутимо и спокойно, как истый волжанин, в полном молчании, иногда словно случайно на меня взглядывая. Я чувствовала его взгляды, но на него не глядела, увлеченная видом живописного маленького островка, к которому мы приближались. Вдруг мне послышалось, что кто-то рядом запел, я оглянулась на Н-а. Почти не раскрывая рта,

задыхаясь, он выдавливал из себя мелодию. Постепенно она прояснялась, его больной осиплый голос обретал дыхание, он не пел, а скандировал — в такт рассекавшим воду веслам. Я уже понимала, что он поет «Из-за острова на стрежень». Все точно совпадало — мы плыли на лодке ввиду острова, только что мы миновали речную стрежень, не хватало лишь Стеньки да персидской княжны. Я невольно рассмеялась, он замолк.

— Н-в, да вы прекрасно поете!

— Видно, вам не очень понравилось мое пение, Авдотья Яковлевна, вы меня перебили на самом интересном месте.

— Это когда Стенька бросил персиянку в набежавшую волну?

— Именно так.

Тем временем мы уже подплывали к островку. До берега оставалось совсем недалеко, но лодку относило. Не успела я оглянуться, как Н. сгреб меня своими сильными большими руками в охапку и, ступая по воде, перенес на берег.

— Н., вы меня до смерти испугали, я решила, что вы сейчас бросите меня в набежавшую волну. Я говорила со смехом, но щеки мои пылали. Тело мое еще ощущало жар его рук.

Он, отвернувшись, вытаскивал лодку на берег, потом повернулся ко мне, весь пунцовый, и в несколько прыжков подбежал почти вплотную. Лицо его менялось, он перевел дыхание и произнес: — Я, если хотите знать, сам бы в воду бросился из-за вас.

— Из-за меня?

— Да что ж вы не видите, что я в вас влюблен без памяти, как мальчишка, четвертый год.

— И готовы броситься в воду?

— Готов, если не полюбите.

— На обратном пути вам представится случай.

Удили мы молча, наловили целое ведерко пескарей, что в другое время меня бы порадовало, сейчас же я пребывала в замешательстве. Я не знала, как себя вести.

Свести все к шутке? Но Н-в был серьезен, он хотел ответа. Какой ответ могла ему дать я, мужняя жена? Из

головы не шли слова Татьяны — «но я другому отдана, я буду век ему верна». Но вот совсем недавно в «Отечественных записках» читала я статьи Б-го о Пушкине. Б-й Татьяну не одобрял, в ее ответе Онегину видел страх светской дамы за свое доброе имя.

В наше время, когда законодательницей нравов стала Жорж Занд с ее проповедью свободы брака, ответ Татьяны можно было считать порождением домостроя. Татьяна мужа не любила, она любила Онегина, а я? Сердце мое принадлежало Ване. Так ли? Почему же оно так всколыхнулось, когда Н-в схватил меня своими большими сильными руками? Мне было 26 лет, Н-у годом меньше, мы оба находились в том возрасте, когда люди живут уже не столько чувствами, сколько рассудком, как говорил Мочалов—Гамлет.

Но чувства мои были смолоду не расстрочены: П-в не нуждался ни в моей нежности, ни в моих ласках, их заменяли ему дружеские пирушки и ласки продажных красоток. Непритворное чувство Н-а, выражаемое столь прямо и простодушно, не могло ни тронуть и более искушенное женское сердце. Мое же было младенчески неразвитым.

Когда ведро наполнилось пескочками и подошло время покинуть чудный зеленый островок, признаюсь, я села в лодку со смущенной душой, хотя виду не подавала. Жизнь с П-м приучила меня к необходимости скрывать свои истинные чувства от окружающих. По виду я была спокойна и весела. Мы тронулись. Н. греб, как и прежде, молчаливо и размеренно, глядя на меня каким-то выжидающим взглядом.

На середине реки, где крутился водоворот, он вдруг бросил весла на дно лодки и произнес: «Авдотья Яковлевна, княжна вы моя персидская, решите мою судьбу. Или будете со мной, или мне в реку», — и он сделал движение, будто хотел выпрыгнуть из лодки. Лодка, предоставленная течению, крутилась и с минуты на минуту должна была перевернуться.

— Н., гребите, или мы вместе утонем, — я схватила весло и оттолкнулась от бурлящей воды, Н-в также начал

грести вторым веслом, мы миновали опасное место. Когда до берега осталось всего-ничего, я выпрыгнула из лодки в воду; к счастью, дно в этом месте было ровное, без ям.

В мокром, липнущем к ногам платье вышла на берег и, оглянувшись на стоящего в лодке Н-а, помахала ему рукой.

8

Наутро Н. должен был ехать в Петербург — договариваться с Плетневым об аренде «Современника». П., хороший друг Плетнева, в скорости должен был присоединиться к переговорам. Вопрос о деньгах кое-как был решен. Н. надеялся на кредиты, получать которые был он мастер, большую сумму давал П., для чего должен был продать наследственный лес. Обещали помощь казанские помещики, наши радушные хозяева в то лето. Жена Г-а, та самая «романтическая героиня», что не слишком понравилась мне в Москве, прислала на издание журнала 5 тысяч рублей. Все демократические литераторы, весь так называемый «кружок Б-го», находились в состоянии тревожного ожидания — как-то пойдет дело. Волновалась и я, так как принимала дело журнала близко к сердцу.

После вечернего чая П. и брата Т. отправились к цыганам, разбившим свой табор на речном берегу неподалеку от нашей деревеньки. Н. с ними ехать не захотел и предложил мне прогуляться. Я не отказалась. Мы вышли к реке и свернули к ее берегу, вдоль которого, над кручей, тянулся редкий березняк. Неподалеку, за березняком, располагалась деревенька, оттуда не доносилось ни звука. Было около 6 вечера, небо оставалось еще светлым, солнце заметно пекло. На мне была круглая соломенная шляпа с широкими полями, спасавшими от прямых солнечных лучей. Н-в вел меня вверх по тропе, выходящей на лесистый пригорок. На самой его вершине мы остановились. Вокруг под легким ветерком шелестели березки, внизу под обрывом река несла свои спокойные воды. Спокойные ли? Вон там, в середине течения, возле крошечного островка,

бурлила и дробилась о камни быстрина. Н-в растянулся на траве, обнял рукою березку. Я оглядывала холм. Мы оба молчали. Сорвав в траве ромашку, Н-в принялся обрывать ее лепестки, шевеля губами. Когда оборвал последний, со значением взглянул на меня и сказал утвердительно, словно геометр, уверенный в доказательстве: «Вы меня любите».

— Да? — засмеялась я.

— Не смейтесь, даже если сейчас не любите — полюбите обязательно. Я сумею завоевать ваше сердце.

Он помолчал, пристально глядя на меня из своего зеленого уголка, и продолжал: «К тому же, у вас просто нет иного выхода, неужели вы предпочтете быть женой человека, к вам совершенно равнодушного?» Наверное, он испугался моего взгляда, потому что проворно вскочил на ноги и встал рядом со мною на макушке холма:

— Прошу прощения, если нечаянно вас обидел, я люблю Ивана, мы с ним друзья, но только слепой не увидит, что он, что вы...

Он смешался и заговорил уже по-другому, очень быстрым горячечным шепотом, наклонившись ко мне.

— Евдокия, Дуня, поверьте мне, я вас не обману. Всю жизнь, всю мою несчастную жизнь был я одинок, не пригрет, не обласкан. Всю жизнь озирался вокруг — искал такую, какой была матушка, горячее любящее сердце, — и не находил. И как в первый раз вас увидел — прошло меня словно иглой: она. Вы — княжна моя персидская, вы — моя муза. Клянусь, вы не пожалеете, если пойдете со мной. Мне всего 25 лет, я еще молод, будете вы рядом, много чего смогу — сделаю «Современник» лучшим российским журналом, поэму напишу — что там Лермонтов. Не смейтесь, во мне ведь и вправду силы сидят громадные. Если пойдете со мной, и мои силы к жизни вызовете, да и своим найдете применение. Сколько дела для вас найдется. Будете помогать, делить труды, чтобы не пропадали в бездействии ни ум ваш, ни ваша деловитость, ни сердечная отзывчивость. Полюбите меня, и я открою перед вами новые дороги, новые берега, — он взмахнул рукой, словно за этой раскинувшейся перед нами речкой видел берега

какой-то другой реки, мною не виданной. Быстро на меня взглянув и перехватив мой полный сомнения взгляд, закончил почти умоляюще:

— Пожалуйста, не глядите так насмешливо. Не нужно иронии. Лучше пока ничего не говорите. Подумайте. Завтра я еду в Петербург. Там решится судьба «Современника». Пусть там решится и моя судьба. Прошу вас, напишите мне туда только одно слово — *да* или *нет*.

9

Возвращались домой, когда уже опускался вечер, солнце садилось, но небо было по-прежнему светлым, в легких перышках облаков. На подходе к усадьбе, услышали мы поющие детские голоса — это крестьянские дети играли на большой поляне, отделяющей усадьбу от реки и деревеньки. Мы подошли поближе. Игра была мне хорошо знакома: две цепочки детей шли встречу друг другу и пели каждая в свой черед.

- *Бояре, а мы к вам пришли,
 молодые, а мы к вам пришли.*
- *Бояре, вы зачем пришли?
 Молодые, вы зачем пришли?*
- *Бояре, мы невесту выбирать,
 молодые, мы невесту выбирать.*
- *Бояре, а котора вам мила,
 молодые, а котора вам мила?*
- *Бояре, нам вот эта мила,
 молодые, нам вот эта мила.*
- *Бояре, она дурочка у нас,
 молодые, она дурочка у нас.*
- *Бояре, а мы плеточкой ее,
 молодые, а мы плеточкой ее...*

Девочка, которую хотела взять к себе в невесты правая цепочка, была уже точно невеста — высокая, статная, полногрудая, со светлой косой. Она сильно отличалась ростом

и сложением от соседствующей с нею мелкоты. Мы с Н-м остановились неподалеку от играющих, следя за происходящим. Девушка весело улыбалась и беспрестанно оглядывалась по сторонам, словно кого-то отыскивая. При громком крике: «Зинка, беги!» под свист и гогот ребятни бросилась она бежать по направлению к правой цепочке. Вырваться ей удалось почти сразу, хотя сопливая мелкота хватала ее за руки и пыталась подставить подножку, — девушка с редким проворством освободилась от хватающих ее ручонков и кинулась прочь. Правую цепочку составляли такие же мелкие ребятнишки, как и левую, за исключением одного паренька. Он был под стать Зинке, может, чуть ее помладше, чернявый, темноглазый, вертлявый, с косыми скулами.

— Муха, держи ее, — раздался голоса, я поняла, что Мухой звали чернявого подростка. Зинка бежала не к нему, а левее, туда, где всякий определил бы слабое место цепочки — две маленьких похожих как две капли воды девочки, крепко сцепивших ладошки, с выражением ужаса на смазливых загорелых личиках. Крупная Зинка вихрем пронеслась между ними, без труда разомкнув детские ручонки. Вся ребятня из двух цепочек бросилась вдогонку за Зинкой, ближе всех к ней был Муха. Мы с Н-м, подстегиваемые любопытством, двинулись следом за детьми — в направлении усадьбы. Зинка бежала как молодая упругая козочка, следом вихрем-скакуном мчался Муха. Большая часть детишек разбежалась кто куда, остальные присоединились к деревенским бабам и молодым мужикам, пришедшим на гулянку под окна барского дома и ставшим невольными зрителями детской игры. Отовсюду на все голоса неслось: «Держи, держи ее, малец» и «Зинка, не давайся, беги».

Все разрешилось неожиданно — Зинка, не успевшая даже ойкнуть, на всем бегу оказалась в объятиях вышедшего ей навстречу с раскинутыми руками молодого ладного мужика. В одной руке мужик нес домру, другой схватил девушку за плечо и заставил остановиться, а потом с силой наклонил к себе и поцеловал в губы. Бабы ахнули, мужики загоготали, какая-то старуха истошно завопила:

«Симка, бес проклятый, ты че у свово собственного парня невесту корогодишь?» Раскрасневшаяся Зинка змейкой выскользнула из-под Симкиной руки и только ее и видели. Мы с Н-м поспешили войти в дом.

Н. пошел собирать вещи, я накинула шаль, села у окна с вышиваньем, то и дело взглядывая на улицу — на площадке перед домом начиналась деревенская гулянка.

Становилось темно, и мне, в отсутствии хозяев, пришлось приказать зажечь газовые фонари перед фасадом. Я же сидела в темноте. В поле моего зрения в круге света от фонаря верхом на бочке восседал давешний Симка и с большим мастерством то наигрывал на своей домре, то крутил ее над головой, ловко подхватывая в воздухе, чтобы затем, как ни в чем не бывало, продолжить прерванную игру. Слышались возгласы одобрения. Затем до слуха моего донеслась плясовая, которую дружно затянули бабы. Нескольких баб и мужиков, среди них Симка со своей домрой, выскочили в круг. Задорный женский голос громко позвал: «Зинка, подь сюды, чего спряталась?»

В круге света появилась Зинка, в накинутом на голые плечики цветастом платке, вокруг нее заплясал, запрыгал вприсядку мужичок с домрой. «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке, — гремел бабий хор, — серый селезень плывет. Вдоль да по бережку, вдоль да по крутому добрый молодец идет». Веселый мотив затягивал. Я задернула занавеску на окне, сдернула с плеч шаль и прошлась по темной гостиной в такт доносившейся песне.

*Сам он со кудрями,
Сам он со русыми
Разговаривает:
«Кому мои кудри,
Кому мои русы
Достанутся расчесать?»*

Вся моя неприкаянная жизнь с П-м, вся моя печаль-тоска, накопленная за годы замужества, все, казалось, вылилось в эту мою одинокую пляску.

*Доставались кудри, доставались русы
Красной девице чесать,
Уж она и чешет, уж она и гладит,
Волос к волосу кладет.*

Ох, Ваня, не мне досталось чесать твои кудри. Моя ли в том вина?

Опомнилась я, только когда увидела перед собою старика Антона с масляной лампой в руках. Гостиная осветилась, на старинных деревянных часах, висящих на стене передо мною, было почти 9 вечера. Как долго тянулся этот летний день. Я спросила Антона, вынесли ли на двор обычное угощение для крестьян, выставяемое помещиками, — водку для мужиков, орешки и сласти для баб.

— А как же, боярыня вы наша, все вынесено, даром что хозяев нет, распоряжение от их дадено.

Поклонившись, он вышел. Я прислушалась: звуки гулянки затихали, не слышно было уже ни Симкиной домры, ни бабьего хора. Занудливый пьяный мужской голос за окном повторял беспрестанно одно и то же: «Эй, Муха, тащи его. Слышь, Муха, тащи его, ты чего? Тащи, говорю! Твой батька, не мой».

— Авдотья Яковлевна, можно к вам?

Я подняла голову — в дверях стоял Н-в. Мне показалось, что еще минута — и он бросится ко мне и поцелует в губы, как Симка Зинку, но самое страшное было то, что я не смогу, не захочу ему противиться.

— Нельзя, Н. Ко мне нельзя. Вы же сами сказали, что я должна подумать. Вот я и думаю. Идите спать — завтра вам вставать рано. Спокойной ночи.

— Какая уж тут спокойная ночь, Авдотья Яковлевна! Но думаю, что и вам сегодня не до сна будет. Дверь закрылась.

П. и хозяева вернулись от цыган в 2 часа ночи. Все это время я сидела в гостиной, то и дело взглядывая на стенные часы. Проходя через гостиную на не слишком твердых ногах, П. остановился передо мной в удивлении.

— Что, Дуня, не спится? Боюсь, что и я не засну. Эти цыгане, и особенно таборные цыганки, в них есть какая-то

особая магия. Одна мне гадала и, представь, сказала, что на этих днях должна решиться моя судьба.

Он зевнул, потянулся и, уже уходя в спальню, закончил: «Я уверен, что это связано с «Современником». Вдруг он остановился и, словно в чем-то засомневавшись, повернулся ко мне лицом. «А ты, Дуня, что об этом думаешь?»

— Спокойной ночи, Жан. Это, конечно, связано с «Современником».

Успокоенный, он отправился в спальню. А я подумала, что в последнее время его густые русые кудри заметно поредели.

10

С того времени прошло 43 года, целая жизнь. Жалею ли я, что выбрала Н-а? Ничего не повернешь назад и все, что случилось, — случилось. Благодаря Н-у и его журналу, жизнь моя приобрела исторический смысл, обо мне будут знать русские люди в последующих поколениях. Но обиды, человеческие, женские обиды — они остаются, они никому не видны и никому не ведомы.

Тогда, при получении известия о приобретении «Современника», написала я Ване в Петербург большое письмо. Вложила в конверт запечатанную записку — «для Н-а». В ней было несколько слов: «Поздравляю вас с «Современником». Что до вашего вопроса, отвечу на него сама, когда увидимся».

2006–2007

Послесловие

В книгу вошли рассказы, написанные мною с 2000-го года — за семь лет жизни в Америке. До этого я писала повести и пьесы, а к рассказам даже не знала, как подступиться. Но начало новой — американской — жизни было таким во всех отношениях непростым, так нужна была какая-то опора, что первые мои рассказы, можно сказать, были порождены отчаянием. Они меня спасали, становились «материальной силой», устанавливающей баланс с жизнью. Первые три рассказа были написаны в Солт Лейк Сити один за другим. Любопытно, что каждый из них нес свою особую тему: «In chiesa» — итальянскую, «Звуки и шорохи» — американскую, «В промежутке» — русскую. Мне казалось, что не я их пишу, а, по слову Тициана Табидзе (в пастернаковском переводе), «они, как повесть, пишут меня, и жизни ход сопровождает их». После окончания работы над ними было ощущение, что они явились сразу, без труда, как Афина Паллада, представшая перед породившим ее Зевсом в полном военном облачении.

В тех начальных трех рассказах отразился опыт моей «долгой» жизни в России (где я родилась и прошла большую половину пути) и в Италии (целых семь лет!) и первые сильные впечатления от Америки. В дальнейшем русская, американская и итальянская темы существовали в моих писаниях на равных, и обращение к той или другой вызывалось внутренними безотчетными импульсами.

Правда, появлению рассказа «Мечта о крыжовнике» предшествовало вполне осознанное желание хоть как-то увековечить память безвременно ушедшего итальянского друга, доктора Тотти, чья жизнь представлялась мне образцом праведности.

Повести писались менее импульсивно и больше, чем рассказы, связаны с моими литературоведческими статьями и литературными пристрастиями. Занимаясь историей взаимоотношений Тургенева и Генри Джеймса, я не могла пройти мимо эпохи сороковых годов XIX века в Европе и в России, когда появились на горизонте Герцен, Огарев, Некрасов, Достоевский, когда русское общество зачитывалось романами Жорж Санд... Тургенев в это время связал свою жизнь с великой певицей Полиной Виардо и ее семьей. Друг Тургенева Некрасов нашел себе возлюбленную, помощницу, музу в лице тоже «чужой жень» Авдотьи Панаевой.

Судьба Панаевой, о которой писал еще один «герой» моих статей, Корней Чуковский, очень меня увлекла. Мною овладело желание рассказать изнутри об этой редкой красоте женщине, избегавшей самоизлияний и сжегшей письма Некрасова. Так возник замысел повести «Дело о деньгах» (Из тайных записок Авдотьи Панаевой). Перипетии этой судьбы наложились и на вполне современный сюжет еще одной повести «Путешествие к Панаевой».

Когда-то я начала писать пьесы, увидев, что «моего театра» нет, что все современные пьесы для меня «чужие». Мои рассказы и повести, как и пьесы, обращены к таким, как я сама. Пишу для своего читателя, близкого, понимающего, задумывающегося над теми же вопросами. Надеюсь, что такой читатель существует* и приветствую его из своего «далека».

Ирина Чайковская

* Читатели американского журнала «Чайка», на чьих страницах из номера в номер публиковались главы «Дела о деньгах», приняли повесть благожелательно и просили автора завершить начатое.



ЧАЙКОВСКАЯ, ИРИНА. Прозаик, критик, драматург, преподаватель-славист. Родилась в Москве. С 1992 года на Западе: сначала в Италии, а с 2000 года — в Америке. Как прозаик и публицист печатается в журналах «Вестник Европы», «Нева», «Звезда», «Октябрь» (Россия), «Новый журнал», «Чайка», «Кругозор» (США), «Черный квадрат» (Англия), в альманахе «Побережье» (США). Рассказы включены в сб. женской прозы «Арена» (США). В 1991 году в Москве была издана повесть «Завтра увижу». В 2007 году в Америке вышла книга статей и эссе «Карнавал в Италии». Живет в Бостоне.

...Неожиданно Луис подскочил ко мне и поцеловал в щеку. Мне осталось только рассмеяться и погрозить ему. И опять он произнес это непонятное «мучос».

«Любовь на треке»

...Ты не представляешь, как прекрасен Рим в эти рождественские дни. Как блестит и переливается огнями площадь Испании, как замысловато украшена ее знаменитая лестница. А театральные представления на площади Навона, а Пинчо! Ты хочешь сюда, ко мне?

«Оправдание»

...Лючия перевела дыхание. Никогда до этого ни один мужчина не объяснялся ей в любви, она даже не предполагала, что может кому-то понравиться...

«Лючия»

...На середине реки, где крутился водоворот, он вдруг бросил весла на дно лодки и произнес: «Авдотья Яковлевна, княжна вы моя персидская, решите мою судьбу. Или будете со мной, или мне в реку», — и он сделал движение, будто хотел выпрыгнуть из лодки...

«Дело о деньгах»



ISBN 978-0-9792808-8-7

